

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ЖУРНАЛ

УРАЛ

НОЯБРЬ / 2017

## **Уважаемые подписчики!**

Обратите внимание: с января 2018 года журнал «Урал» переходит в новый каталог.

Теперь подписку можно оформить в любом почтовом отделении связи по каталогу «Пресса России», том 1.

Подписные индексы (46358, 73412) и цена остаются прежними.

# Ноябрь' 2017

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года



Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области  
«Редакция журнала «Урал»

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Наталья ПОЛЯКОВА. И кто-то помнит о тебе... <i>Стихи</i>	3
Валерий ПЕТКОВ. Оккупанты. <i>Роман</i>	9
Денис КАМЕНЩИКОВ. Тринадцать бьет... <i>Стихи</i>	68
Евгений ЭДИН. Танцы. <i>Повесть</i>	72
Елена ЗЕЙФЕРТ. Метафоры на пуантах. <i>Стихи</i>	100
Елена БЕРДНИКОВА. Милость. <i>Рассказ</i>	106
Михаил ОКУНЬ. Февральская вода. <i>Стихи</i>	121
Вячеслав ПЕТУХОВ. Лучшая собака в мире. <i>Рассказы</i>	124
Анастасия ВАУЛИНА. Сказка сбывается снегом... <i>Стихи</i>	134
Павел КАРЯКИН. Мастер чайной церемонии. <i>Рассказ</i>	138

### ДЕТСКАЯ

Елена НЕСТЕРИНА. Тяпстик. <i>Сказка</i>	153
Артур ГИВАРГИЗОВ. Интервью. <i>Пьесы для чтения</i>	160

### БЕЗ ВЫМЫСЛА

Екатерина МУРЗИНА. Письма к брату. <i>Предисловие и публикация</i> <i>О. Лушниковой</i>	165
--	-----

Екатеринбург

## КРАЕВЕДЕНИЕ

- Владислав СЕМЁНОВ.** Гигантомания. Из истории российского  
камнерезного дела 182

## ПУБЛИЦИСТИКА

- 100 ЛЕТ РЕВОЛЮЦИИ.** Валентин ЛУКЪЯНИН. Ногой в прогнившую  
дверь. Роль самодержавия в подготовке Великой российской  
революции. Олег ГЛАГОЛЕВ. Ты виноват уж тем... Андрей КОРЯКОВЦЕВ.  
Царский путь в революцию. Сергей БЕЛЯКОВ. Против любых  
революций 195
- Владимир ГУБАЙЛОВСКИЙ.** Письма к учёному соседу.  
Письмо 18. Стивен Хокинг и свобода воли 215

## КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

- Станислав СЕКРЕТОВ.** Орел или решка?  
Мария Галина. Не оглядываясь. 222
- Александр ЗЕРНОВ.** Изгнание бесов.  
Андрей Степанов. Бес искусства: Невероятная история одного арт-проекта. 224
- Наталья МАМЛИНА.** Поле битвы.  
Константин Комаров. Невеселая личность: Книга стихов. 226

### ЧЕРНАЯ МЕТКА

- Александр КУЗЬМЕНКОВ.** Slapovsky-Lego.  
Алексей Слаповский. Неизвестность. 229

### ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

- Сергей СИРОТИН.** Игра престолов.  
Роберто Савьяно. Ноль Ноль Ноль. 232

### СЛОВО И КУЛЬТУРА

- Юрий КАЗАРИН.** Смерть улыбнётся 235



## Наталья Полякова

### И кто-то помнит о тебе...

\*\*\*

Я в сад вошла, скатившийся к реке  
В тумане рыжем, в рыжей шелухе.  
В нем яблоко как брошенное слово,  
Над ним засохший зонт болиголова.  
Прощает плод бессилье сонной ветки.  
Впадают в спячку бурые медведки.  
Свой лабиринт покинул короед.  
А я молчу, во мне ни слова нет.  
Дитя земли — трава, чертополох.  
И слово — выдох, и молчанье — Бог.

\*\*\*

Покойные с нами в стихах говорят или прозе.  
Мы пьем за их вечность вино на февральском морозе.

На старой Хитровке под небом слепым и беззвездным,  
Где Осип один замечтался под снегом пастозным.

И режет сердца на куски неуклюжая жалость,  
Чтоб тяжесть строки на несказанном слове держалась.

Чтоб жить в этом яростном мире легко и спокойно,  
Растишь ты кому-то жену, а я выращу воина.

Пока параллельно истории катится детство,  
Что им отдадим после всех этих войн в наследство?

Огни ли в больших городах или в сетках прицельных?  
О, только б не черные ночи в оврагах расстрельных.

---

Наталья Полякова — родилась г. Капустин Яр Астраханской области. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. Автор книг «Клюква слов» (СПб., 2011), «Сага о московском пешеходе» (М., 2012). Лауреат премии им. Риммы Казаковой (2009). Живет и работает в Москве.

\*\*\*

Вспомни свою жизнь без отвращения.  
*Ж.-П. Сартр*

Включи жукам дежурный свет в окне.  
И вспомни жизнь свою без отвращения,  
Как персонажи Горького «На дне»,  
Как древоточец после превращения.

Чем тише голос ночи, тем слышней,  
Как исчезают лишние фонемы  
Из сердца, солнца, лестницы, по ней  
Уже идём, разбужены и немые.

И свет луны один на всех пролит.  
Он держит нас в уме и на прицеле.  
«Начни сначала», — скажет мне Евклид.  
Он умер, да, но книги уцелели.

\*\*\*

Не разобрать себя как сложный текст,  
Не посчитать все стопы и длинноты.  
Снимаются слова с привычных мест...  
Как птицы и отыгранные ноты.  
И не понять, где музыка жила,  
В каких частях разобранной шкатулки.  
Но выходила, плакала, звала  
И наполняла парк и переулки.  
И поднималась выше лип и крыш,  
Летела снегом и толкала в спину.  
Лови её! Ну что же ты стоишь?  
В пустом дворе. В земле наполовину.

\*\*\*

Так деревом пахнет, так деревом пахнет, так де...  
Так смотрят деревья в своё отражение в воде.  
Индиго, белила и умбра — бери и пиши...  
Спектральные пятна твоей близорукой души.  
Пусть ветер качает, качает ветвями, кача...  
Синицу-девицу и чёрного франта-грача.  
Пока ты сама неумело встаёшь на крыло,  
И градины бьются, и дождь в ветровое стекло.  
И скорость на скорость пока ты меняешь на ско...  
Дожди перестали, и птицы уже высоко.

\*\*\*

Если речь твоя, как крупа, сухая,  
То и дело сыплется мимо рта,  
Говори в меня, я как дверь — глухая....  
Распахнёшь, и выпорхнет пустота,

Подбирать слова — все твои предлоги  
Не уйти, остаться. О, как же ты  
Беззащитен кажешься на пороге,  
На пороге нежности немоты.  
Где слова теряют и смысл, и вес.  
В них согласных звуков не станет впредь.  
А за дверью, что там? Заходишь весь:  
Океан. И солнце в воде на треть.

## **Рождественский хорал**

### **1**

Сезон закрыли, тихо на Оке.  
Ни весельной и ни моторной лодки.  
Таруса там иль что там вдалеке —  
Не разобрать. И дни уже коротки.

Озябшая стеклянная вода  
Ушла в себя, от края отступила.  
Легчайшие пустые города —  
Улиточки на вязкой жиже ила.

Не наступи, шагая вдоль воды.  
Ей, как тебе, хватило в жизни грусти —  
Ее гребные резали винты.  
Но снег пойдет — и прошлое отпустит

Воздушный день на нитке. Налегке  
Пусть снег идет кошачьей походкой.  
Там, где река теряется в реке  
Пустой ракушкой и забытой лодкой.

### **2**

Там кто-то был и изредка стучал.  
Не за стеной и не под половицей.  
И не в окошко бился краснотал.  
Под крышей где-то... Бабочка? Синица?

Снег молчаливо землю прибирал,  
Свалившись комом, сваливался с крыши.  
Сосновый бор — рождественский хорал.  
И ветер брал торжественней и выше.

Прислушиваясь к звукам в темноте,  
Обняв детей (опережая время,  
Они растут), мы врозь лежим все те  
Же самые — и то же носим бремя.

Но кто сигналы сверху подавал  
Замысловатой азбукою Морзе,  
Тот знал немного больше нас, он звал  
Переписать второй круг Данте в прозе.

Двухскатный дом, затерянный в снегах.  
Шершавый мох растет в оконной раме.  
И нам расти и возвращаться в снах  
К реке и соснам в зимней панораме.

3

Поленница, лавочка, старая бричка  
И ветви подсвечены теплым огнем.  
Фонарщик, фонарик, погасшая спичка  
И лестница в небо тоже при нем.

Где свет поселился, там тени темнее.  
Шиповник колючий и розы в снегу.  
А я выбираю пути подлиннее,  
Поскольку коротким пройти не могу.

Но если мне выпадет выйти к аллее,  
От сумерек розовый дом обогнуть,  
Я стану свободнее, сердцем смелее.  
И слепится песня сама как-нибудь

Из мокрого снега и птичьего пуха,  
Из хвойного духа упавшей сосны.  
Записывай (только хватало бы слуха!)  
И пой эту песню потом до весны.

А что там фонарщик? Он ходит по кругу:  
Зажжет и погасит, и снова зажжет.  
Такая работа. Ему бы подругу.  
Подруга огонь, говорят, бережет.

\*\*\*

— Но мне уже не хочется весны  
Оставь деревьев угольный набросок.  
Не надо разнотравья, хохломы.  
Я гжель хочу и графику березок.

— Но если там, за тонким льдом зимы,  
На самом дне уже ожили рыбы?  
Их плавники от холода красны.  
По ним в воде их различить могли бы.  
Как быть жукам, проснувшимся в коре?  
Кора как шкура бурая воловья.  
И вороны в стеклянном феврале  
Уже готовят черные гнездовья.  
И птицы перелетные в пути.  
Все признаки природы пробужденья.  
Прими весну, как письма по сети,  
Ее дожди и в лужах отраженья.

— Но мне уже не хочется весны  
В худом пальто, в начавшейся простуде.  
Мы снегом слов по грудь занесены  
И снегом встреч. Что если их не будет?  
Весна, в узлах тромбофлебитных вен  
Распухшая, лежит в сырой постели.  
И я страшусь грядущих перемен  
На самом деле.

\*\*\*

Горишь, и ангелы трепещут.  
Насквозь просверлен пустотой  
Твой быт в узоре мелких трещин —  
Травмоопасный, холостой.

Немного Кафки — с превращеньем,  
Немного Горького — на дне.  
Но кто-то чай несет с печеньем,  
И кто-то помнит о тебе.

И кто-то к сладкой той закуске  
Притащит крепкий самогон.  
И вы заквасите по-русски,  
Куриль пойдете на балкон.

В стакан летят бычки и пепел.  
И неуютен твой уют.  
Росток засохший, дикий плевел —  
Таким в вагонах подают.

Пока твои взрослеют дети,  
В людей выходят из волчат,  
Все связи родственные эти  
В их матерях кровоточат.

А мама с папой тише тени  
Везут лекарство и бульон,  
Пока растет на вспухшей вене  
Фиалки розовый бутон.

Ты не был мне хорошим братом,  
Ты и сейчас неважный брат.  
Но деньги с видом виноватым,  
С налетом будущих утрат,

Я передам тебе в конверте,  
Я маме с папой отнесу.  
И, может, от голодной смерти —  
Я, как щенка, тебя спасу.

Мы в детстве многого хотели.  
И в раскуроченной стране  
На сквозняке на самом деле  
Мы были счастливы вполне.

Пока все взрослые в испуге  
За жизнь цеплялись, как могли.  
Мы делали ножи и луки  
И баки мусорные жгли.

Где все твои мои игрушки?  
Не детский арсенал потерь.  
Рогатки, ножички, катушки.  
Кто с ними возится теперь?

Но город легкими скрежещет,  
На дне которого сейчас  
Живут потерянные вещи,  
Давно оплакавшие нас.

**Валерий Петков**

## **Оккупанты**

*Роман*

Если ты, человек, не прощаешь всякого  
согрешившего против тебя, не утруждай себя постом  
и молитвой — Бог не примет тебя.

*Преподобный Ефрем Сирин*

*Их имена и фамилии переведены с кириллицы на латиницу по правилам транскрипции этой страны. Но уже нет отчества, хотя Отечество, которое рядом, греет душу воспоминаниями и навеивает грусть нереальностью возвращения. И когда приходят они к чиновникам, первое, что у них спрашивают, персональный код.*

*Цифры с датой рождения, номером в реестре с ними навсегда, незримой татуировкой на левом запястье.*

*Таковы правила страны, в которой оказались они по разным причинам. Их много, стариков.*

*Дети разъехались в благополучные страны и уже вряд ли вернутся, потому что там родились внуки этих стариков. К внукам поехать не так просто — это хлопотно и дорого.*

*Они видятся лишь изредка.*

*Деревья высыхают без корней.*

*Участники этой истории связаны родственными и дружескими узами — Зять, Дед, Дочь, Внука, Правнучка, Племянницы. Хозяйка, Друг по работе...*

*А ещё — незримыми нитями с Родиной.*

*Старость не вечна. У Вечности нет старости.*

*Старики уходят по-разному.*

*Тихо уходят. Из жизни, но не из памяти.*

*Автор*

### **Глава 1. Накануне вылета**

Утром Зять пообщался с Женой по скайпу, получил инструкцию, что ещё докупить перед вылетом.

Потом поехал в гости. Они заранее решили с Дедом, что посидят вместе накануне отлёта в Ирландию. До Нового года оставалось две недели. Такой вот символический Новый год решили отпраздновать перед наступлением настоящего.

---

**Валерий Петков (1950)** — родился в Киеве. Окончил Рижский институт инженеров гражданск~ авиации. Работал на предприятиях Риги, был редактором Главной редакции информации Латвийского радио. С мая по июль 1986 года был призван из запаса и работал в качестве заместителя командира роты радиационно-химической разведки на ликвидации последствий в зоне отчуждения ЧАЭС. Публиковался в изданиях: «Нижний Новгород», «Итсгатура», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «Особняк», «Хрустальная медуза», «Даугава», «Наука и техника» и др. Автор нескольких книг прозы. Переводился на латышский и польский языки. Живёт в Риге.

Картошку фри Дед поджарил, зарумянил в сковородке, селёдочку нарезал, колбаску, сыр. Взял по акции «две за одну цену». Рюмочки выставил.

— Чтобы самолёт твой долетел благополучно и солнышко светило тебе в окошко.

— В иллюминатор.

— Да!

— Как говорится, чтобы количество взлётов не превышало количество посадок.

Телефон зазвонил. Дед раньше был приглашён на встречу ветеранов в бывший Дворец культуры. Напомнили, чтобы не забыл.

— Пожилая женщина. А голос приятный, как у девчонки лет семнадцати. Хотя не меньше восьмидесяти годов ей будет. Медсестра фронтовая. Каждый раз кого-то недосчитываемся. Вот и проверяет, беспокоится, жив или уже нет. В одиннадцать соберёмся, она глазами меня ищет, караулит. Человек семьдесят со всего предместья приходит. Конечно, всегда какие-то изменения. Старые уже все. Некоторые едва ходят, а некоторые залегли «на дно окопа», не встают. Я тут одному обещал зайти, показать, как надо физзарядку делать, а то он совсем духом пал. Не хочет вставать даже. Его дочь звонила, жаловалась. Он старше меня на два года. Прошлый раз к нему ходил, так он такой стол накрыл! Чего только нет. Хороший человек Бронислав. Он от парткома лекции читал, по цехам ходил. Правильный такой. Давно-о-о на пенсии. Плохо стал слышать совсем, редко на улицу выходит. Обувь ему починю, куда он пойдёт? И тоже уже без жены, умерла.

— Давай помянем добрым словом тещу.

— Десять лет уж как ушла, покинула нас. Хорошая была женщина. Не болтливая. А вот её брат младший — полная противоположность, как начнёт болтать. Поскрёбыш, последний в семье. В армии разбаловался. Генерала возил, всегда пьяный, по девкам шастал. Оба пьяные, и генерал, и водитель. Никакая милиция им была не указ. Две бутылки мог выпить генерал, но как учения, у него лучше всех показатели. Правда, и пил исключительно после службы. А средний её брат, который погиб под Кенигсбергом, тот не любил попусту языком мести. Энергичный, послушный, сообразительный. Фото есть, в форме, из действующей армии. Успел сфотографироваться. Красивый. В женину породу пошёл. Пулемётчиком служил. А раз пулемётчик, значит, весь вражеский огонь в первую очередь на огневые точки. Изрешетило всего. Так и не спасли его в госпитале. Жена моя очень его любила, часто поминала в разговоре, да и так, в храм пойдёт, поплачет. Последний призыв, двадцать четвёртый год рождения. Отца и его призвали. Вместе. Уж немца гнали на Запад полным ходом. Отец такой был... Всё жена — и кур резала, и гуску, и овцу, бывало. Хотя хозяин был крепкий, не пил, не курил. Работал много. Коня были у него в хозяйстве. Потом их свели на колхозный двор, силком. Так, бывало, вечером прокрадётся, через изгородь смотрит, как их не берегут, и плачет тихонько. И плотник был замечательный — не так-то просто быть. А вот погиб. Раненый пополз в тыл и на mine подорвался. То ли наши наставили, то ли немцы при отступлении. И хоронить нечего. Мгновенная смерть.

— Давай их всех помянем.

— Да, земля пухом. Пусть их души спят спокойно в раю. А вот мой двоюродный брат тоже был пулемётчиком, Кенигсберг брал. Так у него четыре ордена Красной Звезды. Это же для солдата ого-го какая высокая награда. И ни разу не раненный. Что заговорённый. Печать на нём. Счастливый, вот оно что. С одного боя и снова в бой. А с женой не повезло. И не гулял вроде, а она, стерва, всё его терроризировала.

— Может, загулял бы, так ценить начала бы?

— Может, и верно. Раз другая женщина оценила, значит, хороший мужчина, жаль его потерять. Женщина, она же большая собственница. А он ей свою слабость показал, она села верхом и ножки свесила. Характером не сошлись. Так и в развод пошли. И женщина интересная, вот оно что. Чернявая, видная,



грудь — булки вперёд. А взяла и молотком все ордена побила. Как чёрт ей в бок! Вроде русская, а такой темперамент проявила. Боевые ордена, представляешь. Как у неё рука поднялась. Стерва баба. Документы одни остались, а ордена не наденешь уже.

Правда, он очень болел после войны, может, ей терпежу не хватило его нянчить? При двух малых пацанах. Пока в окопе, так ничего не болит, как с окопа выбрался, так все болячки и полезли. И умер он от язвы, а боец был хороший. А может, она его не любила? Мужчин-то мало, вот и выскочила замуж за первого, кто предложил. А четыре ордена, это значит, он немцев дох... кхе... много уложил на землю. Иначе пехоте в поле делать нечего вовсе. Сиди и нос не высовывай с окопа. Очень я им гордился, братом. И до сих пор так считаю, что он герой!

— Так и ты ведь в группе подрывников был, смерти смотрел в глаза, а тоже ни царапины.

— Мина натяжного действия. Меня в ямку спрячут, ветки принаваляют сверху, замаскируют. Я мелкий был, шустрый, что блоха. И вот сижу, жду сигнала. Эшелон тихо едет. Крадётся. Спереди платформа, чтоб, если что, можно и отпор дать, и быстро остановиться. Немец сидит, ведёт обзор вкруговую, за мешки с песком спрятался. Моя задача — поближе его подпустить, ударить наверняка. Чтобы платформы и вагоны по инерции наползть начали один на другой. И вот я вскакиваю, верёвку на плечо и в лес, зигзагом, что твой заяц. Лечу и ног не чувую, во весь опор. А с вагонов бьют по мне, открыто. И там столько техники, живой силы! Пробовали на шоссе мины ставить. Не то. Полиции сгоняют женщин с ближайшей деревни, каталку им в руки, заставляют идти впереди. И вот они бредут и взлетают в воздух. Мы тогда перестали эту тактику применять. Стали делать мины натяжного действия. Сами изготавливали. Взрываешь, когда надо, а не когда она душой сама сработает. Хоть лошадь на мину встань, а не подорвётся. Сами же всё экспериментировали. В лесу. А магнитные мины из-за линии фронта мы передавали в деревни, пацанам. Дети тех же партизан. Пятнадцать, четырнадцать лет. Ставят её на время. Чего надо насмотрят, прищёлпнут и тикать! И через час, два, три она срабатывала. Кто догадается, что её давно поставили, а не сейчас с лесу стрельнули? В Новоржеве к поездам цепляли. Ребята работали в Себеже на железной дороге, агентура наша. И она где-нибудь за Идришей взорвётся, и всё.

— Может, твоего брата двоюродного жена и не любила?

— По-видимому, и не любила, да. А моя маловато жена прожила. Откуда он, этот рак?

— Кто же это знает — много, мало? Когда Бог призовет.

— Я её повёл на обследование, август, тепло. И вдруг она так вот осела на глазах, ноги отказали. Тут двое помогли её до кабинета донести, на кушетку положили. Я сразу обувь снимаю, ноги ей массирую. Она в памяти, речь нормальная, разговаривает. Аритмия. Лечили много лет, а тут рак... мгновенно.

— Я несколько лет тому назад тоже с ногами мучился. Еду на машине и ног от коленок не чувствую. Как деревянные костыли. Опасно же. И вот Жена мне каждый вечер растирала ноги. Спиртовой компресс — и тёрла, пока тепло по жилочкам бегать не начинало. Полгода почти. Такая процедура, каждый вечер.

— У меня в последнее время, как выйду на улицу, колет что-то в лодыжках. Пока-а-а не разойдусь немного. А вот муж Племянницы, от средней моей сестры. Кряхтел, кряхтел, спохватился, а уж поздно. Вовремя меры не принял. И помер.

— В бане-то, машинист бывший, помнишь?

— Гунар! Ему уж тоже за семьдесят годов будет.

— Он и говорит, восемь тромбов у него. В сосудах. Поэтому не машет венчиком в парилке, а так, посидит, погрееется. И часть тромбов уже разошлась в организме. Пропали. Давай мы с тобой в баню сходим.

— И когда же?

— Да хоть завтра.

На том и порешили.

## Глава 2. После бани

Баня была недалеко, пару остановок. Не спеша через берёзовую рощу. Прозрачную и пустую. Осень тёплая затянулась. Середина декабря, а всё ещё плюсовая температура, дождей нет. Тихая, мягкая погода.

Брели по новым асфальтовым аллеям, Зятя под руку Деда поддерживал. Тот слегка шаркал ногами. Будто на лыжню вышел.

— Мне такая погода нравится, — улыбался Дед, — хотя понятно, что зима без снега и морозов не бывает, своё не упустит, а всё равно приятно пройти по такой погодной мягкости.

Баня из жёлтого кирпича была похожа на частный коттедж. Небольшая, уютная, с парилкой и бассейном, а главное, для пенсионеров в определённые дни и часы большая скидка.

Отлёты и прилёты Зятя из Дублина обязательно отмечали походом в баню. Посещали её раз в две недели, чтобы немного соскучиться. В прочие дни обходились душем.

Из бани вернулись около полудня. Разомлевшие, благостные.

— Первый раз зашёл, никак не пропотею, а потом тело жаждет пара и ещё, всё больше. Зудит, стерва, пока не отхлестал себя. Пять заходов сделал! — Дед покачал головой. — А уж как ты мне спину продавил, расхотелось в парилку идти. Это уже после пятого захода на полкок. Шкура старая сошла, а новая тонкая ещё, нежная, не задубела.

— Я тоже не сразу восторг ощутил, зато потом нарадовался!

Зятя вывесил на лоджию пакет с веником, на следующий раз. Удачный веник попался. Ветка тонкая, длинная, мягкая. Шёлковая после запарки в тазу.

Прошли на кухню. Тёплый аромат берёзового веника следовал за ними.

Часы «Маяк» на стене, подарок покойной тёщи к новоселью, не тикали — гремели, как кузнец малым молоточком по пустой наковаленке. Они задавали свой ритм кухонной жизни, но приходилось говорить громче.

Тёща любила дарить, но только полезные вещи. Отыскивала заранее, задумывала, планировала, деньги копила и очень радовалась. Пустых подарков не любила. И копила поэтому со смыслом, а подарок получался от души. Про то, что пропало шесть тысяч советских рублей с наступлением «Атмоды» Перестройки, не сказала никому. Аритмия сильнейшая, приступ небывалый свалил на несколько дней. Потом сложили всё, задним числом.

Она была целеустремлённой женщиной. Тридцать два года отдала производственному объединению ВЭФ. Даже смерть себе вымолила в тёплую осеннюю погоду, чтобы людей не обременять холодами да чтобы грунт мёрзлый для могилки не долбить.

Сквозь какую незримую брешь, оставленную невзгодами жизни, вероломным лазутчиком просочилась страшная болезнь — рак, чтобы коварно угнездиться, отвоевать сперва крохотную точку, красться, ползти, постепенно подминать под себя метастазами всё большее пространство. Иссушить болью, пожрать внутренности, измучить смертельно и уничтожить.

— Жаль, дочка далеко, — прервал раздумья Зятя Дед, — счас бы тиснул кнопку на телефоне, мол, идём походным шагом. Она еду на плиту, а тут и мы, духмяные, — сразу к столу, всё горячее. Она такая ловкая, скорая. Я у сестры год прожил с маленьким ребёнком, знаю, как это, когда не дома. Надо чуткость проявлять на каждом шагу. Хотя и люди не чужие.

— Скажи — слава тебе, Господи, что мы нужны, можем внучку понянчить, и у нас есть ещё силы для этого. И не выпячивай свой «героизм», делай спокойно и как надо.

— Такое дело. И себя не уронить, и их не обидеть. Без скандалов обойтись. Понять самое главное. Вот нашли молодые друг друга, любят, семья. Чего туда лезть с советами? Тактично от этого надо уйти. Потом же самим будет от этого терпения приятно. На моей свадьбе старшая сестра встала и говорит: маленькие были, нас двоих, сестёр, мама, бывало, веником наказывала. Я её спрашиваю —

а почему братика не наказываешь? Мама отвечает — не за что! Вот я такой был послушный. И дочь такую же воспитал. Если мне сказали, я должен был сделать, причём быстро и хорошо. Шустрый был с детства.

— За дочь спасибо, Дед! Хорошая она. Чуткая и заботливая. Похоже, вся в тебя выросла. И стройная, как школьница, ты-то вон не толстый.

— Я когда на Камчатке служил, пришёл старшина Шалимов и говорит: иди к командиру полка. Оденешь в парадное, сапоги начисти. Я всё сделал, прихожу, и меня у знаменю части сфотографировали. Где-то дома лежит это фото. Вот так я службе на Камчатке четыре года отдал. Как положено. И в партизанах меня не забыли. Медаль «Партизанская слава» первой степени... наградили.

Как-то нам дали задание мост взорвать, недалеко от Сушёво. Тол дали. Пришли, сверились по карте. У Кирьякова карта была. А как же. И говорит мне, иди под мост. Там метров сто от моста метровые брёвешки лежали. Вот они залегли за них, а я пошёл. Зима, декабрь, снега полно. Пригибаюсь, двигаюсь. Смотрю на мост. Надо же вызвать устройство, стойки, под какими закладывать. Подвязал на две опоры, рассчитал бикфордов шнур так, чтобы до поленицы этой вернуться, где наши. Только завалился за дрова, минуты три-четыре, может, прошло. Как грохнет! Йох ты! Это тебе не шашка четыреста грамм! Мост вверх подняло. Даже в ушах больно. Помолчились, перекрестились и пошли. В Малинки пришли к утру. Нас в сарае зарыли в сено. Знакомые люди хорошие. Мать и две дочки. Спрятали, и мы целый день спали. На другой день Кирьяков пишет донесение, посылает меня в отряд. А это сорок километров. За Себеж, туда, к Ленинграду ближе. Опять меня посылает! Гарнизоны, где немец окопался, мы знаем. Полиции курсируют, на лошадях и так. Можно очень легко напоротся. Или на партизан, если пароль не знаешь. Тоже веселья мало. Пятая, первая, третья партизанские бригады. Большие силы. Подрывники, разведчики. Все в движении. И кто тебе просто так поверит? Надо междубригадный пароль. Раз в сутки менялся. Был он мне даден. Сейчас-то уже его не вспомню. Интересные всякий раз начальники штабов выдумывали. Сроду не догадаешься. И уже вечер. Только я через шоссеиную дорогу, которая на Зилупе идёт, перехожу осторожно. И тут меня цап! Их пять, а я один. С винтовкой. А что это, винтовка. Так. Гранаты были ещё. Лимонки. Они мне приказывают — стой! Винтовку не трогаю, лимонку сжал так, в ладошке. Пароль! Сказал. Куда идёшь? Так и так. А вы? Мы из пятой бригады.

И вот я должен был вернуться из отряда назад за сутки. Это восемьдесят километров в оба конца. Из всей группы самый молодой, вот и гоняли связным. Встанешь часа в четыре утречком и пошёл. Маневрируешь по лесам-болотам. Летом-то ещё ничего, а зимой тяжко. Успевал! Командир отряда Рыжко говорит, отдохни. В землянку на ветки еловые заваливаешься, ног не чувствуешь, пару часов приспишь и назад, с новым заданием. Вернулся. Баня натоплена. Они в дозоре, местные, точки назначены, где наблюдать, чтобы подход вражеский заметить вовремя.

Жизнь партизанская. В окопе на фронте сидишь — вот он, враг, спереди, сзади свои. А тут? С четырёх сторон. У нас было так. От Себежа пара километров, напоролись партизаны на полицаяв. Трое наших, полицаяв восемь человек. И посадили в деревне на кол. Всех троих. После этого очень стало строго с паролем. Пароль стали менять через десять часов. Как хочешь, так и действуй. А пароль меняли чаще, чтобы полицай не схватили. А с пятой бригады полицаяв этих потом подловили в деревне от Себежа недалеко. И без разговоров в расход. Без жалости. Сволочей.

А в тех же местах зимой напоролись и мы на засаду. Идём ночью, гоним корову в отряд. Мясо, значит, ходячее. Она вырвалась у нас, и мы бегаем по огороду. Ловим её, глупую. Я, Егор, Кирьяков. А в сарае, в крайнем доме, была немецкая засада. И с нами был такой Олег, местный, добровольно в отряд пришёл. И его сестра выходит на улицу. Знаешь, как раньше в деревне: туалета нет, вышел, оправился за углом. Немцы её схватили и в сарай. Зимой, почти голая, в рубашке. А мы тут носимся за коровой. И они её спрашивают, чего это бега-

ют мужики? Она не растерялась, говорит — местные мужики, вот у такого-то хозяина корова с хлева вырвалась, они её назад загоняют. А если б мы, как планировали, сунулись в сарай, так всем бы крышка. Котлеты бы наделали из нас вместе с коровой. Они ей поверили, а мы дальше ушли. Отряд-то надо кормить. Сто пятьдесят человек!

И вши страшные, тоже проблема. Под мышку сунешь руку, полная жменя. Рубашку снимешь, она трещит и шевелится. Тифом переболели многие, а я нет. Грязь, вши, голод. Свалился с тифом, оставят в этой землянке. Тут уж какой организм, справится или нет. Лечение-то никакого.

И мы воюем, воюем. Все, кто что-то мог, взрослые, дети, все-все куда только есть возможность дотянуться, добраться, туда и наносили удары. Славы без крови на войне вряд ли добьёшься. Хотя и бились не ради неё. Шли и бились. Я недавно понял, что нас к этому власть готовила. Жёстко готовила. Даже жестоко. Потом это понимание пришло.

Как-то залегли в кювете, фрицев поджидаем, а смотрим — Т-34 прут, пыль коромыслом. Во весь опор. Наши! Что, откуда? И мы их встретили, остановились они. Обнимаемся, махорочкой делятся с нами. Часок, может, какой поулыбались друг дружке. И они опять попёрли, в Латвию. Одни танки, пехоты не было. Числом, верно, двадцать их было. Сорок четвёртый год. Лето. Июль. Нас в лес отвели, начали расформировывать.

Это я только тебе рассказываю, для памяти. Теперешняя латышская власть партизан не любит, воюет со стариками. Всё перевернулось. Нет сил бороться. Трудно биться и победить глупую власть. Вот она — подлость, коварство. На словах одно, а на деле предательство.

Зять между тем отварил картошку, поджарил лучок, перемешал толкушкой с банкой мясной тушёнки. Получилось вкусно.

— Уууу! Песня! — сказал Зять. — Надо, чтобы она была красивой и её хотелось бы петь!

— Картошка с огурчиком, с тушёнкой. Я полюбил с войны. Американская была тушёнка. В таких высоких банках. Блестящих. Вкуснотища-а-а! Так-то я тушёнку берегу, одну её невкусно жевать, а вот с картошкой милое дело. Вот возьми кусок обычного мяса, и ты этого удовольствия не добьёшься. А за кого будем пить?

— За нас.

— Верно, мы с тобой, как рыба с водой.

— За девочек в Дублине. За наших — там. Кого за здоровье помянем, кого за упокой. Мы с тобой тут, как сторожа, а они-то уж все там, на ирландском берегу.

— Давай. По полрюмочки. Огурцы надо тоньше резать, по моим зубам они твёрдые. Кто же придумал огурцы солить? Вода в воде, да ещё и посолено! Интересно.

Дед покачал головой.

— Вот Красная армия путалась в обмотках — неудобно, на боеготовность влияет очень, — сказал Зять, — а сапог кожаных на всех не напасёшься. Учёный Виноградов придумал технологию изготовления кирзы. Практически спас армию. А про него узнали лишь в 56-м году. Засекречен был. Или вот ежи противотанковые. Оказывается, у них есть автор-изобретатель. Был в Киевском военном округе генерал, Михаил Львович Горикер. Он в 29-м году закончил академию с отличием. И его отправили в Киев. Он изучал исторические документы про оборонительные сооружения. В Древнем Риме ставили столбы, вкапывали в землю под наклоном, навстречу врагу, и на них было не напрыгнуть. Он придумал три балки под определённым углом сваривать. И ни с какой стороны не развернуть этого «ежа», ни пехоте, ни танкам. Просто и гениально. И фашисты оценили, украли несколько штук, тоже начали делать. Горикер после войны жил в Москве, умер в две тыщи третьем году. И Владимир Познер всё это дело раскопал, говорит, человек сколько народу спас своей смекалкой, а на доме даже мемориальной доски нет.

— Думаю, с огурцами сложнее. Вряд ли отыщется автор засолки.

— Чудесно картошечка вышла.

— Чудесно!

— Тут главное — соблюсти пропорцию мяса и картошки.

— У меня ещё восемь банок припасено. Берегу. Приедут из Дублина, угощу.

— Зря. Ешь. Они там все ударились талию соблюдать, правильное питание и прочее, так что ты их тушённой не вдохновишь. Это у тебя с ней связаны тёплые воспоминания юности. Давай-ка я тебе добавочки подсыплю.

— Всё! Наелся с избытком, от шейки до хвоста. Мало ли, ты зайдёшь в гости. Тушёнка не пропадѣ-ѣ-ѣ-т! Соседка голодная, Астриса, да она мясное не ест совсем. А мне её так жалко. Никому не нужная. Вот лежала в больнице. Одна внучка только навещала. Правда, каждый день к ней ходила. Выписалась, и всё. И та пропала, не показывается. А кто ей в магазин сходит? Пачка творога на два дня.

— Я её видел, тут как-то на лестнице встретил. Лицо белое, будто мукой обсыпано. Хорошо жалеть, когда наелся.

— Почему это так? Я голодного из своего дома не отпущу никого. У Астрисы конкретно малокровие от недоедания. Вот она меня будет ждать вечером. Она такая стеснительная, культурная, не наглая.

— А пенсия как же?

— Получила, пятого числа.

— Так неделя всего прошла.

— Заплатила за квартиру, за свет, за газ, за воду. Лекарства у неё ужасно дорогие. И чёрт её знает, каких только таблеток нет у неё. Ото всего. Только плотает. А еда так себе — молоко, сметанки чуть, хлебца другой раз. А надо же овощи, фрукты, жиры, углеводы. Я же за раз пачку сметаны съедаю. Сделаю с сахаром, творогом.

— Женщинам только дай полечиться. Я вот люблю творог с помидорами, укропчиком.

— Я её кормлю, но особо не настаиваю. Я к ней сейчас холодно стал относиться.

— Почему?

— Потому что у неё звериное сердце. Характер, конечно, тот ещё. Ложку берёт со стола, протрёт. И всё замечания делает, то не делай, носом не шмыгай, салфетку возьми, утрись. Почему на диване в тапочках лежишь?

— Она же бывшая училка, с большим стажем. Что ты хочешь. Уже остановиться не может.

— Сам ничего не предлагаю. Попросит чаю — дам. Кипятка-то мне хватает. Чай предлагаю — всё не то. Тут заявляет: хочу ромашку, завари. А где я её возьму? Молочка кружечку тёплого дам — пожалуйста. Кофе не буду, это не буду. Она кофе только в пачечках, этот, растворимый. Как гондон, на раз. Какие только булочки не предлагал — и с сыром, и с творогом, и с повидлом. Нос воротит. Ну и пошла ты! Сама попросит, дам, пожалуйста. Или со своими булочками являйся. А то вспылит, видишь, ей не нравится. Немного времени проходит, является. Сама. Кому она? Ну, там, подруги, с кем-то работала. Сходит, повстречается. Потом надо домой возвращаться, а там пусто. Идѣт ко мне. Вижу — голодная. Как не накормить? Это же разве по-людски, голодного человека из дома отправить. Этого я не могу терпеть. Не допускаю. Что там, молока кружка, вермишели горстка, отварю, похлебаёт горяченького, посидит и уж тогда спать идѣт. И оба мы благодарны и рады. Уверен, если бы жена была жива, она бы тоже её приветила, накормила. Она же калека, Астриса. Хотя моложе меня на пять лет.

— Так и есть! Вместе тесно, а порознь скучно.

— Нет в ней радости. И ласки нету. И к ней лезть «по мягкому» вопросу нечего. Грубая такая. Прѣт чего-то по-русски, а куда эта речь её затянет? Вот Хозяйка, с полслова мы друг друга понимаем. У нас и дома было много слов похожих, белорусских. А эта, Астриса, как дикая коза. Вспыхнет, выскочит на лестницу, ка-а-а-к двинет ногой по двери! Ну, что это, куда это? Педагог со стажем. Два высших образования, и оба не впрок. Нервы ни к чёрту. Чего я хочу

добиться? Мягкости в обращении. А она сразу в крик, орёт. Ну ты же женщина, йох ты. Забыла? Или вот, начну рассказывать про отряд, с кем воевал — наши, белорусы, украинцы. Вижу — неинтересно!

— Белоруссия родная, Украина золотая. Как в песне.

— Так и есть. Наша бригада партизанская в Белоруссии формировалась. Белорусы последнее отдавали, сами. Понимали, что спасения можно ждать только от нас. Сами жили в землянках, только труба торчит из-под земли, а последним делились. И мы фашиста дальше Полоцка уже и не пустили, как он ни планировал нас задавить. А мы его окружили, в озеро загнали, истребили. И мы весь этот район контролировали. Машеров очень грамотно командовал. Пережили военный ужас! На солдата в форме по-другому смотрят. Каждый четвёртый в Белоруссии погиб. Это же страшно!

— Ты пирог покушай, с яблоками.

— Я теперь наелся до завтра вечера.

— А вечером как же? Я вчера вечером яблоко съел, грушу, банан, а всё не то. Вертелся, вертелся. Встал, сала поел с хлебом и уснул, как у мамки на руках. В Дублине я так себя не веду, что примечательно. Терплю. Хотя никто слова не скажет, иди, открывай холодильник, ешь что хочешь. Нет! Дисциплинирую себя, а тут видишь, как разгулялся!

— Ты тут вольный казак! У нас с тобой желудки похожие! Вот проснусь часа в три, схожу в туалет. Лягу, нет сна. Пойду молочка тёплого с булочкой поем или что-то ещё. Лёг — и мгновенно в сон. Смотришь утром, семь часов. От так!

Встаю и делаю зарядку, на тощий желудок. Пока раздетый. Начинаю от подошвы, от пяток. Руками разминаю, растираю. Минуту-другую пальчиками по подошве. Икры, дальше, дальше. Потом руками до спины, до позвоночника, сколько сможешь достать. Руки влево, вправо, обе руки разводишь. Наклоны, сидя, по тридцать раз. Влево и вправо, в каждую сторону. Дальше вращение руками от локтей. Плечи и локти. Вращаешь то к груди, то от груди. Массируешь затылок. Руками. Макушку, за ушами. Плечи размял, поворот головы влево, вправо. Сидя на месте. Тридцать раз вправо и тридцать раз влево. Двадцать пять раз руками крутишь, как будто педали, только руками такие движения делаешь. Встаёшь и как птица крыльями: руки вверх, вниз, сбоку туловища. Десять раз. Потом в обратную сторону, к носу и по сторонам. Дальше берёшь скалку. И разминаешь икры сверху, изнутри и снаружи. По тридцать раз. Шестьдесят раз на цыпочки встаёшь, опускаешься. За этим двадцать пять глубоких приседаний. И всё, кровушка весело заиграла, побежала по жилочкам струйками, согрелся. А вот ещё. За наличник над дверью в комнату цепляюсь, ноги подожму слегка, повишу немного, позвонки разбегутся, куда им следует, встанут на место. Очень хорошо для спины. Позвоночник-то оседает.

— Ты знаешь, зачем человеку позвоночник? Чтобы голова в штаны не падала.

— Это же юмор! Но в принципе верно сказано. Каждое утро час-полтора тренируюсь. Иначе ни с места. Не стронуться. Как ржавчиной прихватывает все кости. А после зарядки как и не спал вовсе. Такой бодрый.

— Я вчера день-деньской бегал. Вечером упал, ну, думаю, утром не встану. Нет! Ничего подобного. Встал как огурчик, отлично себя чувствую.

— Я одно время семейному врачу всё жаловался на ноги. Она мне сказала — больше надо бегать! А что ты думаешь, я туда-сюда обувь после починки развожу-привожу? Чтобы движение было. Ну, и клиентам приятно, сервис всё-таки, внимание. С постели встаёшь, хоть и не вставай. А не поддавайся! Как сделаешь эту... «головоломку», так сразу другой человек становишься.

— По полрюмочки, по чуть-чуть? Смотри, перчик плавает, как живой. Пожар местного значения, а не перчик. Глянул, и слоны полон рот. Эта-то крепкая, хохлы делают грамотно. Обычно 35-37 градусов, а эта-то сорок! Пойдём в большую комнату, на диваны-подушки приляжем.

— Раз такое хорошее желание, отступить я не могу! Ты у меня оставил «мерзавчика» недопитого, без тебя попытался — нет! Не идёт, стерва. В одиночку не пошла! Эта-то хорошо пьётся, без напряжения, спазма. Так что пусть там, в

Дублине, за нас не волнуются. Живём мы дружно, соблюдаем себя, общий порядок, друг за дружку беспокоимся. Так и передай при случае.

Ну, всё! Наелся, как свин, напился, как гусь! Стол счас на брюхе снесу впереди себя. Такого майора отстрелил, пуговка отлетит на портках. Счас надо отдохнуть, жар успокоить после парилки, негу ощутить.

Посмотрел пристально на фотографию правнучки под магнитиком на холодильнике.

— А ты глянь, какие у неё глазоньки! Вот я дождался правнучки! Хорошо!

— Синие глаза, как у тебя, как у жёнки моей. Давай постелю на диване, отдых должен быть полноценный, не как на вокзале. Пусть тело дышит в полный вдох-выдох.

— Ноги накрой, никак не согреть. Уж много лет. Мёрзну и всё! Как в партизаны попал. Всё-таки я хочу спать. А пока ноги не согреваются, не уснуть.

Зять прибирался на кухне, мыл посуду, звякал тихонько. Вода шумела в раине. Под этот лёгкий шум Дед уснул крепко и спокойно.

Сумерки прокрались в комнату. Зять вернулся. Шторы задвинул. Прилёг на соседний, малый диванчик. Ноги поджал.

Часы на полке. Мама подарила на новоселье. Круглые, тёмно-коричневые, циферблат чёрный, цифры и стрелки жёлтые. «Кобзарь» называются, от батареек работают почти бесшумно.

Каждый год, пока был жив отец, мама старалась приехать в гости.

Однажды вернулся с работы — тихо. Решил, что мама вышла в рощицу берёзовую погулять, а она стоит тихонько за занавеской. И столько грусти и усталости в её позе, хотя с невесткой дружили и рады были этому обоюдно.

— И уезжать не хочется, и остаться невозможно. Отец болеет, — только и сказала тогда.

А теперь вот он летает в Дублин при всякой возможности, скучает без семьи. И лёта — три часа, вроде немного, а не автобус, не попросишь остановиться где хочется.

### Глава 3. В отряде

Зять телевизор включил, звук убрал. Лежал на диванчике, смотрел сквозь прищуренные ресницы за сменой кадров на экране. Вполуха бормотание улавливал без внимания.

Рано было идти спать, среди ночи проснёшься, будешь по квартире шастать.

Дед проснулся, глянул на экран, поискал уютное положение, устроился на диване, поправил подушку. Глаза приоткрыл пошире, вернулся к прежним мыслям. Вспоминал, рассказывал отрывисто:

— Мамоини сестры муж, дядька, ещё до войны был коммунистом. Сорок второй год. И говорит моему отцу, завтра собирайся, пойдём в партизаны. В Белоруссию, в Юховичи. И сына забери. А мне ещё только восемнадцатый годок шёл. Назавтра приходит как штык, тут как тут! Собирались? А что там собираться? Только подпопаться. Надели, что возможно. Мама кусок мяса отварила. Каждому в сумку положила, и мы пошли. Пришли, а там наро-о-о-ду набрано! Сотни, тысячи, ёх ты! Землянки, снуют люди туда-сюда. Топчемся без смысла, оружия-то нету. Полная неясность.

Дней пять прошло, сразу нас готовят за линию фронта. И шли мы целую неделю. Проводник с нами. Отчаянный такой паренёк. Фронт был южнее станции Невель. Граница Смоленщины. Обстреляли нас сильно при переходе. С двух сторон. И с ихней, и с нашей. И мы по канавам, только пульки фьют, фьют. Смерть соловьём заливается. Страшная птица — Смерть. Летает где вздумается, а невидимая со всех сторон. — Дед от волнения глаза прикрыл, помолчал. — Сперва страшно, грохот, канонада, непривычно. Потом пообвык чуть-чуть, но всё равно неприятно, головы не высунуть наверх. Ноябрь. Снежок уже был, а всё равно, где грязь подмёрзла, а где нет, проползли на брюхе, забузыкались в этой каше. Прошли, правда, без всяких потерь. Ночь шли, наутро нас оста-

навливают. Километров пять отошли уже вглубь. Какая-то деревенька. Несколько домов, от остальных лишь трубы торчат, сгорели дома. По тридцать — сорок человек в каждый дом распределили. Жрать как хотело-о-о-сь! Не сказать как! Вот свари быка, дак всего и уработаю! У нас был завхоз, фамилию уж и не вспомню. Он ездил по деревням, еду собирал. Кормить-то партизан надо. Кто пшеницы даст несколько, кто рожь. И вот эту баланду варили. Так мы перебивались, и начали нас вооружать. Оружие привезли, ротный миномёт, самый маленький калибр. Семьсот грамм один выстрел весил. Пулемёт Дегтярёва. Вооружаемся основательно, а питаемся, как и питались. Что удавалось достать. Молодые, мели всё в подряд, никто не жаловался. Лишь бы брюху бдительность усыпить. Вот так. Потом отправка опять. А перед этим нам столько надавали патронов, пулёмётных, автоматных, гранат-лимонок, по две противотанковых гранаты. Еды куда было меньше, чем патронов! Автоматы выдавали командирам взводов, рот, отрядов. У нас-то винтовки. И пошли мы назад. Напоролись на засаду. Ничего там не было, ни деревни, ничего. Перекрёсток какой-то, по-видимому, поджидали нас. Такую стрельбу открыли. Истерика просто! Немецкие пулемёты, знаешь, воют, что собаки злые лают, страху нагоняют. Стреляют поверху, а мы ползком, и перешли тихонько. И вдруг — оттепель! Что это, откуда она взялась? Поперёк зимы. Около Невеля. Ночью шли по озеру, и вода по колено поверх льда. А мы в валёнках, как поплавы дырявые. Намокли, замёрзли окончательно! Ёх ты! Добрели до деревни. Уже немецкий тыл. Деревня целая. По домам нас опять распределили. Хозяйка портянки наши собрала посушить, а мы скорей на печку. Вдруг на улице трескотня, стрельба. Что такое? Выбегаем как есть. А в эту деревню с соседнего гарнизона полицаи вошли. На двух подводах. Пограбить население. Самогоночки, знаешь, туда-сюда. И напоролись на бригаду нашу. Так ночь скоротали. С утра подъём, в Беларусь родимую опять. В отряд приползли, а там тоже голодно, жрать нечего. Опять надо добывать. Как волки, вечно в поисках жратвы. Но народ удивительный белорусы! Последнюю картошину отдавали. Век не забуду! И мы двигаемся, деревни большие, по сто и больше дворов. А лишь одни трубы торчат. Немец под корень уничтожал.

День за днём. Так вот. Потом уже, летом сорок четвёртого, наши войска в Латвию рвались, гнали фашиста. Назначили меня председателем колхоза. Партизан-то уже распустили. Кто в армию, кто в тыл. А меня вот так! Абрене называется. А что мне делать? Мальчишка. Опыта нет. Девятнадцать годков всего. С чего начинать? Ищу старых бригадиров, животноводов. Собрал их. Начал беседовать.

Был у меня друг, Мурашкин такой. Он в соседнем колхозе был назначен председателем, как и я. А нас предупредили, чтобы в одном доме не ночевали и обязательно каждую ночь в другом месте. Иначе полицаи найдут. И мы одну ночь в одном сарае, другую в другом. И вдруг нам говорят, полицаи пришёл. Завели его в крайний дом. Но он говорит мне, хватит, отвоевался. Я ему говорю, нет, дорогой, ты ещё не отвоевался. Ты ещё будешь воевать.

Назавтра беру лошадь, везу его в район. А там мой командир бывший, Рыжко, руководитель. Немецев, полицаев ненавидел до ужаса. Сейчас, говорит полицаю, пойдёшь ты в штрафную роту. Позвонил куда-то. Его отправили. Зря я тогда. Надо было его втихаря в расход.

И прихожу я к Рыжко, винтовку сдал. Говорю: вот что, товарищ командир, организовал я председателя заместо себя, бригадиров, счетовода нашёл. Он в другую комнату. И приносит мне повестку в армию. И всё! Цвейки-свейки, как говорится по-латышски. На пересыльный пункт!

В колхоз вернулся. Там старичок такой, Иван Демидович. Давай, говорю ему, командуй. Как положено, как при советской власти. А меня освободи, ухажу в армию. Он мне мяса наварил-накоптил, продуктов мешок собрал в дорогу. Приезжаю в Великие Луки. В товарняке. Вдруг солдат бежит, спрашивает — кто тут такой-такой есть? Меня выкликивает по фамилии-званию! Я, говорю, я тут. Тебя женщина ищет! Что такое? Ничего не понимаю. Выхожу — сестра моя средняя, железную дорогу восстанавливает. Нагнали гражданских. Как же,



Великие Луки все смели фашисты. Мы поцеловались, обнялись. Глянул, а она босая! Я ей пиджак отдал, хороший он был. Ботинки тоже хорошие. Ей отдал. А сам босиком. Мешок, что с едой. Ага. Ребята с эшелона говорят, отдай ей, не дадим тебе пропсть. Вот и встретились на пятнадцать минут с сестричкой.

Так мы поехали в Москву. Не доехали, развернули опять в Калинин. Там наро-о-о-ду! Кто был под оккупацией. А я когда с Рыжко говорил, сказал ему — товарищ командир, мне какая-то бумажка нужна, что я был в партизанах. Он подхватился — о, це я не допэтрив! И мне, и другу, Мурашкину, приносит справки.

Построили всех. Офицер приходит: кто был в партизанах, два шага вперёд! Взял наши бумаги. И загнали нас в подмосковные леса, где был полигон танковых войск. Недалеко Мытищи-город. Там танки делали, самоходки. Назначили меня командиром орудия. СУ-76. Самоходная установка. Их называли «сучки» или «живая смерть». До первого выстрела. Немец прошибал их, жук консерв-банку, с одного выстрела. Зима уже подошла. Заболел я воспалением лёгких. Крупозное! А что — холод, шинелишка драная, прожжённая, куцая, одна пола короча, полрукава нет. Рухнул, что колосок подрубленный, и мрак наступил.

Очнулся. Лежу в коридоре. Все палаты, всё забито ранеными. Спрашиваю, где я? В Мытищах, отвечают мне. Я, оказывается, три дня был в бреду. Мне соседи рассказали. Всякую фуйню-муйню нёс. Полмесяца отлежал, меня выписали. Вышел за порог и не могу идти. Сил нет. Абсолютно! Дистрофик. Бреду кое-как вдоль дороги. Ноги представляю из последних силёнок. Стука. Погибаю! Едет грузовик. Руку поднял, голосую. А довезите меня туда-то, туда-то. Наверху три женщины. Военное сукно везут на фабрику, на пошивку шинелей. Говорю, с госпиталю, после воспаления лёгких. Они меня — давай сюда! В это сукно завернули! Тепло сделалось. Лежи, говорят, мы тебя довезём.

В расположение попал. На кровать упал, едва дышу. Старшина тут пришёл, как, что? Окреп я немного. Экзамены сдали в танковой школе.

И вот мы на заводе ждём приёмки своей машины. Посмотрели. ЗИП, ключи, комплектация. Годится. На дивизион надо было получить тринадцать таких машин. Так и назывался — самоходный артиллерийский дивизион. Погрузка в эшелон. Вот это да! А бои уже всюю шли в Прибалтике. Всё на фронт!

Мы машины закрепили, заматали на платформах. Сами в теплушках между техникой тоже устроились. И сидим. И ждём. И были среди нас пожилые, взрослые дядьки. Вот они говорят, а я прислушиваюсь. Мол, если в пять утра мы под виадук поедем, солнце-заря навстречу будет подниматься, значит, едем на восток, японца добывать. А слух уже полз, что с Японией возня-катавасия затевается, с самураями. Америка просит помочь. Как уснул, проснулся, кричат все. Глаза продрал, а вот оно — солнце! Оранжевое, громадное! На полнеба колесо выкатилось — взглянуть больно. И все смеются, кричат — прощай, запад. И так нас попёрли на восток, полным ходом! Даже оправлялись мы с вагона. За ремень прихватит кто, за руки держисься. В сутки раз дадут пожрать. И всё! Без останков пёрли! Йох ты!

Прибыли мы! Улан-Батор! Монголия. Монголы смотрят на установки, как на чудо-диловинку. А мы прём, до горы!

Тут пошёл разговор, что нас приписали к 317-й Будапештской дивизии. А она ещё в Европе. И нас загнали в степь монгольскую, сколько глаз охватывает. Даже видно, как земля шаром становится с краю. И так мы неделю всё смотрим на горизонты вокруг. Вдруг является дивизия с Будапешта. Начали совместные учения проводить, чтобы срабатываться как надо, по уставу.

Тут уж и войне конец наступил. Мы в резерв. Не досталось нам японца побить. С японцем-то хуже было бы воевать. Они же все сопки ходами изрыли, как кроты. И ты бомбы бросаешь на них, не бросаешь. Не выкуришь. Сидели внутри, окопавшись, дивизиями. Терпеливый народ, дисциплинированный. И вот пехота, танки, пушки на обмотках, на верёвках сперва на сопку, потом с неё. Сколько там без счёта народа на этом деле загнуло!

И нас перебросили на Камчатку. Во Владивостоке согнали опять войск без счёта. На корабль. В три яруса понабивали в трюмы.

В Петропавловске наша рота охраняла штаб корпуса. Такой генерал — Гнечко. Если память не изменяет. И вот как он острова взял без боя? У хитрого японца? А он японца объ...л! Вот так! У него в распоряжении один корпус, а у японца на каждом острове дивизия! Он на переговоры пошёл, сказал им, что имеет в распоряжении семь дивизий. Японцы на веру не принимают, хотят удостовериться. А как? Хотим личную встречу с командирами этих дивизий. Вот Гнечко таких мордастых, представительных мужиков подобрал, напаял на них генеральскую форму. Глянули на них снизу мелкорослые японцы и сдались! А так бы кровушка наша водичей пролилась очень даже обильно на этих островах. И ему заслуженно за эту военную хитрость присвоили Героя Советского Союза. Должно быть, ихняя разведка херово сработала. И пленили тогда шестьсот пятьдесят тысяч японцев! Их полно было везде. На Камчатке, на Дальнем Востоке. Пахали. Они труженики серьёзные, не лодыри. Кормила их Япония, Советский Союз их не кормил. И вот они по полям ходили, букашек-лягушек подбедали. Пожарили всё под корень, как саранча, пустыня, камень один после них. А что им, чумизу пришлю, щепоть, и жуй, а сами как грибы-лисички. Маленькие, жёлтые. Мы их жалели. У каждого, чуть что, лезет в карман, блокнотик такой небольшой. Русско-японский словарь. У каждого, решительно. А у наших не было. Но как-то договаривались.

А какой богатый край это Приморье, Дальний Восток! Ты не представляешь! Всё золотое — земля, деревья, рыба. Японцам бы надо, им тесно на островах, да кто им даст! Поэтому они и пытались откусить. У озера Хасан да тут вот, на Камчатке, в Монголии, туда-сюда. Территория большая, а наших-то чуть там проживало.

Вот я тебе кратко и рассказал про свою жизнь и военную карьеру. Может, нескладно вышло, но самое главное про то время.

#### **Глава 4. Почему много русских в Латвии**

— Я к тому времени уже отслужил на Камчатке четыре года и затеял переписку, стал искать родичей. Года два тянулось всё, но нашёл сестру в Риге. И в начале декабря приехал.

Теплоход «Балхаш» из Петропавловска-Камчатского. Авачинская бухта полукругом таким, выгнулась подковой. Людей полно, все во Владивосток спешат, на материк. Вольнонаёмные и так, геологи, начальники, офицеры разных сортов, люди пёстрые.

Трёхмачтовый теплоход наш, низкая посадка. Американцы отдали. Фрегаты военные ни черта не отдали! Скоростные, маневренные. Прёт, как легковушка по шоссе, только буруны белые сзади за кормой. Сутки ходу от Петропавловска до Владивостока. Без малого полторы тыщи миль. Красавцы! Да только вернули их американцы себе. Не потрапились мы тогда.

В трюм загнали полтыщи демобилизованных. Носу не высунуть. Раздали сухой паёк. Масло, сахар, консервы. В три яруса мы распластались. Задраили трюм. Я на самом верху. Только слышу, волны через палубу шух-шух. Перекачиваются, гуляют валы. Японское море. Но не укачало, нормально перенёс. Пароход старый, скрипит, но довольно ходкий. Через девять дней приплыли. Залив Петра Великого, бухта Золотой Рог. И город слева и справа.

Как дальше добрался, в другой конец страны, это отдельная история.

Через какое-то время приехал в Ригу.

Богатые драпали вместе с немцами. Надо было восстанавливать промышленность. Кто это будет делать? Латыши-то крестьяне в основном, хutorяне. Кто ещё нужен? Юристы, агрономы, лесники — вот и приглашали русских сюда работать. Директор завода, Гайлис, ездил в Опочку, Новоржев, в Беларусь, на Смоленщину, набирал народ. Вербовал. Толковый был, первый директор завода ВЭФ.

— Это власть так решила, а латышам, может, сто лет этого не надо было? Растили бы свиней, поставляли бекон в Европу.

— Нас-то власть как раз и приглашала. Другой не было на тот момент. Тут всё бы в руинах стояло, сами бы не справились.

— Да ладно! Американцы, шведы, кто-нибудь подсобил бы деньгами.

— Всё равно так бы было, что надо приглашать людей. Всё же порушено. Что такое независимость? Никому не должен и не зависишь от чужой воли. Я так понимаю. Вот я приехал сюда, чтобы работать, делать Латвию независимой. Экономически. Можно сказать, боролся за независимость? Конечно! И твёрдое было намерение семью завести, детей, обосноваться, работать честно, как следует. Остаться тут навсегда. И много было таких. Не на танках же их всех привезли. А сейчас болтовня, полная зависимость от иностранных банков, воровство и кумовство. Страна ленивых, бестолковых чиновников. А откуда независимость при таких долгах, на три поколения вперёд?

— Ты ведь при этом чувствовал, когда сюда приехал, что тебя тут не очень желают видеть? Когда сейчас говорят — вот они, «Ваффен СС», боролись за независимость, это подразумевает, что они убивали русских? Тех, кто освобождал территорию Латвии.

— Я их видел, какое-то время они были. И все знали — вот этот был у немцев в прислужниках. Тихие, смиренные ходили. По работе только соприкасались. Потом куда-то растворились. Кто на Запад убежал, кто-то в «лесные братья» подался и там загибнул. Немцев-то они не убивали, хотя Гитлер и не думал, чтобы сделать Прибалтику независимой. Немцы грабили, вывозили отсюда всё, что только можно. И людей, и скот, и ресурсы. И названия такого бы не осталось — Латвия. А теперь вылезли откуда-то недобитки.

— Так кто же реальный освободитель?

— Я и есть освободитель. Самый настоящий! Со всех сторон, как ни прикидывай. Чувствовал, что не очень мне рады, ловил косые взгляды, но жизнь сложилась так, пришлось ехать и жить. Молодой, сильный, всё казалось нипочём, хотелось работать, аж ладошки ломило.

— Совсем другая страна, люди. Всё другое. Даже язык.

— Нет. Меня это не пугало, казалось нормальным. Без враждебности. Да, вот он — Советский Союз. Большой, и я в нём как дома, и Рига — часть страны, одна комната, так скажу. И латыши были другие, совсем другие, дружелюбные. После пережитого, ещё помнили эти ужасы военные. Какая-то часть. И Лиго, главный праздник здешний, отмечали вместе. На работу принимали, так никто у них знания русского языка сильно и не требовал, на категорию не сдавали. Можешь общаться — иди работай. И вот, пришёл я на приём к директору, жильё попросил. Он говорит — хорошо, постараемся. А директор по быту Миллер был. Он его вызывает и говорит: вот этому парню надо обеспечить жилплощадь. А он семейный или одинокий, Миллер спрашивает. Одинокий. Нет, отвечает Миллер, мы семейным работникам стараемся в первую очередь. И директор тоже сказал — будет жена, комнату дадим. Вот и пришлось мне неожиданно знакомиться с девушкой. И поженились вскорости. Вот так и дали комнату.

В цеху со мной работала девушка, смоленская. Здесь сошлась с латышом, замуж вышла. Он в советской армии служил, воевал, потом в милиции работал. Она интересная моей была, а мы с ней дружили, так, по работе. С латышками я не знал. Почему? Не знаю, а только вот так. Какие-то они напыщенные, мажорные и обидчивые. Не нравились, и всё! Хотя не было к ним враждебности.

Мы в первой смене отработали, она говорит, приходи в общежитие. Пришёл, она меня провела. Дверь открывает, смотрю, сидит молодая девушка за столом. Оказывается, я её видел много раз, заходил по работе. Ну так заходил, просто. И всё. Присел, на столе цветы. Я их отодвигаю, она к себе, как будто закрывается. Оглядываюсь, подруги и след простыл! Видно, они договорились, прежде чем меня за стол усадить. Приставать там, нахальничать у меня привычки не было. Руки выкручивать — последнее дело. Тут ошибиться нельзя. Женщина! Одна пылинка может всё дело испортить. А летнее время. Тепло, чего дома-то сидеть. Предложил в парк сходить. Ну и пошли. Посидели. Какой же это был парк? В центре какой-то. И она говорит — надо возвращаться, у меня общежитие в один-

надцать часов закрывается. Дверь парадную закроют, и ночуй на улице. Строго было заведено. Хорошо.

День, второй, третий. Нормально встречаемся. Тут осень как-то скоро пошла. Все уже переживают за меня, говорят, что-то ты думаешь? А я у сестры поселился, на углу Карла Маркса и Суворова. Она дворником работала. Я ей ничего не говорю, а уже дом достраивался. В декабре мы расписались. Тёща приехала с Новоржева, сёстры мои обе с мужьями, подругу пригласили, сводницу. Прямо на Новый год. На Красноармейской выдавали участникам войны специальные талончики продовольственные. В магазин приходишь, колбасы там разные выдают, масло, сахар, жиры, не надо в очереди стоять. Только участникам. Не нравилось мне это ужасно. Народ ворчит, косится на нас. Потом, когда талоны отменили, стало хорошо. Стоишь, как все, не выделяешься, как прыщ на заднице. А тогда там отоварились, стол накрыли. Через год, к осени, дочка родилась. Несколько месяцев у сестры пожили, тесно, но ничего. Потом переехали. Комнату дали. Четырнадцать метров квадратных. Сосед, у него семья, две дочери, восемнадцать квадратных метров. А мы и этому рады! Что ты! Гвоздь в стенку — одежду вешать, диванчик. Так мы дочь растили, и никто нам не помогал. В ясли водили, в садик. На сутки, работа посменная. Летом отпуск. На Гае был пансионат, сколько раз ездили. В Буддурри. Всегда летом давали. Старшая сестра под Елгавой жила, главбухом работала. Участок большой, свиней растила, кур. У нас один выходной, в субботу вечером едем к ней. Дочь на закорки подсажу, от электрички далеко топать. Встаём утром в воскресенье, давай пахать, картошки растить, огород. Зато потом подпорье было: и мяса сестра даст, пласт отвалит, и овощи. Живи! Тока волоки свою ношу, не ленись. А сейчас там электрички уже не ходят — некого стало возить.

— Ты женился-то по любви?

— Нет! Совсем нет! Нравилась, как же без этого. Молодая, чего уж. Женился при небольшом расчёте, а жизнь прожил с ней одной и очень даже этому рад. И никогда слова худого не скажу в её адрес! Вдгонку. Замечательная женщина мне досталась. И что приняла меня такого. Усталого, с войны. Я страшно ей благодарен за это. Что она поняла это, главное, и уважала во мне мужчину.

В какой же момент я это понял? Мог бы придумать, что весна, сырень, соловьи от любви песнями заливаются и с веток падают — а не совру. Я ушёл на войну, у меня не было девушки. И писем не ждал. Не было у меня этого всего. Восемь лет в партизанах, в армии. Так же можно было и в зверя превратиться в той обстановке. Я вернулся, повезло, не ранили ни разу, хотя лез, не боялся, молодой был, бесшабашный. Потом всё это вернулось, память гнала меня назад, воевать, кричал во сне, ругался страшно и грубо и всё куда-то бежал, стрелял. Угомон меня не брал. Шёл убивать, взрывал постоянно что-то, в засаде тайлся. И до-о-о-го ещё война меня, молодого, подстергала. А жена... она обнимет тихонько, и мне не так ужасно просыпаться в разгар той ночной войны. Жена сильная, умная и всё понимала про меня. Тогда я увидел, что она красивая и будет со мной. Глянул однажды — и понял. Успокоился. И стал улыбаться. Как я мог её не уважать? И любить. В конечном итоге.

— Как сказал Черчилль: «Я женился и с тех пор счастлив!»

— Однозначно! И вот так она мне запала в душу, на всю жизнь. Сколько ко мне на заводе ни мылились! Мужчин дефицит, а я не ранен, не искалечен. И так-то не урод вышел, по наружности, и к труду сноровистый. Одна даже травилась, так я ей был люб. Любила меня тихонько, вида не давала. Не нахальничала. Я-то что — у меня только про работу мысли, какие там шуры-муры. Участок тридцать пять человек! Йох ты! Она каких-то таблеток наглоталась. И я ей сказал, что это большая глупость с её стороны. Она ушла с завода. Устроилась в столовой на углу, вон, напротив нашего дома. И как я мусор возьмусь выносить, она мне навстречу. Я отворачиваюсь, не хочу с ней встречаться. На завтра, я-то знаю, что мусор надо выносить до обеда. Выхожу, опять она. Видно, в окно высматривает меня из посудомойки, поджидает специально. Несколько месяцев прошло, и пропала эта женщина.

— Можно сказать, всю жизнь тебя любила безответно.

— И что, жену бросить, дочь? Это было не в моих силах.

— И так на всю жизнь?

— Верно, на штамповке была одна. Явно ко мне льнула. Но я не имел права изменять. Я так решил про себя! И дочка же чудесная. Такая девочка! И училась, и красивая такая. А как сейчас люблю! Ещё больше прежнего я её люблю!

— Значит, ты через дочь обрёл любовь к жене!

— Вот! Когда женщину спрашивают — чего же ты, глупая, родила от него? А чтоб он понял главную ценность, любовь, и через этого ребёнка к ней самой любовь проснулась! Она же гордится своим деткой, выносила, нянчила, болела с ним вместе, переживала. И теперь на всю жизнь связана с кровиночкой своей, до конца. Всякое бывало, но я жене не изменил! Сколько у меня девчат, женщин было в подчинении! Ни черта! Я ей сказал, раз тебя Бог мне послал и назначил, значит, так тому и быть. Вот поэтому, когда она умирала в больнице, я пришёл, а там женщина, соседка, говорит: она всё кричала перед смертью, тебя звала. Бредила сквозь болезнь, рак этот паскудный, это же ужасные муки, рвалась ко мне, через боль, себя забывала, кричала. Пока дыхание не ослабло. Под утро затихла только. Рак не сердце — жамануло, и всё! Это великое терпение боли. И всё звала, звала. Меня — звала.

— Мужчине худо, он кричит «мама, мама», а жена мужа зовёт. Вот оно как.

— Одно время она мне потом часто снилась. Как в кинофильме, идут кадры чёрные, белые, попеременно. Мельтешит, мельтешит, да вдруг один — стоп. Как в сон явится ко мне — я в церкву бегом. Свечку затеплю в ладошках. Свечка тонкая, воск гнётся между тёплых пальцев. Поставлю за упокой перед распятием. А сейчас что-то тихо совсем. Это беспокоит.

— Характер у неё был цельный, но я с ней ладил. Шесть лет вместе прожили и потом много лет, а только хорошее в памяти.

— Обязательная была. Но добрый был характер. Скажет чего-то сделать, сперва резко, да не со зла, а я сразу не споровю — она молча, без скандалства, берётся делать. Тут уж меня самого стыд жмёт, я начинаю это дело доделывать. И дневник вела. Скрупулёзно, каждый день. Потаённо. Я и узнал не сразу про это. Толстая тетрадь. Другой раз накатит на меня такая тоска тяжёлая, дышать трудно — открою. Читаю, представляю всё себе, до слёз даже цепляет. Сам-то уж многое забыл, и как будто заново всё и времени ещё много впереди. И она живая, вот она.

— Интересно было бы почитать. Так ты однолюб? Так присох к жене, что больше и никого.

— Вот что из головы нейдёт, часто вспоминаю. Это молодой совсем ещё, а уже в отряде был. В деревню пришли. Деревня на бугре раскинулась. Как они картошку умудрялись сеять на склоне? Не знаю. Две подруги, Шура и Лёля, стояли нам баню. Мы вдвоём. Я и Володя. Двое других караулят, пока мы моемся, нас охраняют. И после мытья мы легли спать. Этот лёг с другой девочкой. А я с Лёлей. Кроватей всего две. Ночь летняя короткая, на один вздох-прижмур. Я я, по-видимому, во сне руку так на неё положил. Она руку мою отодвинула. И проснулся и лежал до утра. Ни в одном глазу сна не было. Затаился от волнения. Больше её трогать не стал. Может, поговорить бы надо было, да война. И вот после войны я вспомнил о ней, но времени не было, а так бы я поехал и забрал её, эту Лёлю. Такое сильное впечатление оставила. И красивая была, и моложе меня. Интересная, смуглая, глаза чёрные, как у молдаванки. Сестра у неё совсем другая. Брат был. После освобождения в армию пошёл, воевал, вернулся старшим лейтенантом. Хороший. А не было времени к ней съездить. Надо же приехать, погулять, поговорить. Сразу же, в то время, а жизнь не позволяла. Надо было срочно жениться, комнату получать. А жена меня любила... любила. И я её любил и берёг до самой смерти, как ребёнка. Сколько я с ней занимался!

— Значит, получается, самое главное, чтобы любовь к старости расцвела? Не когда молодые, глупые и кровь горячая бурлит. Искренними надо быть, не скрытничать друг от друга, не кривить душой.

— Любовь — это временное поглупление. Что-то другое приходит на смену, но без любви жизнь невозможна!

— Мы к ней пришли в больницу за сутки до смерти. Страшно худая, одни глаза, и мука такая в них. Поговорили. Она улыбнулась нам. Попрощались. Обнялись. Лёгкая, невесомая, косточки одни под руками. Кажется, подними и оставь, и не упадёт, будет парить. Хоть плачь. Убийственное ощущение. Думал, сердце разорвётся. Идём по коридору. Жена мне говорит с улыбкой — маме лучше после операции. А утром звоним — умерла.

— Страшная болезнь. Тяжёлая смерть была. Изматывает человека, крадётся незаметно, подлюка, пожирает изнутри.

— Метастазы.

— Другие любовь найти не могут, но нет, не то! А тут вроде как нечаянно — и на всю жизнь. И на войне везло.

— Чистый человек, незамутнённый. А меня она к жизни возвращала после Чернобыля. Первое время тошнота сильно. Поем, рвота. Иду — упал. То формула крови не шла, то поджелудочная — дважды в год отлёживался по две недели. Ну, ты помнишь. Потом гепатит как из воздуха нагрянул. Все фильтры в организме покорёжены. И она мне травки варила. Года два так надо мной трудилась. Говорит, от мамы ей передалось это умение.

— Вроде и вспомнили грустное, а я скажу, судьбой своей доволен. Если б я один, беспомощный был, а так сам за собой ухаживаю, готовлю. И вот уже не нравится, когда дома у меня кто-то. Даже эта, Астриса. Я бы так начал что-то делать, нет, приходит, покормить её надо, то да сё. Включаю ей телевизор и иду заниматься своими делами. А ей не нравится, иди посиди, говорит. Посиди на стуле рядом. Удовольствие! А я его смотреть не могу. Надоед без пользы.

— Пить не хочешь? Пивко есть у меня. Вот оно, красивое и пенное. Хотя я пиво не за кудри люблю. Ах! После баньки-то, жажду устранить. Оставайся у меня, я сейчас постелю тебе на мягком диванчике, располагайся.

— А давай. Всё равно телевизор смотреть не стану. Пустое там всё, враньё. Хорошее пиво. У тебя тепло. У меня всё хорошо дома, только куда прохладней. С Дублина не звонили?

— Утром звонили, всё в порядке. Ждут меня. Через два дня полечу. Гостинцев набрал всем.

— Ах, доченька моя, доченька. Была бы она среди нас королевой, а там — Золушка. Как ни крути. Полностью уверен, что её не обижают, а всё равно не в своём доме, всё иначе. Надо потерпеть до весны, привезёт нашего ангела, правнучку, в Ригу. В магазине смотрю, молодая мамаша волокёт мальчика. Сколько ему, спрашиваю. Два с половиной. О, как и нашей. Наша-то лучше. Это ясно! Смотрю вот на фотографии, она меняется, но в очень красивую сторону. Настоящая актриса! У неё умные глаза двадцатилетней девушки. Понимаешь? Хорошо, что ты тут крутишься между городами, как связной.

— Только паспорт, пароль не нужен! Утром прибегает, спрашивает — как спала, душа моя? Хорошо. Деда — ты мой душ! Смеётся! А глаза... все озёра Ирландии в глазах. И как скажет! Спрашивает: «Мама, я такая плоская, потому что у меня нет молочка?» Как на Востоке говорят: то, что Бог подумал, ребёнок сказал.

— Даст Бог, будет очаровательная девушка.

— Я Дочери говорю, вот во имя этого чуда рожайте детей. Хотя бы ещё одного, двоих. Если по-настоящему этого любите. Не смотрите на себя, на трудности, пока мы ещё вам сможем помочь.

— Вот тут ты прав! Пусть нашу глупость не повторяют, а вот был бы второй. Бог дал дитя, он его не бросит.

По нынешней поре нравится мне Хозяйка. Мы с ней много лет проработали вместе. И она благосклонна ко мне, да вот обстоятельства заставили пожениться их с Дидзисом. Она теперь и звонит не так часто. Да и я уже староватый, если б лет сорок мне. А тогда я с женой жил. Теперь-то уж что там мусолить старое. Летом дочь Хозяйки приезжала. Туда-сюда по родне поездил, деньги провела,

а надо в Москву ехать, оттуда вылет в Лос-Анджелес. Я ей билет купил до Москвы. Для меня это срунда. По-отцовски к ней отнёсся. Вот она благодарит, шлёт мне куртки, одежду. И не забывает, ценит меня. Теперь как звонит с Америки, всё привест передаёт.

А теперь уж и нет никого. Ни мамы, ни сестёр, ни мужей ихних. Отец вообще рано ушёл. В нашей семье никто не погиб, а вот в жениной и отец её, и брат. И дядю-подпольщика предатель выдал, повесили в райцентре на площади. Один я со всей семьи. И чего-то прямо сейчас в памяти сейшло. Однажды зимой собрались ехать с гостей от старшей сестры. Холодно, стоим на станции. Поезд проходящий, должно быть, отменили. Замёрзли страшно! Дочка на руках. Мы назад. А там уже спят все. Поздно. Нам открывает сестра моя — а боже мой! Давай водкой ребёнка растирать, спать укладывать. Ничего, не простудилась. Потом как пошло подряд: то корь, то коклюш, то чёрт-те что! Условий особо нет по больницам. Но вот всё пережили. Училась сама. Придёт, покушать погреем и за уроки. Только вот закончила десять классов — хорошо, куда дальше? Говорим, давай в институт, а она орбела — вдруг не сдам? Все же тогда в институты стремились, желающих много. В техникум свободно поступила, на экономический. У неё знакомая была, та поступила в институт, она взяла у неё вопросы, ничего страшного, могла бы поступить. Поработала несколько времени после техникума, поехала в Москву, на экономический в полиграфический институт, приняли её. Рисовала хорошо. Она вдруг передумала, вернулась. Домашний ребёнок, не смогла там в общежитии жить. Вот так. Побоялась.

— Она учиться любит. Вон, латышский язык как упорно учила. Пошла и сдала!

Сумерки сгустились плотно за окном. Дед задремал на диване. Зять послушал новости, где какая война идёт, сколько убитых, раненых, выключил телевизор.

Дед проснулся. Зять постелил ему постель.

— Хороший день, — подумал Дед, — спать буду, как лён продавши. Как красиво жить, когда ты кого-то любишь. Дочь, Зятя, Внучку. Правнучку возьму на руки, как яблочко упругое, охмелею от счастья любви. Золотое моё яблочко, щёки румяные. И расцелую от всей души. И так Бог заповедал — любить, плодиться и трудиться. А иначе пустая жизнь. Ни к чему.

И слёзка светлая, тихая, благостная — по щеке.

## Глава 5. Экзамен

— Надо сказать, Жена очень серьёзно подошла к экзамену по латышскому языку. В Ирландию, к дочери-то с внучкой, хочется летать беспрепятственно! Таблицы по стенкам развесила, правописание, картинки, учебники. Группа сдавала, тридцать человек, в основном молодые. Четверо сдали. Двое со второго раза. А она сразу сдала на «отлично». На общих основаниях, без всяких поблажек. Её потом долго уговаривали прийти на встречу с зарубежными латышами, показать, что вот есть русские, которые всё-таки могут их язык выучить. Мол, не все такие тупые. Такой подтекст. Может, хотели показать, куда деньги уходят с заграничной благотворительности? Сдала и упала с высокой температурой, на две недели! Так сильно переживала. Она сказала мне — сдашь, и я насмелюсь тогда. Я пошёл, мне же только собеседование и гимн.

В первый раз пошёл. Комиссия. Волнение ужасное! Что-то спрашивают, отвечаю. Где учились? Говорю, там-то. Губы ниточкой, морщатся, чего-то им от меня не в радость. Не могу понять, что-то им отвечаю. «Жел, жел», значит, «жаль», председатель говорит мне. И красный штамп ставит на мою ведомость. А я готовился, занимался. И тут меня как взорвало! Я говорю, вы что, думаете, я в магазине молока с хлебом не смогу попросить? Не волнуйтесь, с голода не помру! Чего вы тут цирк устроили? Камеры развесили, магнитофоны наставили по всем углам. Дешёвые дела! Как попёр, сам не ожидал от себя такой прыти. Так меня взбесили эти гаденькие ухмылки, мол, недоумок притопал, иднот какой-то,

время наше отнимает. С высшим образованием, а баран бараном! Счас уже не всё и вспомню, как туман, чёрное облако меня накрыло. Затмение полное, колотит всего, такие страсти, аж сердце зашлось. Как гляну на их постные физиономии, так всего и колбасит! Нет бы приободрить. Засуньте, говорю, в ж... ваши бумажки! У меня есть возможность в другой стране стать гражданином. Я же в Киеве родился! Слава богу, что у меня есть вариант! Они варежки разинули. Я развернулся и прочь оттуда! Проходит месяц, письмо в ящике. Предлагают повторную сдачу. Думаю, а пошли бы вы. Не реагирую. Второе падает в почтовый ящик письмо. Тощее, но назойливое. Надо в течение полугода определиться и сообщить. Жена говорит — сходи, не убудет.

А уже отпустило немного после первого захода. Позвонил. Там всё вежливо, будто и не посылал я никого и никуда. Сможете в августе? Давайте! Меня это уже никак не волнует. Всё перегорело внутри. Спокойны-ы-ы-й! И задумчивый, как кенгуру! Сдам, не сдам! Нажму на английский, и перспективы больше. Чисто даже экономически. Не сто латов получать в месяц, а тыщи полторы фунтов. И тебе будут рады! А тут морды кривят... Так ожесточился. Как раз тут Дочь с Зятем прилетели в отпуск. Какая может быть учёба! То в ресторан, то на взморье, то в гости. Так, полистаю учебник, что-то вспомню между делом.

Притопал к десяти утра. Народ в коридоре, списки висят. Дело знакомое. Пригласили в аудиторию. Мне говорят — должно было прийти четверо пенсионеров, а явился вы один. Часок погуляйте и приходите. Мы вас всех и испытаем. На латышском сказали. Я понял всё. Хорошо. Пошёл в Старую Ригу. Гулял, гулял, а что там, её за пятнадцать минут сквозануть можно хоть вдоль, хоть поперёк. Возвращаюсь.

Выходит секретарь, важная до изжоги, говорит — опять нет тех троих. До часу дня погуляйте. Сколько уж гулять-то можно, думаю. Ладно, день потерян так и так, раз уж пришёл, досмотрю этот концерт до конца. И вот я гуляю, гуляю, гуляю, уже ноги гудят. Пришёл без двадцати час. Присел на стул в коридоре. Никого. Так устал, что полная апатия наступила. И паренёк рядом садится. Из нашей группы, я его заметил, когда мы все сидели в классе. Такой подвижный, любознательный. Спрашивает, интересуется. Но не введливый. Приятный такой парнишка. Года ему двадцать два, двадцать три, может быть. И говорит: что у вас? Я отвечаю — а хрен знает, что у меня. Собеседование, а что им в голову вступит, о чём спросят, кто ж это знает? Он обрадовался, говорит, у меня дядька сдавал на прошлой неделе, тоже пенсионер. Вот тут у меня книжечка есть, по которой он готовился. Давайте потренируемся. И мне польза. Давай, говорю, чего дурку валять, время есть. Он дипломат открывает, достает книжицу. И мы с ним так и так. Увлеклись. Вопрос — ответ, вопрос — ответ. Он смеётся, говорит, у вас произношение какое-то... йоркширское, а не латышское. Поправляет меня, но не зубоскалит. Настроение себе поднял. На часы не смотрим.

Выходит секретарь: «Лудзу-пожалуйте!» Опа! Я и не успел волнение почувствовать. Захожу.

Сидят три женщины, приветливые такие, нарядные. Приободрился. Присаживайтесь. Где живёте, чем в свободное время занимаетесь? Марки коллекционирую, филателист. Хорошо. Нетрудно вроде, вопросы задают чётко, не спеша. Дают подумать. Тут уж я совсем успокоился, повеселел. В какие магазины ходите? Да, интересно, а что покупаете? Я всё подряд, что в голову вступило, — хлеб, масло, яйца, молоко... рыбу покупаю. Какую рыбу? Треску. Всё на латышском. А кто готовит? Ну, уж тут я осмелел! Говорю: «Эс эсму галвэнайс паварс мусу гимене!» «Я главный повар в нашей семье», значит. А тут камеры всё снимают, записывают. Ну, они развеселились, женщины же! Смотрю, синие штампики ставят в ведомости. Все трое. И улыбаемся все друг другу. Хорошо! А меня паренёк-то этот предупредил: если синие штампики начнут клепать, значит, сдал! Смотрю и не верю! Председатель говорит — пожалуйста, гимн. Будете петь, напишете или расскажете? А у меня от радости отшибло память. Там всего-то восемь строчек. И главное, знал же, наизусть вызубил! Посидел три минуты, вспомнил, рассказал с выражением, не спеша. Вышел и опять не верю,



что сдал. Вот — две комиссии, и две большие разницы, как говорят в Одессе! Те гримзы, на лицо глянешь, жить неохота, и эти... очаровашки, прямо скажу! Зашёл к секретарю, переспросил. Да, говорит, сдали!

В коридоре паренёк этот ко мне: ну как? Вроде сдал, говорю. Дайте мне персональный код, он меня просит, я схожу к секретарю и узнаю. Выходит, поздравляет! Я, говорю, твой должник. Давай тут закружляйся, и приглашаю тебя в кафе. Он отказался, мол, ему в посольство надо, английское. Давай в другой раз. Телефон свой ему оставил — звони, как бы я без тебя управился! Тебя Боженька прислал ко мне! Он смеётся: и вам спасибо, вы человек нескучный. И пошёл сдавать.

Я тут же домой позвонил. Жена радуется, не верит. Не может быть! Да, представь себе, сдал! Скорей домой, стол накрыт, все ждут. Поздравляют. Тут Дочка давай звонить. Секретарь комиссии удивляется, мол, все звонят, спрашивают. Да сдал он, сдал. Ну, уж после этого отпустило, и выпил я виски! И расслабился, сразу стал язык забывать — и возрадовался полностью.

Тут уж Жена моя нашла курсы хорошие. Заплатили. Надо, значит, надо! Так решили. Про деньги пока не будем. Мы по-другому к Дочке в Дублин не попадём! Тогда была такая обстановка. И она сдала лучше всех! Горжусь!

— Она в нашу породу, настойчивая. Считай, тебе повезло. А мне учи, не учи, всё едино — решето дырявое! Голова уже не та!

— По полстопочки? Кто нам указ! Какая-то водка жидкая, нет в ней сорока градусов, что ли?

— Да ла-а-а-дно! Не может быть! Я не образован по-книжному, помудрел, повидал за жизнь, этого с избытком.

— Никогда не задумывался о твоём образовании. Мне с тобой интересно. И рассказчик ты интересный

— Дочка приехала, ванную мне прибирает, моет и говорит: пап, ты постой рядом, мне с тобой рядом хочется побыть. Вот просто так постой. Значит, любит. Это много значит.

— Да я уж устал от диеты. Бульон с морковкой да чай ромашковый с сухариком. Желудок измучил. Теперь вот мне там прижгли какие-то излишества, под общим наркозом навели порядок в кишках и окрестностях, где надо, хоть стал кушать понемногу.

— Будь здоров!

— И ты не хворай!

## Глава 6. Под часами

Дед спать захотел рано. Программу Первого балтийского канала до конца не досмотрел. Неинтересно стало. Да всё одну воду в большой ступе молотят. Как самим скулы не сводит от скуки?

Зашёл на кухню, молока выпил. Очень он любит молоко — кажется, и нет ничего вкуснее. Может три литра в день выпить. Скушал бутерброд — творог с сахаром на белый хлеб ложечкой намазал.

Творог сам сделал. Сычуг в молоко высыпал, порошок. Совсем немного. Сбродило оно. Кристалл вытащил ложечкой, промыл, в новое молочко запустил. А сброженное — в узелок, в марлечку. На кран повесил над раковиной, чтобы вода стекала.

Жизнь зыбкая, время, как марля, расплывается.

Подумал немного. Сала из морозилки достал: сам засолил, с чесночком. Несколько ломтиков нарезал, огурец солёный на тёрке построгол — жёсткие огурцы трудно жевать, дёсны больно мять. Зубов не хватает, а присолиться хочется.

Голодный бы вертелся долго, не выспался, поэтому обязательно перед сном что-то кушал.

Зять позвонил, прилетел накануне из Ирландии.

Два месяца быстро прошли.

Договорились встретиться утром у часов на вокзале. Коротко обменялись новостями, чтоб телефон долго не занимать — денег стоит.

Дед глянул из окна кухни на табло большого офиса напротив: 21-18, температура + 4. Цифры светятся ярко, изумрудно-зелёным, будто сквозь воду прозрачную водоросли искрятся. Удобно и приятно.

Машин мало. Напротив Дворец культуры с колоннами. Раз в месяц собираются ветераны, те, кто ещё может пойти. Доползти. По списку сверяют. И каждый раз всё меньше, меньше. Кому-то, может, в радость, а ему — грустно. Другой раз из-за этого идти неохота, но тогда сразу звонят, ревностно проверяют: а вдруг и он уже не придёт никогда.

Трамвай проехал. Новый, широкий, блестящий, будто круизный паром в старый канал занесло и едва ему хватает пространства для манёвра бортами. Раньше кольцо было — улица Гагарина, а теперь до самой Юглы едет шикарный трамвай, до Киш-озера, откуда в Великую войну освобождали Ригу на понтонах бравые сапёры.

Позевал Дед, ушёл спать в другую комнату. Закрыв по пути на две задвижки входную дверь. Крепкие, для себя делал.

Кальсоны, носки, майка, толстое одеяло. Любил тепло, радовался щедрой жаре и подолгу не мог согреться в холодное время. Намёрзся изрядно за восемь лет службы от Псковщины до Камчатки.

Натёр колени лимоном, снял боль в суставах. Потом лежал, ждал плавной зыби, чтобы на её спине в сон уплыть. Одеяло до подбородка, руки вдоль тулова. В квартире дышалось легко, было прохладно, дом сталинский. Старые батареи только себя грели. Хоть и большие, как плотина Днепрогэса по габаритам, да толку — чуть.

Ремонт делал давно. Потолки высокие в широких трещинах. Стенки толстые, окна небольшие, а под полом — сквозняки. Коврики на полу везде, ковры на стенах. Ходит по квартире в коротких валеночках. Удобные, разношенные. Куртка мягкая, тёплая — душегрейка. Их несколько штук на пересменку. Внучка всякий раз из Дублина передаёт с оказией. Красивые, зелёные, весёлые, как травка весенняя на лужайке, везде надписи — «Ireland». Да и Зять стал матереть, в прежний размер не влезает, всё ему несёт — рубахи, костюмы, свитера. Носить — не сносить. Шкаф не закрывается.

Никто не верит, что девятый десяток к краю добегают, — одно слово — Дед! Так все и зовут. Да, слава богу, на своих двоих, давление, как у юноши, — что верхнее, что нижнее. Кое-что стал подзабывать, но разум не растерял. Никому не обуза. Вот бы зубы ещё поправить, да денег много требуется. Копит, копит, а они всё куда-то разбегаются промеж пальцев, не ухватить.

Сходит к врачу, повздыхает, а цены не стоят на месте. Разве утонишься?

Глаза открыл. Полежал тихо. Обернулся, глянул на окно сзади. Вроде и осень не холодная, а затянулася, неуместная, никак зима не наступит, знобко, отопление никчёмное, хоть деньги дерут всё круче. Потом как вдарят морозы!

Как там давеча банкир один вешал? По телевизору... «Это не дорого, надо больше зарабатывать!» Фуепплёт умный! В Лондоне теперь. Нахитил денег; отсидивается! Там таких любят! С деньгами всех приветят и будут рады!

Вспомнил явственно — светлый сон. Уходит из родной деревни Шавры, дорога петляет затейливо, под уклон с бугра. День солнечный, ясный, утренняя прохлада ещё не отступила, тает свежо, припуталась в траве. Одежда лёгкая, невесомая, будто и нет её вовсе. Дышится в полную грудь. Оглянулся — никто вослед не машет, не провожает, а вроде выходили всей семьёй — две сестры, мама, отец. А деревни-то — нет. Пропала! Лишь трава высоченная, сильная, томится в ожидании покоса, склонилась, тяжёлая, росу не стряхнула после ночи. Косарей умает в два счёта. Удивился — только что ведь была деревня, да скрылась, съехала на другой откос. Жалость-то какая. Дуб одинокий, что на околице всегда рос. А он парень молодой, сильный, пружинисто шагает по дороге. Радостно. Вот уж и первые деревья, редколесье, а дальше бор густой, тёмным омутом.

Вдруг птица невидимая запела тонко, коленца сложные рассыпала без счёта. Ищет её глазами, вот тут должна быть, на этой ветке, а отыскать не может.

И только понимает, что следом она перелетает с дерева на дерево, и крыльями упруго — «фрть-фрть». Будто зовёт куда-то, за собой манит на птичьем наречии, отвлекает. Повернулся он. Долго стоял, высматривал занятую птаху. Вдруг понял, что дерево голое совсем, без единого листочка, одиноко на полянке, бесприютное. Поразился, лето ведь в разгаре. И вроде бы птаха перелетела, присела, всколыхнула ветку едва заметно. Ну, думает, сейчас её угляжу, на голых-то ветках — не скроется. А тут — Егор, брат двоюродный, егерь, ружье ловко на плечо уселось, машет рукой, зовёт к себе. Серьёзно, без улыбки. Удивился — писем же нет от него давно. Может, помер уже Егор? Ждёт, что ли, когда он в храме свечку поставит?

Дыхание затаил и проснулся с глубоким вздохом. И пела ли птица невидимая, или глухота звуки посторонние гасила, морской волной уши забивала, шуршала накатом?

Муть заоконная растончилась. «Золотой ус» на подоконнике в горшках — спасение от многих хворей. Настойку на водке — плечи, суставы растирать, чай заваривать. Очень помогает. Лекарства кусачие, много ли накопишь. Вспору вместо еды переходить на трёхразовое питание лекарствами. На большее уже и денег не хватит.

Красиво смотрятся плети ветвистые на фоне окна, будто пухом фиолетовым окутаны на свету. Рядом тумбочка, на ней красивая большая радиолка. Много разных моделей вэфовских в доме. Дарили к Дню Победы. Набралось за сорок четыре года трудового стажа — как в музее. Стоят по всем углам, на шкафах. Именные, гравировки затуманились от времени, слов хороших не разобрать.

Жаль выносить на помойку, исправные ведь, включая любую — лампочка-глазок мигнёт, обрадуется. Да и память тоже. Приятно лежать, вспоминать.

Тут же стопки старых пластинок в пакетах горчичного цвета, углы примяты под круглый диск. Лучший друг Ефрем Львович, начальник участка, перед выездом в Израиль принёс. А Деду-то куда ехать? Следом? Кому он там нужен! У Ефрема дети, внуки устроились, умненькие, выучились. А у Деда больше полувека здесь прошло. И деревни родной давно уж нет — куда ехать? Должно быть, он последний остался ото всей деревеньки.

Посидели, выпили тогда самую малость, повспоминали с Львовичем. Как завод работал, славился на весь мир. Молодые были, задорные, верили, надеялись... Говорили, говорили старички. Спели. Пока слёзы не подступили. Трудно расставались, поняли, что вряд ли свидятся ещё разок при этой жизни. Тоже осталась память — толстые пластинки, тяжёленькие. Романсов много. Иногда Дед ставит, слушает. Пронзительно по душе — царапает иголкой по бороздкам фибры.

Интересное дело — Израиль! И язык не растеряли за столько веков, и территорию вернули. Поучиться-то у умных людей местным скороспелым деятелям!

Сидит Дед, думает думки разные.

Потом гармошку приголубит на коленках, «Три танкиста» как жаманёт на все лады... подбирал же по памяти, без нот! Руки — помнят, хоть и палец указательный на правой руке посечён на гибочном станке, да и туговат стал на одно ухо. Себе же утеха. Бывает, и всплакнёт — кто осудит.

На стенке чёрная суконка висит, самодельная. На ней тринадцать медалей и орден Отечественной войны 2-й степени. Почему не первой? Разве плохо воевал? Да просто всё объясняется — не ранили ни разу, повезло невероятно, а не положено, кто-то решил так.

И самая главная для него награда — «Партизанская слава» первой степени, медаль. Колодка серенькая, неброская, ткань пообтрепалась по краям. Белый алюминий основы проглядывает. Хорошая медаль.

«Трудовая доблесть» тяжёлая, свинцовая на вид. Потемневшая. Остальные свежее выглядят.

Карта Латвийской ССР, политическая карта мира с разлапистым пятном алого цвета на одну шестую часть суши — СССР, карта Псковской области. На всю стенку — малая, главная Родина.

Запрещённая символика. Опять выходит — партизан, уже Дед, а так и остался пожизненно партизаном.

На столике журнальном возле разложенной диван-кровати — тоненькая книга «Псковщина партизанская». Книжка из любимых. Особенное место, где рассказано, как триста пятьдесят подвод с продовольствием собрали и в блокадный Ленинград доставили. По лесам, болотам, обходя фашистские гарнизоны. Он — в группе подрывников, головная разведка.

Наособицу книжечка — «Спутник партизана». Очень полезная книга, так считает Дед. Перечитывает — места знакомые. Нет-нет на карту глянет, сверит-ся. Так всё видится явственно, глазами пока ещё зоркой памяти.

Часы в деревянном футляре на стенке, слегка вперекос, по-другому не хотели идти, насилиу приспособил. Маятник качается, блики белые мелькают от диска, когда солнышко в окно проглянет. Стучат себе, напоминают, что жизнь продолжается. Он не слышит — оставил слух в механическом цеху, на штамповке, пресс-формы делал. Тонкая работа, но шумно вокруг.

Шесть часов утра. Надо вставать. Сегодня в гости с Зятем приглашены, ехать далеко. Сперва на дизель-поезде, потом должны их встретить, условился по телефону заранее. Суббота, транспорт по городу до вокзала ходит нечасто.

Встал, в туалет сходил. Зачерпнул несколько раз кружкой мыльной воды из ведра, рядом после мытья в ванной оставил, вылил в унитаз — всё экономия. Потом на кровать присел, раскатал деревянной скалкой мышцы на ногах. Крепкой, берёзовой, самодельной. Ступни узкие, ноги складные, циркулем — почти одна кость, как у цапли, ни жиринки, торчат свободно из широких трусов. Руки крепкие, сильные ещё, будто клещи, всю жизнь железо голубил. Повисел в дверном проёме, ноги поджал, пальцами рук за косяк, чтобы позвонки встали на место. Тщательно сделал физзарядку. Трусы болтаются семейным знаменем на ветру.

Почти час ушёл. Согрелся. Умылся, побрился старательно. Оделся в чистое — рубашка светлая, джемпер, брюки чёрные — торжественно. Дочь за этим следит пристально. Только вот далеко она сейчас, правнучку его нянчит в Дублине. Бабушкой работает.

Наодеколонился, пригладил жёсткой ладонью волосы — пушистые, ореолом вокруг лысины серебрятся.

Перед сном половинкой лимона лысину натирал, верит, что волос опять в рост пошёл.

Лицо костистое, чуть вытянутое, уши слегка великоваты, нос прямой, правильный. Ожидание на лице написано, словно прислушивается к чему-то. Глаз один серый, другой замутнён малость катарактой, блёклый. На операцию денег нет.

Кофе крепкий выпил, большую кружку, паштет печёночный, мягкий, на белый хлеб намазал, жевать почти не надо. Хорошо позавтракал — когда-то ещё за стол сядут.

Ел не спеша, с удовольствием.

Прибрал за собой тщательно, привычно клеёнку тряпицей вытер. Да и то — две тарелки, две чашки, две кружки. Оглядел кухню. Газ выключил, краны на счётчиках учёта воды перекрыл, чтоб соседей не залить. Была однажды история. Патрубок попался бракованный, сорвало. Вода вниз протекла.

Пакетик лёгкий с мусором подхватил, выкинуть по дороге.

Жена умерла десять лет уже как. Горевал, да и на две пенсии ещё как-то можно было выкручиваться. Управлялся теперь по хозяйству один, привык. Со-кратил запросы до минимума.

В большой комнате на комод — чёрно-белый портрет жены: тёмный костюм, брошка красивая на белой блузке, причёска короткая, укладка-плойка. В чёрной рамке. Дальше дочь, зять, внучка, правнучка — родня. Плотно заставлено цветными фотографиями. Все улыбаются солнечно на фоне красивых видов. Уехали, уж несколько лет живут за границей, работают. Видишь, там-то — пригодились. А он — дом стережёт. Должно быть своё место у каждого. Вот он и

не перебирается — привык. Отправь его в тот комфорт, так от тоски раньше времени усохнет.

Другой угол в большой комнате китайская роза занимает в квадратной кадке. Жаль выбрасывать — жена сажала. Любуется он раскидистым деревом.

На этом окне голубь пожил недолго. Всякий раз он об этом вспоминает. Дочь принесла, маленькая ещё была. Когда они единственной семьёй остались в бывшей коммуналке. Радовались. Хотелось чего-то необычного. А голубь вскоре умер, не пережил неволи. Дочь горевала, да и они с женой тоже, утешали дочь и плакали втроём.

Так больше никого и не заводили. Ни кошки, ни собаки. Очень близко к сердцу приняли смерть голубя.

У дочери своя квартира. Хороший район. Светлый, деревья высокие. Выросли за тридцать лет чёрные липы, прутьи стали деревьями.

Как было бы хорошо сесть на автобус и приехать, проведать, а так — раз в неделю ездит, цветы поливает, почту складывает на столике в прихожей, река. И ждёт, когда кто-то из близких проведает. Заглянет ненадолго или из-за границы навестят. Стоит квартира, временами пустая, — кому попало не сдась, наделают беды.

Оглядел себя перед зеркалом — солидно! Шарф импортный виден, австрийское пальто дорогое. Всё — под цвет, серое, чистая шерсть. Благородно. Как влитое на нём сидит, «по кості». Подарила подруга дочери, после смерти мужа осталось. Хороший был человек, по сапожной части грамотный. Перепадало от него и подмётки, и супинаторы, и кожи разных цветов. Да и так, по мелочи. Жаль, ушёл как-то быстро.

Ничего, Дед отработает. Туфли, зонты, замки по первому сигналу починит бесплатно. Хотя они и не попрекают, это для себя в первую голову важно, чтоб не сомневались, что благодарен за подарок.

Кепку зять ему купил зимнюю, подкладку стёганая, с клапанами на уши — хорошо. Готов Дед к зиме. Полностью обмундирован!

На два замка дверь закрыл, по лестнице вниз потопал неспешно.

Подъезд засанный, шприцы-соломинки на подоконнике наркоманы складывают. Соседи такие же, как он, старики. Едва ползают, а кто-то уже и не встаёт, давно не встречал. Потом расскажет кто при встрече, мол — укутали в деревянный пиджак. Погоруют.

Меняются люди, уходят. Уж много новых дверей, стальных, крепких, не чета его. Отгородились кодовыми замками от ужасов на лестнице.

Сел в автобус, прямо к вокзалу. Бесплатно.

Перед встречей успел забежать на Центральный рынок, отдал починенную накануне пару туфель продавщице мясного отдела. Набойки, профилактику сменил, царапины подкрасил чёрным. Приличный вид стал у обуви. Доволен очень — заработал три латика, «как свинья нарыла». Кстати и на билет хватит в оба конца. Это зятю бесплатно — у него вторая группа, чернобылец-ликвидатор.

Костей ему дала сердобольная продавщица в придачу на суп, целый пакет, будет с чем в гости заявиться. Хорошая женщина, всегда пошутит, как-то и взять не обидно — не подкачка. Он из-за этого её напарнице перестал обувь чинить — как барыня, сунет два мосла голых, что собаке объедки. Так и сказал ей: «Я бедный, но гордый пенсионер». И как отрезал! В другом отделе взял по дешёвке обрезки сала. Хозяйка натопит, будет на чём готовить. Это всё гостинцы такие. Не с пустыми же руками ехать к дорогим сердцу людям.

Вроде и не спешил, а всё равно задолго до встречи пришёл. Сходил в зал ожидания, узнал расписание, топтался под часами.

Люди снуют туда-сюда. Часы-башня высоченные, голову как ни задирай, всё равно время не определишь, сверкает стеклом, слепит. А когда он в Ригу приехал, неказистый вокзалишко был, похожий на дачный домик деревянный. Доска висела мемориальная — Ленин приезжал. Кто сейчас помнит?

Стоит Дед, размышляет. Вроде вот только-только с поезда сошёл, демобилизованный с Дальнего Востока, а уж боле полувека пронеслось.

## Глава 7. Богатый Айгар

В троллейбусе по дороге на вокзал произошла у Зятя интересная встреча с Айгаром.

Хоть жили через два дома, но познакомились необычно, через друзей.

Был большой переполох. Жена Айгара преподавала на курсах латышский язык. Группа тридцать человек. «Мёртвые души». Нагрянула проверка. Пришлось срочно искать эти тридцать человек, которые якобы у неё успешно обучались три месяца. Чтобы они подтвердили своё присутствие на занятиях, в какой-то бумаге расписались, что им это понравилось. Задним числом. Деликатное дело.

Так и познакомились. Пива потом попили.

Не виделись давно. Разговорились. Айгар не работал уже года два. Рассуждал так:

— Зачем пахать? Чтобы какой-нибудь предприниматель кинул и не дал зарплату! Сколько хочешь таких. — Гладил рукой круглую голову, стриженную под ноль, улыбался. Щетина двухдневная, в ней седина местами пробивается пылинкой люрекса. — А я купил себе металлоискатель, ищу клады. Всю свою коллекцию монет распродал и купил оборудование.

— Я много слышал об этом. И как успехи?

— Ты знаешь, прошлым летом в окрестностях Риги остатки клада накопал, серебряные монеты. Пять с лишним тысяч латов заработал. Сглупил сначала. Стал мыть их специальным раствором, хотел товарный вид придать. А серебро старое, рыхлое внутри. Они рассыпались. Теперь только в интернете вывешиваю информацию. Отрывают с руками. Иностранцы. У наших-то денег нет. «У латыша — хрен да душа, а больше нет ни шиша». Оборудование купил для подводных поисков, гидрокостюм. Расширяю дело! На пляже, в море, нашёл кулончик старинный, семь граммов золота. Три кольца обручальных. Тоже старинные, высокая проба.

— В озёрах, говорят, много отыскивают.

— Брось ты! Там бесполезно ковыряться. Всё давно проверено, прочищено до последней камышинки. А море приносит отовсюду. В архивах зиму проторчал, работал. Кое-что наметил. Сейчас потеплее станет, займусь.

— Так частные же владения? Как ты умудряешься?

— Да, б..., шведы скупили за лимонад шестьдесят процентов земли. Фермеры жалуются, хотят расширяться, а некуда. Латышей уже не осталось на земле. В офисах в основном. Первая двадцатка самых крупных землевладельцев — шведы. Особенно за последний год. Латыши где-то там, внизу списка. Да и то, может, номинально, посадили титульного Янку на телефонные звонки отвечать. В жопе, одним словом.

Айгар по-русски говорит хорошо, почти без акцента, а матерится ещё лучше, складно, со вкусом! И видно — нравится.

— А народ пугают российской угрозой.

— Брось ты! Депутаты отработывают банковскую зарплату, народ страшат. Банки же тоже шведские. Кому мы нужны, людишки мелкие? А банки и депутаты друг без друга не могут. В Латгалии кое-что россияне скупили, им там поближе, в Юрмале, в Риге недвижимость олигархи приобрели, но не очень много. Есть интерес у россиян именно к недвижимости, а шведы, те землю прибирают к рукам. За последний год активизировались. ЕС помощь оказывает — пятьсот евро за гектар. Скосить надо траву хотя бы раз за лето, и получать евро за гектары.

— Ну, землю в корзинке в Швецию не увезёшь. Придумают какой-нибудь закон и вернут опять землю в оборот. Первый раз, что ли, задним числом с ног на голову переворачивать.

— Пока банки у шведов, они купят всё и всех.

— Может, пора шведский сделать вторым языком? А то тут ураган нагнали с референдумом по русскому языку. В самой Швеции девяносто процентов народа говорит на английском и вообще нет государственного языка.

— Ты что! Нащипы с ума сойдут! Да и команды из Брюсселя пока не было. Может, в перспективе?

— А как же вы в частные владения попадаете? Со своей аппаратурой?

— По-тихому. Просачиваемся. Под видом случайных прохожих. Панамка, шорты на ляпочке, сачок на плече — юный натуралист! Стоящее дело.

— Специфический рынок.

— Крутимся, а что делать? Торчать за двести латов с девяти до восемнадцати? Это не для меня!

Распростились и разошлись каждый в свою сторону.

Надолго?

## Глава 8. На вокзале

Стоял Дед в стронке от суетливой толпы, на часы не смотрел, вспоминал своё. И время незаметно побежало.

А тут уж и Дядя подошёл с пакетом — коробку конфет прикупил. Большую, красивую — подарочную. Обнялись, расцеловались.

Зять предложил бутылку взять. Дед отговорил — там всё есть, только нас ждут!

У кассы поторговались недолго, однако Зять не позволил Деду билет купить, пять латов, бумажку зелёную, подтиснул в окошко, опередил. Засмеялся — довольный.

Сели в поезд, разговорились. Зять давно в ту сторону не ездил. Дед ему рассказывал, какая станция следующая будет, переживал вслух — хоть бы встретил их Дидзис, муж его старинной знакомой, которую называл ласково — Хозяйка. А то уж больно неудобно добираться, а такси дорогогато.

— А мы познакомились давно, — вспомнил Дед. — ВЭФ вовсю растаскивали ловкие людишки. Под видом металлолома оборудование вывозили с утра до вечера. Она тогда на проходной работала. Я к тому времени начал практиковаться в сапожном деле. Зарплата была не ахти какая. Ломал я голову, как инструмент вынести, хоть какой-нибудь. Подошёл к ней, честно всё рассказал. Потом выносил потихоньку в её смену. Никогда этим не занимался, а тут вот пришлось на старости лет в мелкое воровство подаваться. Да и она рисковала! А что делать? Как жить?

— Ты, Дед, бесхитростный, вот люди и не видят в тебе подвоха. Особенно женщины к тебе тяготеют.

Вагон старый, неуютный, сквозной и неласковый. Лавки до блеска отполированы многими задками, ножиками изрезаны глубокой клинописью.

— Если грамотно организовать — партизанскую войну невозможно остановить. Никогда! — сказал Дед.

— Тут рассказывали по аику: японцы заслали младшего лейтенанта в срок втором году к филиппинцам в тыл. С ним двое бойцов. Диверсии совершали. Те двое погибли, а этот воевал в тылу. Тридцать лет не могли взять. Разведшколу прошёл, отлично подготовлен был. Пока его командира не одели в форму майора и он не приказал сдаться своему бывшему подчинённому. По просьбе Токио его помиловали на Филиппинах, а должны были казнить. Он же грабил крестьян, убивал. Большой урон причинил. Хотя он и сам ожидал, что его расстреляют. Был готов к этому. Самурай!

— Японцы — фанатики! Тут же, на Кавказе, — другая вера, совсем не похожая на христианскую, трудно внедриться. А свои мести бандюков побаиваются.

— В любой вере фанатиков хватает. Вот генерал Ермолов в своё время. Войска окружают аул, спрашивают — вы «за» или «против»? Если «за», старейшине или главе тейпа — царским указом генеральское звание, полное довольствие в деньгах и содержании, а сыновей в военные училища в Москву, Петербург. Живите! А сыновья становятся заложниками власти. «Против» — пушки прямой наводкой, и нет аула!

— Счас выслеживают и под корень уничтожают конкретных террористов. Ладно — в лесу, в горах. А в городе? Смертельно опасно для других. Невинные могут пострадать. Запросто! Но вот это и есть — партизанская война.

— Всегда так было — страдают невинные, женщины, дети, старики, а войну начинают другие. Значит, вас поддерживали обычные люди. А их — что же? Никто из родственников про них не знал? Не догадывался? Хотя всех не перепроверишь поголовно, но не может же быть, чтобы не было следов.

— А как же! Террористов поддерживают! Не только свои, родичи. Бдительность хромает. Много обычных людей за деньги покупается. От бедности. Смертники — что же, бесплатно на гибель лезут? Нет, конечно! Деньги куда идут? В общий котел, на весь клан.

— Да и наверняка немалые деньги! Деньжищи! А вот ещё — только теракт ударил по людям, по нервам, и тут же вскорости: «личность смертника установлена!» Значит, где-то он уже был, в каком-то «списке» нехорошем? Что же не упродили? Всё понимаю — говорить — не ловить, но досада не оставляет! Люди ведь гибнут!

— Конечно! Что же, никто не видит, как они передвигаются, где живут, куда ночевать приходят. Квартиры снимают, машины. Одежда. Едят? Значит, в магазинах бывают. Или им приносят еду. Кто? По телефонам разговаривают. Снабжаются оружием, взрывчаткой. Ну не на облаке же они живут, по воздуху бесшумно перемещаются. Ими ведь руководят. И здесь, и с Востока. Каждая мелочь должна быть на учёте.

— Так ведь в прессе постоянно сообщают — перекрыт денежный канал в таком-то банке. Где-то там, на юге, силовики уничтожили бандформирование. Сколько предотвратили терактов. Всё время об этом пишут.

— Да — вот видишь! Теракты сплошные по всему миру. Настоящая война. Мировая. Третья мировая, первая террористическая, но тоже — мировая.

— Партизан победить очень трудно. Можно считать, что их и вовсе не победить. Я — знаю. А войну-то на Кавказе, смотри, — никак не закончат! То тут, то там вспыхнет. То затихает, то с новой силой. Расползлось по всему миру.

— Партизаны — вольница!

— Дураки были, молодые. Лезли под пули.

— И не страшно?

— Почему же? И сейчас другой раз озноб находит.

— Как же люто надо было ненавидеть врага?

— Тут уж серединки быть не может. Иначе не победишь. Фашисты быстро сообразили, что победить партизан невозможно. И не совались в леса без особой надобности.

— Ты Библию читал?

— И в руках не держал. Только издали видел. Не было к этому любопытства. Мама, бабушка были набожные. Мы, дети, все были крещёные. В партии состоял. Вот оно что.

— Это я помню. Разговоры про взносы. Коммунистом был.

— Как тебе сказать? Вот я — начальник участка. Вступил в партию, так было надо. Но особо на партийность не напирал.

— Командир производства, значит?

— А знаешь... Я бы отрядом сейчас покомандовал! Партизанским. Не очень большим. Человек на двести. Террористам скрытно противостоять. Управился бы. Трудно, да, не спорю. Но вот — знаю, что смогу. Уверен!

Они замолчали.

«Партизаны как хороший снайпер: никто не знает, где он прячется, но страх подсказывает, что в любой момент любой человек может оказаться под прицелом и будет убит. Это лишает храбрости, и тогда смерть — избавление от страха», — подумал Зять, глядя в окно.

— Терроризм, в отличие от продуктов, не имеет срока давности, — сказал Дед. — Такая теперь жизнь.

Гулко стучала пустая, неприятная электричка, вагон качался на стрелках.



Кренился состав на поворотах, спешил к вокзалу. Сидели, каждый думал по-своему про услышанное.

Вышли на перрон, толпа схлынула. Постояли. Шли не спеша: у Деда от долгого сидения суставы слегка «приржавели», шаркал по асфальту, надо было разойтись. Зятя взял под локоть.

— О! Вот тут, с краю, раньше стоял вагон-музей командующего Прибалтийским военным округом маршала Баграмяна Ивана Христофоровича. А куда он подевался, кому мешал? Хороший музей был. Ты, Дед, не знаешь, что Баграмян выговор от Сталина получил за то, что памятник Свободе в Риге не взорвали.

— Молодец, не побоялся! — засмеялся Дед.

Вокзал справа обогнули, вышли на привокзальную площадь. Машин мало, пассажиры уже разбрелись.

— Да, похоже, придётся нам своим ходом добираться, — загрустил Дед.

— Ничего, возьмём такси. Не Москва. Лихо скрутим! Не смотри на деньги.

— Латика три так точно. Не меньше слупят.

А тут — Дидзис, муж Хозяйки, навстречу. В свитере, куртке короткой нараспашку. Полноватый, невысокий, крепко на земле стоит, основательный. Лицо круглое, усы белые, в сметане седины, кепка слегка назад сдвинута, улыбчивый, глаза серые, цепкие.

— А я постеснялся в таком виде на перрон выйти, встретить у вагона.

Обнялись, сели и поехали на старенькой «Мазде» странной фиолетовой масти. Должно быть, выгорела от времени.

Дед повеселел.

— Может, заскочим, чекушку купим? — спросил у Дидзиса.

— Не говори глупостей! Дома всё есть! Только вас пока нет!

Город быстро проехали, свернули на грунтовку. В неглубоких влажных колеях поехали. Возле высоченного дуба остановились — вот он, домик, справа, небольшой, красного кирпича, словно лаком покрытый, на шести сотках.

Приехали!

Прошли по каменной дорожке. Грядки пустые, приподнялись над проходами сдобным пирогом, земля чёрная, пышная, ухоженная. Зелень ещё местами не скрутило увядание, кипятком мороза не ошпарило. Кусты кое-где, яблони. Около входа навес большой.

А тут уж и Хозяйка, Дидзиса жена, навстречу вышла. Стройная, в тёмных брюках, свитер тёмный под горло. Причёска высокая. Глаза карие, голос звонкий. Только лёгкая сутулость да руки возраст выдают.

Рады, смеются, целуются.

Обнялись, гостицы вручили.

## Глава 9. Заккрытие сезона

В дом поднялись. Потолок невысокий, занавески, зелени много на окнах.

— Должно быть, всё, что в молодости не отарили девушке, потом на подоконниках у старушек произрастает, — подумал Зятя.

Диван, два кресла, ковры, книжная полка. Закуток кухоньки небольшой, кровать с прояминной в середине. Печь в углу — тепло, уютно. Телевизор на тумбочке, концерт идёт.

— Вот вы сумки нагрузили! Должно быть, Дед тебя носильщиком подрядил, — засмеялась Хозяйка.

— Что ж, ребята, я не гордый, я согласен на медаль, но хочу сказать — вы отлично выглядите! — ответил Зятя.

— Да что там, — смутилась хозяйка, — болею. Спина, ноги.

— Э-э-э! Надо бросать это грязное дело, болячки! — сказал Зятя.

— А чем лечишь? — спросил Дед и сам же ответил: — «Золотым усом» лечи. Помогает очень ото всего.

— А я «Спинаксом» спасаюсь. Натираюсь. Прошлым летом как скрутило. Два месяца! На коленки встаю, голову на матрас. Вот так и спал. Тридцать два

укола в спину, десять лазерных процедур. Вроде и льготы, а всё равно денег много ушло. Думал, уж и не распрямлюсь вовсе, — посетовал Зять.

— Да вы садитесь к столу. Наконец-то приехали. Всё лето собирались, а вон собрались, когда нет ничего на грядках и посмотреть не на что. Да и мы тут на улах, переезжать собрались в городскую квартиру.

— Вот так вот... сразу! — подивился Зять накрытому столу.

— Вы же с дороги.

— Впечатляет. А Дидзис? Что-то он не раздевается?

— Он хозяин, сам найдёт.

— А Дед собрался за чекушкой в магазин ехать. Ну, ты представляешь! — Дидзис возмущённо глянул в сторону Деда.

— Нам главное — хозяев повидать! — улыбнулся Зять.

— Вы накладывайте. Холодец, салатики, фасоль домашняя, лососинка, грибочки. Не те, конечно, с грибами в этом году не очень. Мой-то бегал, бегал, кое-что насобирал, совсем немножко. По рюмочке? — предложила Хозяйка. — Какую водку? Белую?

— Я на Новый год в Дублине взялся холодец готовить, — вспомнил Зять. — Жена отговаривала: кому это? А свёкор дочери пришёл в гости, так ел, нахваливал. Я водку всё лето не пил. Всё виски как-то. Пиво изредка. Там магазины с половины первого до десяти вечера. Как выжил?

Засмеялся.

— В Москве аптеки есть специальные — лекарства из грибов. Например, боровики для сердца хорошо. Ну, будем здоровы! — предложил Дед.

Выпили.

— Фасоль чудесная! — покрутил головой Зять.

— Дидзис каждую фасолину перебрал. Сидел возле телевизора, одну к одной складывал. Белые, красивые. Да мы привыкли, всё лето, как жуки навозные, шмондаемся на грядках, пашем. Летом полно работы.

— Ты ешь, закусывай! — строго приказал Дидзис. — Потом будешь рассказывать.

— Вы вон какая стройная, на вас не сильно скажется, — подхватил Зять.

— На десять килограмм похудела за лето. Ну, ничего, не для этого собрались. Все под богом ходим. Как есть, так и есть. Селёдочку пробовали? Ну как?

— Замечательно!

— А мы там, в Ирландии, два раза в море выходили на катере, рыбачили. Совсем другой вкус у свежей скумбрии. И запа-а-а-х! На поводке четыре-шесть крючков, мушки искусственные. Закинешь, подёргаешь. Вынимаешь — висят на всех сразу, как будто кто специально нацепил. И не шевелятся. Крючок заглатывают сильно, извините, до попы, не отцепить. Снимешь с трудом, в ведро её, а она так мелко-мелко завибрирует. И всё — умерла. И сочная, ароматная, морем пахнет, свежестью. Это в Хофте, местечко такое недалеко от Дублина. А на юге, возле города Корка, знакомые камбалу здоровенную ловили.

— Ну да, насадки не надо. А я крупную камбалу только по телевизору видел, — вздохнул Дидзис.

— Так ты один в Ригу вернулся? — спросила Хозяйка.

— Да я и не знаю когда Жена-то назад прилетит. С внучкой. Дочь с мужем работают, могут няньку нанять, да нам самим жалко в чужие руки отдавать. Родную кровиночку. Я вон фотки привёз, посмотрим.

Дидзис вышел, с кем-то поговорил, вернулся вскоре:

— Сосед яблоч принёс на вино.

— Градус слабый у вина, — сказал Зять.

— Как сделаешь. Я-то вообще его не пью, а на работе просят — дай да дай. Вот и делаю, так, угостить. А Дед придумал — маленькую! — снова возмутился Дидзис.

— Я ему предлагал текилу взять — нет, нет! Зря послушал. Неловко вышло, — повiniлся Зять.

— Кого взять? — переспросил Дед.

— Водка мексиканская. Был у меня один знакомый. Черноплодную рябину клал в вино, цвет рубиновый получался. Красивое. Много работы, но вкусное делал вино, — поделился воспоминаниями Зять, — и такое благородное занятие. Что-то есть в этом от наших предков.

— Я в этом году запасаю чёрной аронией, чай хорошо от давления. А вот калины нет, к сожалению! — похвастался Дед.

— А ты чего на перроне не встретил? — спросила Хозяйка.

— Ну, куда я в такой одежде по перрону! Дед-то привык, что я его здесь встречаю, — оправдался Дидзис.

— А Дед идёт и говорит — жалко! Совсем, видать, Дидзиса припахали! Я ему говорю, не переживай, старинушка! Такси всегда найдётся. Доедем на какой-нибудь кастрюльке. Выходим на стоянку, ба! Такая встреча! Смотрю, и Дед повеселел сразу.

Засмеялся Зять.

— Да вы ешьте, с дороги-то голодные. Ничего не едите! — упрекнула Хозяйка.

— Сегодня нашей талии смерть наступит, — Зять сделал грустное лицо. — Похоже, сегодня у нас проводы талии.

— Вы покушайте, а я вам и в дорогу соберу.

— Ну, вот это-то вы зря!

— Давайте выпьем, закусим. Я тарелки поменяю для горячего.

Выпили.

— А мы с Дедом-то что? Я наварю здоровенную кастрюлю, настряпаю чего-нибудь. Половину ему везу. И вот едим, едим. Дней пять. Уже вот здесь, — провёл рукой по горлу. — Лёгкое что-нибудь отваришь, бульонец какой, морковку туда нарубишь. Так вот похлебашь да и спать. Люблю готовить, да некого особенно радовать.

— В том-то и дело! — согласился Дидзис.

— В Дублине делал курицу по-одесски. Возился пять часов. Как раз дни рождения сплошные, на одну неделю пришлось — и у Жены, и у зятя моего, и у свёкра дочери.

— Вчера был день рождения у моей сестры, — вспомнил Дидзис.

— Ну вот. Я вечером курицу на стол, а она по внешнему виду — курица и курица. Зятьёк как рубанул ножом, а костей-то в ней уже нет, секрет кулинарии. Посмеялись. Вкусно получилось.

— Молодец! — похвалил Дидзис.

— Наливайте! — приказала Хозяйка. — Закрытие сезона. Смотрите, что там, закусывайте. Сок яблочный, вчера надавили. Свежий. Остальное на вино пошло.

— Так всё вкусно, не остановиться! — развёл руками Зять.

— Мы так скромно, всё почти вывезли из квартиры. А там всё украли. И приборы, и всё серебро, покрывало меховое. Простыни, пододеяльники, полотенца новые банные. Пальмы на них нарисованы шикарные. Подсвечники бронзовые. Память, антикварные. Старый «Шарп» — видео. Уже и кассет таких нет, не делают. Тоже унесли. И крайних не найти. Развелось ворья.

— Приборы фигня! — перебил Дидзис Хозяйку. — Бар весь вычистили. Говорил ей — надо двери укрепить, замки поменять! Ме-ме-ме! Зря послушался.

— У меня машину угнали. Легковую, — тихо сказал Зять. — Пошёл я к отцу Сергию. Расстроенный, конечно. Он мне свою историю рассказал. Крест у него украли. Большой, серебряный. Помолился, успокоился. Какое-то время проходит, звонят из собора Александра Невского: мол, тут прихожанин один очень уж вас жаждет увидеть. Поехал батюшка в собор. А там сосед, пьяница горький, упал в ноги, заплакал! Говорит, прости, заberi от меня этот крест. Житья не стало, дышать нечем! Сунул в руки и бегом вон. Крест-то непростой, памятный, от владыки православного на рукоположение дарённый. Так-то вот, легко воровать. Бог шельму метит!

— А там двери старые. Надо было поменять. Теперь уж железные поставили. Дидзис так тщательно бар собирал. Надо же было людей встретить по-людски на новоселье. Дарили ему и виски, и коньяки, водки хорошие. Много чего было. Всё улетело. Я же не думала. У меня за жизнь четыре квартиры было, и ни разу никто не обворовывал. Стояла квартира в Риге пустая, а я в Юрмале работала.

— Вообще воровства не было! Время другое. Не все хотят работать, — возмущился Дидзис. — Помню, в школе говорили — у нас будет через тридцать лет, как в Америке сейчас. И наркотики ещё. И преступность. Вот и дождались!

— В моё детство на пустырях конопля росла, в человеческий рост. Мы с пацанами там прятались, в войнушку играли. И ничего! — пожал плечами Зять.

— Слабо завтракаете, — нахмурился Дидзис.

— Едите... кое-как, — упрекнула Хозяйка.

— Как — завтрак? Ещё и обед будет? Ничего себе — кое-как! Счас ремень лопнет! — вскрикнул Зять. — Дай-то бог из-за стола встать и пузом не опрокинуть. Завтрак! Вы меня пугаете!

— Это и завтрак, и обед, — сказала Хозяйка, — иначе всё не успеем съесть. Мало времени.

— Ты сама-то ешь! — напомнил Дидзис Хозяйке. — Ничего не кушаешь! Будешь потом салаты мицкать!

— Отдохните, вам на работу не надо. Хоть память будет, — улыбнулась Хозяйка. — А то ведь сколько раз приглашали. Мы-то себя не берегли, будто кро-ты — по холодной земле, по холодной воде, по холодной зиме.

— Серьёзная закалка, — Зять покачал головой.

— Я же говорю — у нас есть квартира, зачем нам столько работы? — удивился Дидзис.

— Трудно остановиться? — поинтересовался Зять.

— Нет, наверно, не трудно. Просто не успеваем сделать то, что делали лет двадцать тому назад. Мы уже не успеваем. И ему тяжело и некогда. Такую обузу взяли, столько грядок, столько покопать, столько... — пожаловалась на себя Хозяйка.

— Это немного, — возразил Дидзис.

— А возраст? — Хозяйка глянула в его сторону. — Надо обо всем подумать. Это, это, — показала рукой в сторону участка, — холодная вода, почва, осень. И зимой надо топить печку.

— Я ей предлагал — угомонись! — Дидзис махнул рукой.

— Вы кушайте, кушайте, — напомнила Хозяйка. — Теперь представление будете иметь, где мы окопались. Вот летом бы. У нас два стола. Один здесь, другой за хатой. Шашлыки там, рыбу коптить. А теперь уже осень. Не забывайте нас, мужчины, когда будет сезон.

Дидзис вышел.

— Тут летом, как в ботаническом саду, — Дед посмотрел в окно. — А на речку мы ходили гулять. А-а-а. Мы же купались, когда я первый раз приехал.

— Я поплавала, — сказала Хозяйка, — здоровье было.

— Я говорю — вылазы! Замёрзнешь! — засмеялся Дед.

— Так сколько уже лет прошло!

— Я ещё на ВЭФе работала.

— Это лет тридцать получается? — прикинул Зять.

— Мы давно знакомы. Она мне очень помогла, — поблагодарил Дед Хозяйку. — Теперь, как говорится, я голодную копейку нет-нет, а достану.

— Здоровье — вот что наиглавнейшее! — подытожила Хозяйка.

— Болезней много, всех не одолеешь. Надо себя поддерживать. Народными средствами. А врачи? Ходил, ходил, что толку-то? Только деньги на сторону фуфырить. — Дед в сердцах рукой махнул.

— Вы такие красивые! Давайте я вас сфотографирую! Всех вместе! — предложил Зять.

— Надо бы причесаться, растрепалась совсем.

— Нормально! Садитесь рядышком! А где Дидзис?

— Чеснок сажает под зиму. Одну грядку. Как без чеснока? Надо фон выбрать для фото.

— Да вот, присядьте рядышком на диван. Вот так, замечательно.

Сделал несколько фотографий.

— А вас я хочу особенно поблагодарить, — Зять спрятал фотоаппарат в футляр, возвратился в кресло.

— За что?

— Деду помогаете, поддерживаете. Мы-то далеко, а он тут — старинушка наш! Самые тёплые слова от всех нас. Благодарности огромные.

— Да что уж там... разве вот — морально. У меня же ни папки, ни мамки, никого. Одна здесь вообще. Папка был военный, в большом звании. Полковник. Война началась, а я ещё ребёнок грудной. Маму эвакуировали в тыл. Санитарный поезд. Эшелон разбомбили. Мамка убита. Братик старший был, четыре годика. Тоже убит. Лежу я, ору в пелёнках. Так рассказывали. Подобрали меня сельские. Простые люди. Детей у них не было. Отец с фронта приехал, стал меня разыскивать, каким-то чудом отыскал. А вскоре и сам погиб. Так они меня и растили. Спасибо им. Вон уже семьдесят пятый год мне пошёл. Нет уже ни одного, ни второго — под землёй. Потом тётя отыскала, моя тётя, мамкина сестра. Я уже замужем была, своя семья. Уже ребёночек у меня был. Потом нищета, голод, всё прошли. Своими руками, честно всего добивались. Не хочу сказать, что сейчас плохо. Только вот дети уехали. Дети! На другом конце земли.

Тихо заплакала.

— Главное — как далеко унесло-то их, — закручинился Дед.

— Дочь уехала в Америку. Звонит всё время, приветы вам передаёт. Из города Лос-Анджелеса. Престижный такой город. Работала здесь старшей операционной сестрой. В военном госпитале. Большой опыт, очень её ценили. Да вот, пришлось уехать. Госпиталь-то военный. Кому она тут... Как будто военных из других органов делают, на оборонных заводах.

— Принуждение к эмиграции, я бы так это назвал! И статью соответствующую ввёл... — возмутился Зять. — Или вот у меня сосед, виртуоз-баянист. Играл в ансамбле Прибалтийского пограничного округа. Здесь родился, всю жизнь прожил. Играл себе и играл. А видишь — не в той организации играл на баяне! Теперь в Техасе. Хорошо устроился. Преподает детям живую русскую музыку. Им она нужна, интересна. Американцам.

— Внучке уже к тридцати годам. Мы же все ранние. Семнадцать, семнадцать, ещё раз — семнадцать. Я замуж выходила в семнадцать лет. Жених старше — двадцать шесть. Очень хотел жениться на мне. Говорит, давай мы бумагу подделаем. Стала я на год старше... Наливай! — засмеялась Хозяйка. — Вы вот ещё этот салатик не пробовали, а лосось малосольный, а сало фирменное. Не смотрите, что с чесночком.

— А вдруг целоваться? — засмеялся Зять.

— С кем?

— Мы однолюбы с Дедом, — ответил Зять.

— Ну, в жизни разное... случается.

— Я вот летел из Дублина. Слева и справа женщины, я посередине. Одна моих примерно лет. Акцент лёгкий, латышка. Спокойная такая. Чего в самолёте делать? Рассказывает. Дочь закончила в Риге училище, повар квалифицированный. Не нашлось ей работы. Поехала в Ирландию. Встретила парня, местного. Он из большой семьи, восемь братьев и сестёр. Дружные. Родилась уже вторая внучка у этой моей соседки. Вот она летала на смотрины-крестины. Бабушка, как же не слетать. А дочь с зятем уже решили, что минимум трое будет детишек. Сёстры, братья зятя помогли дом взять в ипотеку, достроили, мебель приобрели. Там же только стены были, а внутри сами доделывали. Вот они всей семьёй навалились, молодожёны переехали. Так всё ладно, хоть плачь, говорит мне эта соседка.

— Дружно, как пчёлы! — согласился Дед.

— А теперь младший брат этой... новой уже ирландки, скажем так. Поехал в гости к сестре, посмотрел. Подумал. Чего ему в Латвии ловить? И родня уже в

Ирландии, помогают. А муж у этой женщины в Народном фронте был, чуть не в первых записался, билет получил. Так выкинул его в печку, к едрене фене. Чего, говорит, я бился? За что? Чтобы детей меня лишили?

— Сжёг? — удивился Дед.

— Я его видел, он встречал жену с самолёта. Приличный мужчина, пожилой. Седой. Глаза грустные.

— А в сердце заноза! — покачала головой Хозяйка.

— Эта вот мне рассказала свою историю, отвернулась к иллюминатору, задремала. Теперь вторая стала рассказывать. Тоже латышка. Три часа лететь, чего только не наслушаешься. Сын с отличием окончил консерваторию в Риге. Поехал на гастроли в Аргентину. Там познакомился с девушкой. Тоже музыкантша. Поженились. В одном оркестре играют. Они на гастроли летели далеко, в Японию, кажется, через Дублин. Вот она летала с ними с внуком повидаться. На Аргентину денег нет, пенсии с мужем — только прожить да за квартиру заплатить. Это же не трамвай — сел-доехал. Говорит, муж простить не может, что Союз развалили.

— Так-то вот оно по живому резать! — Дед рукой махнул с досады. — Никто нам не поможет. Никто. Только вот что сами, друг дружке. Хорошие люди хорошим людям. И национальность тут дело не главное. Весь компот в воспитании, так я считаю.

— Как сейчас люди... звереют от этого всего! — покачала головой Хозяйка. — И то, что мы думаем — радость, на самом деле ещё большой вопрос. Ладно! Сегодня попьём, а завтра видно будет!

— Такой стол накрыли! — воскликнул Зять. — Салат мясной, селёdochка с лучком, грибочки, лососинка, помидоры, перчик, лучок, сало домашнее, холодец, сервелат, фасоль нежный... нежная, мясо, картошечка-фри золотистая, отбивная размером с Ирландию. Торт, кофе, чай!

— Ресторан «У дуба»! — засмеялась довольная Хозяйка. — Много работы.

— И дуб сказочный, и скатерть-самобранка, — согласился Зять.

— Мне соседи говорят, надоел дуб. Листья убирать, жёлуди и прочее это всё. А я говорю — радуйся, дуб силу даёт!

— У вас интернета нет? — поинтересовался Зять.

— Чего нет, того нет!

— А я нашёл в интернете. Там всё можно найти. В Европе у дуба тысячи всяких врагов! И стоит веками. Разве не пример для подражания!

— В Латвии дубы любят! — сказал Дед. — Это хорошо.

— Говорим, говорим, а вы-то голодные, наверное, — погрустнела Хозяйка. — Чего-нибудь ещё... кусочек.

— Куда уж ещё! Как там у Гоголя... «Да что вы! Не только кусочек! Мушки проглотить не могу!» — засмеялся Зять. — Стану толстым, ленивым, перестану нравиться.

— Вон Дидзис толстый, а мне нравится! — возразила Хозяйка.

— За добрым мужем и жена добрая! — согласился Зять.

— На фоне добротного мужа сразу видно стройность жены. Вон вы какая стройная! За это даже можно выпить!

— От ты — молодец! — засмеялась Хозяйка.

— Я очень горжусь, что у меня есть такие друзья! — похвалился Дед. — Я им радуюсь.

— Дидзис звонит, волнуется: как там Дед? А вдруг заболел? Мимо не проедет, завезёт того-сего с огорода.

— Я вот сало сделал сам — не то! Кажется чего проще — соль да сало! — сказал Дед.

— Надо уметь! Было бы для кого приготовить. Вот Дидзиса мамка заедет, дети от первого брака, сестра. Смотрю — кушают, хвалят, и я радуюсь. Моих-то родственников уже нет. Раз в год, а то и в три приедет тётка из Белоруссии.

Вошёл Дидзис:

— Где эта верёвка? Что я грядки мерю? Железные штыри?



— Под навесом, под крышей. Где копилка, наверху.

— Ключ дай от сарая.

— Может, помочь? — спросил Зять. — Нам и размяться не помешает, засились у стола.

— Ничего не надо помогать. Вы меня извините, у меня на сегодня задача — посадить чеснок! Посевная. Время такое.

Дидзис и Хозяйка вышли.

— Хозяйка прихрамывает, — заметил Дед, — видать, сильно приболела. Я пить больше не буду. Хватит!

— Я тоже, — согласился Зять, — час дня, а мы уже тёпленькие. Совсем. Глянь, какая библиотека у них хорошая. Много книг. И на белорусском. А вот и на украинском — повести и рассказы. На русском, конечно, больше всего. Целые тома, собрания сочинений.

— И на латышском полно, — подхватил Дед.

— Ну, это понятно! Домик небольшой, уютный. Цветы на окнах, чисто. Стенки из красного кирпича. Мы прямо с порога да за стол, оглядеться не дали!

— Они на Новый год новоселье будут делать на той квартире.

— Давай мы им пылесос хороший подарим. Хозяйка же говорила, что у них нет пылесоса.

Вошла Хозяйка, прибавила громкость телевизора.

— Пылесоса нет. Всё так вот, ручками, щёткой.

— Замечательно! Подарок за нами! — обрадовался Зять.

— Поёт Вячеслав Добрынин! — Громкие аплодисменты из телевизора.

Песня пошла.

Не забывайте писать, не забывайте звонить,

Не забывайте друзьям всегда о главном говорить.

— Вот она — истина. А я была в него влюблена в своё время. Песни у него просто — льются. Петь хочется! — улыбнулась Хозяйка.

Вошёл Дидзис.

— Ну, наконец-то! — обрадовался Зять. — Срочно кормить работника. У меня сосед, Виестур, этажом выше живёт. Едем как-то в лифте, разговор зашёл. Так он рассказывал, что его дед батрачил. При Ульманисе. Как положено, заключал договор, а там прописано всё, даже чем кормить должны. И — лососину давать не чаще двух раз в неделю, чтобы не расслаблялся.

— Я потом поем. Надо собираться. Мне к двум на работу.

— Он у меня шустрый! — похвалила Хозяйка Дидзиса.

— Уютно у вас, тепло, по-домашнему. — Зять оглядел комнату.

— Сейчас уже и не стремлюсь ни к чему. Доченька приехала из Америки, забрала самое лучшее. Что-то там серебряное, позолоченное. Тоже не шибко уж драгоценное. Ложечки, стаканчики — больше память, пожалуй, чем золото. А умру, кому останется? Может, и не успеет из Америки прилететь. К мамке... А меня уж вынесут ноженьками холодными вперед и в ямке закопают.

— А всё-таки хорошо, что дочь. Мама с дочерью — это же особая статья. Туда соваться, мешать не надо. Ни Деду, ни прадеду. Я компьютер включил. Георг Отс поёт. Внучка смотрит, смотрит. О, говорит, мой Деда! Она ещё совсем разбирается в понятиях — дед, прадед, а видела только на фото. А поёт как! Танцует! — засмеялся Зять.

— А три года ещё только через полгода! Правнучка моя! — с гордостью сказал Дед.

— Мы с ней в парке гуляем в Дублине. Чего-то она загапризничала. Я ей объяснил, что и как. Спокойно так. Я голос никогда не повышаю и в угол не ставлю. Такие принципы. Возвращаясь, она спрашивает: как ты думаешь, мама расстроится, когда узнает, как я себя вела? — Думаю, да. — Надо что-то сделать хорошее, отвечает.

— К соседям дети внучку из Германии на лето отправили. Два месяца тут бегала, радовала нас. Я с ней общалась на равных! Такая разумница. Как старушка — мудрая! — восхитилась Хозяйка.

— Раньше все вместе жили, — сказал Дед, — и старики, и молодые. Папы-мамы, дедушки-бабушки. Одной семьёй. Вот и обменивались, кто чем богат. Подпитывались друг от дружки.

— Меня дочь ругает, говорит — балуешь, не наказываешь, в угол не ставишь. Я говорю — это же девочка! У неё же потом семья будет... Пусть там злости не будет, пусть в любви растёт, в ласке. Всё с дома начинается, с детства. Потом оно же всё к вам и обернётся. Любви много разве бывает? Я тут прочитал одного японского педагога. Он говорит — не стесняйтесь почаще брать на руки, разговаривайте с первого дня как с ровней.

— Как воспитаешь, так оно и пойдёт дальше, к людям! — согласился Дед.

— В прошлом году двадцать два ребёнка... в Латвии, отказались мамочки после рождения. Как бы ни было там хорошо, а — приют! Это же здорово, когда внуков приводят. У меня соседка с невесткой чего-то не поделили. Внук родился, его два года не показывали дедушке с бабушкой. Это же кошмар! Еле замирились, — возмутился Зять.

— Вот мне девяносто будет, а только могу одно сказать — какая жизнь короткая! — заключил Дед.

— А я с внучкой две недели один справлялся. Гуляем в парке. Я и она. Абсолютно ладим! Всё интересно — это что? А это? Листья, пруд, утки-лебеди. Я же сам всё это увидел так вот, выпукло. Вдруг. Заново. Ей спасибо, человечиху. Это дерево вот такое, а это — вот такое, а это — жук-плавунец гребёт изо всех сил!

— А сколько надо терпения! — Хозяйка покачала головой. — Всё же надо объяснить, донести до ума-разума.

— Я вот недавно узнал совсем! Поразился прямо! Главный принцип педагогики сформулировал чех Ян Амос Коменский: «Пусть всё развивается естественно, ни в чём да не будет насилия!» Представляете? Семнадцатый век!

— Надо учить, пока поперёк лавки, а не вдоль, — Дед махнул рукой.

— Да и вдоль, и поперёк! Всегда учить, но как? Общаться и рассказывать. Говорить больше. Чтобы не из-под палки. Не командовать-приказывать! Я вот американские фильмы терпеть не могу. В основном. Есть, конечно, хорошие, но немного. И тут ловлю себя на мысли, что я через слово говорю внучке — «не»! Не трогай, не бери, не ходи... Даже самому стало противно. И тут вспомнил, как американцы в фильмах своих говорят: «Это плохая идея». Вот это мне понравилось. Взял на вооружение. И вскоре она мне говорит: «Дедушка, это плохая идея!» — засмеялся Зять.

— Что-то мы заговорились, — нахмурился Дед.

— Бутылочка маленькая оказалась, — улыбнулся Зять, — грамм триста?

— Семьсот! Но это не страшно, — уточнила Хозяйка.

— Главное, мы приехали, и все нам рады от души! А то она тут одна да одна. Работает, крутится, — пожалел Дед Хозяйку.

— Настоящий праздник, спасибо вам! Я тут как в джунглях. Сапоги резиновые натянула, плащ-палатку и вперёд. С песней! Забыла, когда причёсывалась. Другой раз просто ужасно. Бьёмся за кусок, за выживание, бывает, что и неделю людей живём не видим. Все разъедутся. А бросать нельзя. Тут одни соседи уехали на десять дней, вернулись, а ни дома, ни огорода. Растащили, с землёй сровняли, испохабили голодные бомжи.

— А я в Дублин улечу, скучаю без Дела, без Риги. Здесь побуду неделю, другую, не могу без своих. Они мне срочно билет покупают, по интернету скинут. И я — полетел! Летающий дедушка. Кашу наловчился варить мастерски. Не вру, не хвастаюсь. Дети на работу, а мы прибрались на кухне, посудомойку зарядили. Квартира двухэтажная, сто двадцать квадратных метров. Семьдесят евро платят за газ, электричество. Вода холодная к дому бесплатно, бойлер включил, когда надо. Музыка слушаем, классику. Идём гулять. Там до моря полчас. В прятки играем по дороге. Смеемся, бегаем. Обедаем, читаем перед сном. Книжку сама



выбирает. Потом дневник веду, записываю. С первого дня, как только эсэмэску получил — «У нас будет ребёнок». На три годика подарю. Архив семейный. Дочь вот как была рада, когда на свадьбе подарил подборку газет, собрал в день её рождения. Так вот, графоманскую потихоньку. Есть что вспомнить.

— У него школа жизни большая, один Чернобыль чего стоит, — похвалил Дед Зятя.

Опять вошёл Дидзис, извинился, что не может посидеть как следует с гостями.

— На новоселье посидим все вместе, конкретно, — откроем бутылочку, посидим не спеша. Кота запустим первым. Собаку возьмём у соседей напрокат, — сказала Хозяйка.

— Где кошка ляжет, кровать ставить нельзя, а вот там, где собака, — можно. Они разную энергию чувствуют, зверюги эти домашние. Уютно у вас, приготовлено всё с любовью. Неправильно я жил все эти годы, потому что мимо вас ездил, — повинился Зять.

— Прекрасно сидеть в кругу друзей! Зять вот приехал, радость, — улыбался Дед.

— И Хозяйка нарядная, с причёской! — добавил Зять.

— Это для вас. Это сегодня. Для кого тут причёсываться-нарядаться, для кого? Для этих пьяниц на углу? Лентяи! Только дай-дай-дай. Одни попрошайки кругом! Если только пронюхают, что нет никого дома, разберут по кирпичику. У нас уже было, но их, слава богу, выгнали. Вот мы утром выезжаем, а он наблюдает. И только мы убыли — он всё сломал, выбрал, что ему надо. Еду выгреб. Два холодильника очистил. Не работали ни он, ни жена. Во-о-он — напротив. Выйдет покурить, всё у нас видно, когда мы, куда. Да бог с ним! Сегодня мы слегка расслабились, посидели. Нам надо ещё собрать вам в дорогу. Капустку, морковку, кабачок, патиссоны. Огурцы. Жарите огурцы? А варенье мужское из зелёных помидоров? Все на навозе выросло, чистое, без нитратов, без химии.

— Да ладно, что вы! Спасибо! Сколько нам надо-то! — запротестовал Зять.

— Здорово, что Дед косточки привёз бульонные. У нас же фасоль своя, горох, щавель в банках закатан. Рассольник, соляночку. А пенсия — на хлебушек. Вермишель, макароны, подсластить еду. А супчик — это да! Навар нужен. Только на мясном бульоне.

— Знакомое дело. Я с супами тоже натренировался. Внучке нравится. Довольна. Дочь хорошо готовит. Это моя заслуга. Быстро, а главное — вкусно. Прибежит с работы, я лезу помочь, она говорит — присядь, отдохни. Весь день нянчил внучку. Так это у неё ловко! Полчаса, и всё готово. Прошу за стол! Свечи зажжёт, все за стол садимся. И внучка с нами. В выходной в какой-нибудь ресторан... бразильский, итальянский. Берегут нас. Молодцы!

— Дай бог! — пожелала Хозяйка.

— И так вот, в будний день — в гости, в кино, выехать куда-то вечером — можно, мы поедем? Конечно! Вернутся, обязательно спасибо скажут. Никогда не поленятся лишний раз поблагодарить. Да нам и самим радость с человечком побыть, с внученькой. Я три года в Москву мотался, до того озверел, засобачился от города этого сумасшедшего, людей... Вавилон. А этот человечек меня за две недели так развернул в другую сторону. К добру, к нежности! О! Голова дырявая! Я же фотографии привёз, цветные. Где мы все в Дублине. О какие красивые! Дочь выше мамы, зять под два метра! А это мы в Италии, в отпуск нас с собой ребята взяли. Старинный город, центр этрусской культуры. Растворились этруски среди итальянцев. Какая была высокоразвитая культура. Это третий век до нашей эры! А сколько тихо вымерло языков, народов? И мы тут — гуляем среди этих великолепных памятников. А здесь ей два годика, день рождения. Это мы со свекровью дочери делаем кугелис с уткой, литовское блюдо с картошкой тёртой, в печи запекается. Вкуснятин-а-а-а! А это опять я, в шляпе из итальянской соломки. Загорелые, не отличить от итальянцев. Набираемся здоровья, все вместе, на целый год.

— Дочка красивая! — похвалила Хозяйка.

— Я старался. Честно могу смотреть людям в глаза! — засмеялся Зять.

— Не знаю. Скажу — наверно, обидишься, — спросила Хозяйка.

— Говорите, как есть! Чего уж тут темнить!

— Наши дети эгоисты. Как они не понимают, что у родителей своя жизнь.

— Они понимают, но с точки зрения своего детского эгоизма.

— Так! Посуда любит чистоту! Сейчас будем пить чай! А мы обязательно встретимся ещё! В Новом году. Снегом всё завалит. Приедем, подтопим печку, чтобы мебель не рассохлась. Хотя какая она — мебель? Что тут ещё делать до весны? Ничего нового. Только мы знаем, что год новый, а всё остальное — старое, по-старому. Старьё!

— Нога-то у тебя как? У тебя левая, у меня правая. Ты про старость должна молчать и забыть. Девочка! Ты для меня лишь девочка! Я о себе уж молчу. Только чтобы с палочкой не ходить! — закрутил Дед.

— Старость сама о себе напомним, — сказала Хозяйка, — на каждом шаге.

— Вот мы в советском-то государстве победнее жили, скромнее, но веселее. В чём дело? Не могу разобраться! У людей больше денег стало? — спросил Дед.

— Конечно, ты тогда молодой был! Очень нас разбожила эта погоня за деньгами... битва за кусок хлеба, выживание. Разогнала людей друг от друга, отчуждение. — Зять отвернулся в сторону.

— В Латвии? — поинтересовался Дед.

— И в Латвии, и во всём мире! — Зять рукой махнул. — Кажется, сядь на самолёт и лети... в пятьдесят восемь стран без визы! А одиночество всё сильнее. Настолько все замкнулись, закоротились сами на себя. Раньше была необходимость общаться, а сейчас включил компьютер, сайт нашёл, пиши-болтай по скайпу. Насколько ты избавляешь от одиночества других, настолько и сам от него избавляешься.

— Так! Через полчаса соседка с мужем едут в Ригу. Варю кофе! Готовимся к отъезду! Спасибо вам, молодцы, ребята, устроили праздник, — похвалила Хозяйка.

Зять встал, поцеловал ей руку:

— Это вам — спасибо!

Они троекратно расцеловались.

— До встречи в новом году! А уж потом как всё зацветёт-ё-ё-т! Радость глазу и душе! Оживёт всё вокруг, задвигается, сок погонит до самой тоненькой веточки, козявки поползут, жуки, птицы вернутся в гнёзда. Всё видимое и невидимое. Если доживём! — закрутила Хозяйка. Помолчала коротко. — Чай, кофе?

— Никаких «если»! Мы себе сказали, значит, так и будем ориентироваться! — Зять нарезал торт, разложил в блюда Деду, Хозяйке, себе. Налил чай. Попробовал. — Крепкий чаёк, градусов десять будет! Чай — кофеём, кофей — чаем, а главная энергия жизни — любовь! У-у-у-у, чай изумительный!

— Это моя доченька прислала!

— Простая формула — я тебя люблю! Что ещё прибавить? Я тебя люблю! И всё прекрасно. Вот так. Любить надо, вот оно и вернётся. Будешь любить, и сердце будет здоровое. И сам будешь здоровей. Больше и чаще улыбаться начнёшь. Вот так! И не иначе! Пей этот целебный напиток и наслаждайся! — горячился Дед.

Вошёл Дидзис.

— Быстро присели. Счас я вас сфотоаю быстренько. Отлично! На фоне дивной зелени. Сколько её у вас! У меня мама очень это дело любила, все подоконники засаживала цветами. — Зять включил фотоаппарат.

Хозяйка под села на диван рядом с Дедом, Дидзис с другой стороны. Смотрели в объектив.

— А где очки? А, вот они, коварные. На лбу, как всегда! Улыбаемся!

Сфотографировал несколько раз. Передал камеру Дидзису, подсел к Хозяйке:

— Вот сюда смотришь, наводишь, щёлкаешь. Главное, чтобы в кадр попало. Дальше аппарат сам всё делает. Я только очки снимаю, всё помоложе, да ещё и рядом с дамой. Как у меня вид, что на голове?

— Отлично! — улынулась Хозяйка.

Дидзис нажал спуск. Вспышка ослепила коротко.

— Ох! Засиделся же я! Косточки подоржавели, скрипят. — Дед разминал колени, вставая с дивана. — А какая погода чудесная сегодня. Ни облачка. Как по заказу.

— Это в Дублине пять раз на дню погода меняется. У нас сегодня всё хорошо. И погода тоже.

— Хорошие друзья, веселье, разговоры. Просто приятно, — улыбнулся Дед.

— А какой ценой это всё далось? Миленькие мои! Этот дом, машина... я не буду вспоминать. Как он пил, Дидзис. Напропалую! С директором он вась-вась. Того сняли, а я думаю, что же будет с тобой? Надо думать о пенсии, а тут — пьянка. И кому ты нужен в эти годы? Молодым мест не хватает, рабочих мест. Кому тридцать пять — сорок. Я по врачам, со своими больными ногами, ковыляю. Он же столько докторов прошёл, милый мой. Новый начальник пришёл. Ему наговорили. Он присматривается, когда же Дидзис запьёт. А ничего подобного. А теперь — за рулём. Всё, я не пью. И доверяет ему начальник. Бензин покупать. Дидзис пахать умеет! Это ценится, конечно.

— Молодец. Всё переборола, преодолела. А теперь тебя надо лечить. Ну ничего, мы победим! — воскликнул Дед.

— А как вы с ним познакомились? — спросил Зять.

— У меня умер муж. Рано. Сердце. Я работала в Юрмале, в санатории. И у нас отдыхал друг Дидзиса, лётчик. Дидзис тогда работал в аэропорту, наземные службы. Потом... он такой добрый, работающий, но вот тяга к алкоголю. И так, знаешь, думала, не думала. Притерпелось. Уже... тридцать лет вот.

— Он мужик хороший, — согласился Дед.

— Раз пришёл выпивши, два, три. Я его выгнала. Он полез на крышу по лестнице, оттуда в окно. Настойчивый! И на двенадцать лет моложе!

— Это о чём говорит? — спросил Зять.

— О том, что я дура набитая. Зажалела его. Мамке его было не до сына. Трёх мужей сменила. Красивая, никогда физически не работала. Вот он и попил себе.

— Зато любит к вам в гости ездить мамка его, — подхватил Дед.

— И попробуй чего не так! Невестка всегда виновата! А потом как его ни гнала. Ночь мог под окном простоять. Я ему говорю — еду к мужчине. Был у меня до него. Там и финансовые, ну и разные дела. Отвечает — я с тобой! Он на морозе сидел в машине три часа. Пока я решала все свои проблемы.

— И так он тронул ваше сердце! Стремительно! Авиатор! — восхитился Зять.

— Атаковал! Ясно? У меня мужики-то были получше. Но он мог всё, всё — терпеть! Между прочим, я вам скажу, мужики, я баба битая, но сколько лет живу и ни разу его уличить не смогла! Ни в чём, никакие шуры-муры. Даже я со своим опытом, интуицией — не могу! Измены бы я ему не простила ни за что!

— Вот это-то и убедило — верность! Его верность вам. Может, и получится, но не такие серьёзные другие-то мужчины? В достижении цели. В нужное время, в нужном месте! Нормальная психология охотника! Доказал, что только он! — сделал вывод Зять.

— Не каждый мужчина это выдержит! Только настоящий! — согласился Дед.

— Он доказал, что для него существует только одна женщина — это вы! А вспоминается-то, как бы ни жили, — только хорошее. Вот оно, главное! — вскрикнул Зять. — Вы удивительная женщина. От вас такая энергия добра исходит. Созидания и жизнелюбия. И я, как мужчина в расцвете сил и в меру упитанный, прекрасно понимаю Дидзиса. Так что вопрос открытый — кто канат перетянул на свою сторону.

— Такая женщина! — Дед схватился за голову. — Её тут все уважают! А Дидзис сейчас не пьёт и сразу — золотой мужик.

— Мы сейчас старенькие, не можем друг без друга, — тихо сказала Хозяйка. — Да было бы мне лет тридцать, я ему сказала — да пошёл ты! А сейчас — тут болит, тут болит!

— Жена не варёжка, с белой ручки не сбросишь! — урезонил Дед.

— Вы хотите, чтобы я вышла за него замуж?

— Вы разве... вы ещё не замужем? — спросил Зять. — А я-то думаю, почему вы в такой хорошей форме!

— Он меня постоянно приглашает замуж. Я же отказывалась... молодая. Красивая, здоровая. Зачем? Вот он накопил, пока не пил, вложил в квартиру, я немного добавила. Он в последнее время плохо себя чувствует и предлагает пожениться. Я говорю — старая, умру скоро. А он отвечает — мы не знаем, кто первый уйдёт, а тот, кто останется, пусть живёт дальше без проблем. Без претензий от детишек и прочей родни. Кстати, у него была жена, дочь от того брака. И она может отсудить у тебя квартиру. Так он говорит. И я не знаю, что теперь делать. У меня-то ничего нет. Я квартиру продала, дочке денежки отправила в Америку. Трудно ей было поначалу. А если он, не дай бог... уйдёт раньше? И сразу я — никто!

— То есть он отдаёт себе отчёт, что ближе вас никого нет! И что вам мешает сказать твёрдое «да»? В полный голос! Или шёпотом — «нет»! — предположил Зять.

— Да уж, невеста!

— Кому какое дело! Это только вам и решать!

— Я же первая умру! Я старше!

— Не надо никого хоронить раньше срока, — возмутился Зять.

— Чего вы себя закапываете-хороните! Выдумали тоже! — согласился Дед.

— Вы посмотрите на этого юношу! — показал Зять на Деда. — Никто ему не даст его года!

— Ах ты, мой юноша! — Хозяйка поцеловала Деда.

— Я вот как-то его спрашиваю — Дед, ты Библию читал? А он отвечает — зачем мне её читать, если я по ней — живу!

— Он молодец! — улыбнулась Хозяйка. — Всегда поможет, всех любит.

— Может, я в церковь и не хожу каждый день, но живу по совести! — ответил Дед.

— А что вам мешает ответить Дидзису согласием? — спросил Зять.

— Да мы уже месяц, как подали заявление. А сомнения остаются.

— Сомнения всегда будут, пока жив человек. Что же вы нас интриговали, молчали! Мы приехали в домашних тапочках, можно сказать, не подготовились как следует! — шутиливо возмутился Зять.

— Ничего! Вон Дед-то в галстук!

— Дед почувствовал момент! А я — нет! Молод я ещё! Всего шестьдесят два года!

— И живите, как муж с женой! — благословил Дед.

— Как положено, — согласилась Хозяйка, — не во грехе! Соседка спрашивает, а в церковь не хотите? Обвенчаться.

— В церковь надо заходить, — сказал Дед.

— Ну, куда мне, старухе, в церковь! Я его в православие обратила. Уже два года, как крещён.

— Вот! Это твоя заслуга! Ты его вообще сделала человеком, — Дед похвалил Хозяйку.

— Дед прав! Дед говорит мало, но по делу. Не то что я, молодой, — говорю и говорю навеселе. Но вот вам — награда, приглашение замуж.

Хозяйка вышла.

Зять тоже вышел, обогнул дом. Мимо кустов смородины, крыжовника. Теплица немного правее, пустая, грустная.

Туалет небольшой, чистенько побелён. Глянул Зять в приоткрытое оконце. На фоне синего неба причудливо извиваются голые ветки яблони. Понял, что изрядно выпил.

Вымыл руки. Погремел стерженьком рукомыльника. Были такие раньше, в хозмагах продавались. Приятная прохлада освежила. Вернулся в дом.

Дед пил сок. Нечаянно поперхнулся. Долго откашливался, несколько раз подрадно громко чихнул, засопливился, слёзы утёр тыльной стороной ладони.

— Счас на улицу выгоню! — погрозила Хозяйка.

— Товарищ боец! Приведите себя в порядок! — приказал Зять.

— Не в то горло пошло! — пожаловался Дед. Чихнул тотчас же.

— О! Два — ноль! Теперь восемь раз пока не чихнёт, не успокоится, — сказал Зять.

— Вина возьмёте! С собой. Моего вина, — приказала Хозяйка.

Дед чихнул.

— Три — ноль! — считал вслух Зять. — Мы лучше в гости приедем и здесь вина выпьем.

Дед чихнул.

— Четыре — ноль!

— Как это — не возьмёте!

Дед чихнул.

— Пять — ноль!

— Вино возьмём! Лучше тыкву оставим, — вскрикнул Дед и громко чихнул.

— Шесть — ноль!

— Я его уже знаю! — Зять серьёзно глянул на Хозяйку.

Дед снова чихнул.

— Видите — уже семь! Я же говорил!

Дед долго молчал. На некоторое время воцарилась тишина. Все прислушивались к чему-то.

Дед глубоко вздохнул и, словно с разбега, взмахнул плечом.

— Вот! — торжествовал Зять. — И дочь его, жёнка моя, точно так же! Не меньше восьми чихов выдаёт! Это у них семейное.

— Это ты напророчил! — заступилась за Деда Хозяйка.

— Отнюдь! У них так нос устроен! В форме чиха. Своёобразно.

— Надо сумки собрать да выпить «посошок» на дорожку, — предложила Хозяйка.

Дед снова чихнул.

— Ну, это уже перебор! Сегодня в ударном темпе идёт прочихон! — удивился Зять. — Спиртное сейчас поищем, а сумки категорически отвергаем! Никаких сумок! Мне больше двух кгэ не нельзя поднимать!

— Если там... что. Останешься одна — звони, советуйся, или помочь что, — предложил Дед. — Мы с открытой душой, завсегда тебе поможем.

— Спасибо, родненькие. Я так не хотела, чтобы доченька уезжала! Это очень было тяжело. Первым делом угробили военный госпиталь. Она там операционной сестрой работала. Руки золотые. Талант. Не каждому дано! Её очень ценили. Пользовалась авторитетом. Да и врачи там первоклассные. И вдруг всё сломалось, рухнуло. Ходила сама не своя, готовила тихонько документы. Я узнала за два дня до её отъезда. И хотелось ей уезжать, и не хотелось. Такой жизненный надлом. Была всем и стала никем! Уехала к знакомым. Познакомилась там с мужчиной, вышла замуж. Устроилась. Дом купили на побережье океана. Повыше. Говорит, если что, вода не дойдёт. Вода не дойдёт, а беда найдёт. Не спросит. Она бы сроду не уехала. А сколько врачей уехало. Да кого хочешь уехало, не сосчитать!

— Она же летом, когда прилетела, у меня останавливалась! — сказал Дед. — Вся в маму! Добрая, энергичная. Стройная такая же, тростиночка. И послушная, деувка. Поехала на встречу с одноклассниками на взморье. Звонит вечером: может быть, я тут останусь? Я ей даю приказ — возвращаться! Я перед твоей мамкой ответственный! Домой! Вернулась. Я её берёт, как яичко!

— Хорошая она. Теперь как звонит — Деду привет.

— Деда не обманешь! Он тот ещё... рентген! — согласился Зять.

— Я её спрашиваю — доченька, может, в другую клинику, как-то стерпит, может быть? Нет, говорит! Такое отношение... и зарплата копеечная. Не хочу! Устроилась. Наши люди там ценятся. Такая серьёзная подготовка, практика. В следующем году — двадцать лет уже как уехала.

— Люди едут куда-то, надеются, что будут счастливы в другом месте, а потом вдруг получается, что ты ведь прежний, себя-то на нового не сменишь. Не чемодан. Только место поменял, а жизнь твоя с тобой, — погрустнел Дед.

Хозяйка встала, напевая, прибавила громкость телевизора, закружилась, вальсируя, посередине комнаты:

— Ох, ох!

— Эминем! Это же Эминем, знаменитый певец! — Зять захопал в такт ладонями.

— Ох, ох, ох! — кружилась Хозяйка.

— Вон пуговка от блузки отлетела. Экстаз в танце! — Зять поднял с паласа.

— О, разошлась старуха! — засмеялась Хозяйка. — Про ноги забыла. Скажи кому про экстаз! Смех!

— Молодец!

— Так вот, держимся!

Хозяйка взяла пуговицу, вышла.

— Когда Дидзис не работал, их вот этот домик спасал, участок, потом уже квартиру купили. Со всей обстановкой, по хорошей цене, — сказал Дед, — женщина жила, очень хорошо зарабатывала. Богатая. Срочно уехала в Россию. Всё оставила им, как есть.

— Кому-то на радость уехала, как убежала. Беженка, спасалась, — сказал Зять.

— Едут, где лучше.

— А будет ли лучше? Лучше вон только коньяк становится от времени! Это одно дело, когда тебя в детстве перевозят куда-то, а срываться в возрасте с насыщенного места да не по своей воле... Что-то я незаметно... а принял на грудь, — пожаловался Зять.

— А видишь, вспоминается Хозяйке. И потанцевать хочется. И день хороший. Чудесный такой день выдался.

— И мы весёлые! «Весёлые ребята». И вот ещё — «А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер». Ветер-пропойца!

Вошла Хозяйка.

— Вот почему вы без пылесоса живёте! — засмеялся Зять.

Хозяйка поцеловала Деда:

— Ой, спасибо вам! Хотя немного меня... разрулили от грусти! Этим летом никого не принимала. Там болит, тут болит. Обычно мамка его, сестра приезжали. — Она достала из холодильника припотелую бутылку водки.

— Как с этим жить! — Зять поднял брови, увидев бутылку. — Ума не приложу! Ты как, Дед?

— По рюмочке.

— Вы уж за ним проследите, — попросила Хозяйка Зятя.

— За это не беспокойтесь!

— Сегодня мы отдохнули. А завтра мне с утра пахать. По полной программе! — сказала Хозяйка.

— У нас завтра баня по распорядку! — доложил Зять. — Скидки для пенсионеров по понедельникам. Немного их осталось — радостей, баня, например.

— Пора! Уже тело дубится, просит веничка! Ну, на дорожку! — Дед поднял рюмку.

— Смотрите, чтоб вас там не сволокли в казённую спьяну, — предупредила Хозяйка. — А уж потом-то встретимся, до следующего сезона. Может, к сестре Дидзиса съездим. Хорошие люди. Под Добеле живут. Така-а-а у них усадьба! На берегу реки, рыбу ловят. Сдают землю в аренду, картошку там сажают, арендаторы с ними картошкой рассчитываются. Вот и нам перепадает.

— Я давно мечтаю побывать на латышском хуторе, у нормальных, добрых людей! Очень мне это по душе! — поделился Зять.

— Прекрасные места! Метров двести от дома до реки. Рыбку прикармливают и хорошо ловят. Кстати, Дидзис там рыбу наловил. Пакет с собой возьмёте. Почищенная, готовая. Только на сковородку положить. Сам-то он не любит рыбу, а рыбачить — только дай! Мы рыбку не покупаем. Дидзис очень хороший рыбак.

— Поэтому у вас хороший цвет лица! — засмеялся Зять. — Не каждая молодая столько пашет, так понимает жизнь, любит её, ценит даже в малом. И

повеселиться можете, и столько обаяния! Удивительно! Так это всё не растерять, а такая непростая жизнь! Я вижу в вас — Женщину!

— Спасибо за добрые слова! Приятно!

— Да разве ж мне трудно? Трудно, когда врѣшь, а такую правду и сказать в радость!

— Ребята! Есть вариант быстро домчаться до Риги! Соседи едут через Кен-гарагс. Универсам «Доле».

— Отлично! Мы там на пятнадцатый автобус и ко мне, пять остановок, — обрадовался Зять. — А завтра встанем и в баню рванѣм!

— Я уже Ригу стала забывать за семь лет огородной жизни в навозе, — пожаловалась Хозяйка.

— Я вон четыре месяца отутствовал, дак и то не сразу вспоминается, — сказал Зять.

Женщина вошла, за пятьдесят. Стройная, улыбчивая, в светлом летнем са-рафане.

— Знакомьтесь, Соседка! — сказала Хозяйка.

— А мы приехали цветы кое-какие забрать, просто так походить по земле. Вам цветов не надо? — предложила Соседка. — Жалко, замѣрзнут. Летом тут интересно. Внуки у нас. Только начинают на русском общаться, а уже их увозить пора. В Германию.

— Цветы нам ни к чему. На свиданки с Дедом не ходим, а свои девчонки далеко. Некому цветы дарить.

Соседка ушла к себе. Дед и Зять оделись, ждали, когда позовут. Рядом большие мешки с гостинцами.

— Вы знайте, — повернулся Зять к Хозяйке, — мы вас любим!

— У тебя сегодня сердечко от радости будет хорошо работать, — Дед поцеловал Хозяйке руку.

Дидзис подошёл.

— Вот! Приехали в гости, а тебя не видели толком! — расстроился Зять.

— На работу отъехал. Вы как тут?

— В целом очень хорошо! Хоть садись и пиши «Идиота», как Фѣдор Миха-лыч, да простит он меня заочно за фамильярность! И такой день замечательный! Вот сейчас дождь к-а-а-к зарядит на много дней, и будем вспоминать этот тихий день, небо синее. Разговоры наши душевные, расчудесные, под рюмочку для настроения.

— Запросто! До апреля месяца может дождь идти, — согласился Дидзис.

— А всё равно милей других мест. Так я скажу. — Зять улыбнулся. — Сезон закрыли! Ещё один сезон. Слава Богу!

## Глава 10. В пути

Дед и Зять долго устраивались на заднем сиденье. Наконец-то угнездились. Грузѣная легковушка вперевалку пробралась по грунтовке между домишек посѣлка, выехала на шоссе, плавно набрала ход. Дорога почти пустая.

Ранний тихий вечер. Усталость от долгого застолья, серьёзных разговоров.

Дед молчал, придремал. Зятю, напротив, вдруг хотелось поговорить, развеять грустное молчание, но водитель упорно на разговор не шѣл.

— Далековато у вас дача, — сказал Зять.

— Так мы жили в Елгаве какое-то время, — объяснила Соседка. — Попали оба по распределению, после институтов. Познакомились. Потом мужа перевели на повышение в Ригу. Решили оставить дачу, не продавать. Привыкли к этому месту. Раньше мама моя приезжала на всё лето. Из Бугуруслана.

— Вот как! — удивился Зять. — А я среднюю школу заканчивал в Оренбурге. С работой отца было связано. Пыльный южный город. Летом жарко, зимой холодно. В Орском аэроклубе прыгал с парашютом, хотел лѣтчиком стать.

— Знакомо. Я теперь не смогу там жить, — погрустнела Соседка. — Вроде тянет в родные места, а приедешь, через неделю — скорее назад. Прикипели

уже к Латвии. Здесь дочка родилась, внучка. Всё здесь теперь. Язык знаем, но натурализоваться что-то не тянет. Так нормально. Оставляем возможность прокатиться на родину. Только вот теперь сложно стало к нам приезжать из России. И реже стали ездить к ним в гости. Визы заказывать надо. Много мороки.

Дед и Зять вылезли на остановке возле универсама «Доле», поблагодарили. Распростились.

## Глава 11. У Зятя

Перед самым подъездом Дед вдруг оступился, начал медленно заваливаться на сторону. Зять едва успел его подхватить.

— Что-то, вишь, с ногами, — повинился Дед.

— Это знак, ночуешь у меня. — Стало Зятю отчего-то тревожно, но не мог он объяснить внятно почему.

— Жаль, Астриса будет меня ждать, надо бы её покормить. Да уж теперь до-мой не поеду, останусь у тебя.

— Она к тебе тянется. — Зять сумки разбирал на кухне, продукты раскла-дывал.

— Ей нет больше нигде спасения. Она же ни с кем в нашем доме не знает-ся, не здоровается. Всем должна, а не возвращает. Сложный человек. Мы с ней сперва грызлись. Она начнёт спорить, вспыхнет, как старник-трава на ветру, выскочит на лестницу да ещё ногой в двери как даст! Со всей силы. Сейчас совсем стала другая. Позвонит, спокойно всё, придёт. Хотя о любви с ней нечего говорить, не такая она женщина. Но поболтать она лю-ю-ю-бит. Знаешь как — одна, молчит долго, потом хочется поболтать. Женщина. Не с кем. Соседка моя напротив, так у неё мама парализована. Помыть лежащую надо, и переодеть, и накормить. Она сунется к ней, а та говорит — некогда. Катрина наверху, сын полицейский у неё. Там иногда денег перехватывала. Да, видно, сын что-то сказал, рассорились они сильно. Спросила его: ты обиделся? Нет, говорит, у мамы что-то с головой случилось. И не дружат теперь. Опять Астриса одна осталась. Вот и идёт ко мне. Телевизор включу, смотрит. Московские программы — обожа-ет. Смотрит, удивляется. Латышские смотреть перестала. Говорит, одно вранье передают! А все врут — я так скажу. И те, и эти. Да и пусть смотрит, что она мне плохого сделала? А эти молочные продукты, творог? Две пачки на неделю. Да-к я одну пару обуви почино, вот и заработал. Надо же человеческое сердце иметь.

Прошли в комнату. Дед устроился на диване.

— А женщина без мужчины не может, — подытожил Зять.

Дед не ответил. Уснул мгновенно. Зять накрыл его пледом, включил телеви-зор, звук убавил. Шла программа «Жди меня». Одна история жалостней другой, и такие, что никакой изощрённый разум бывшего сценариста не выдумает.

Зять тихо всплакнул неожиданно для себя, но переключать не стал.

Люди рассказывали, заслоняясь фотографиями, делились своими печальями.

Дед встрепенулся, зевнул. Заметил слёзы, встревожился:

— Что случилось?

— Да вот, передача. Разметало всех во все земные пределы. Никак не со-браться вместе. Родственники ищут друг друга, мужчины ищут женщин, жен-щины мужчин.

Дед сел, пух седой на голове ладонью пригладил, видно, вспомнил, на чём остановился перед сном.

— Мужчина, если он нормальный, тоже не может без женщины. Природа же не зря такое разное создала. Каждому свои права, льготы. Я Астрисе говорю: мужчина тебе нужен! А она такая характерная, не подходит. Я даже к её руке не могу прикоснуться. Как дикая коза становится, глаза белые, а я так спокойно. И не прикасаюсь. Ходи, горбатая, мучайся. Чепуха.

Женщина сама приходит. Выбирает мужчину и приходит. Это только кажет-ся, что ты её выбрал и позвал. А раз пришла, так и отвечаешь за неё. Радуйся, что тебя выбрала.



— Медаль тебе надо дать «За добросердечие».

— Вот и Хозяйка мне так же сказала. А кто нам поможет?

— Правительство.

— Астриса теперь убедилась в своём правительстве, кто они такие. Говорит, надо всех в тюрьму, а деньги в казну!

— Вот она, идеология нищего пролетария, — отобрать и поделить! А кричали... Вот кто враг-то! Внутри страны, а не в Москве!

— У неё подруга Милда. Квартира большая, три комнаты на первом этаже. В колодез двора окна выходят, в стенку упираются. Всё время надо электричество жечь. Только собак держать. Лежит Милда под одеялом, сплнет в этой квартире. А всё равно платить нечем. Сын отказался, больной, у него своя семья, прости, мама, помочь тебе не могу. Пенсия маленькая, работы не найти. Лежит она и думает: надо выбирать — или хлеба купить, или за квартиру заплатить? Хозяин подал в суд на выселение. Астриса приходит ко мне, спрашивает — её и впрямь на улицу выселит? А куда же ещё? Посоветуй, что делать? Я ей говорю — возьми к себе, вдвоём вам легче будет отбиваться, и жить веселей, всё ж таки подруги. Две пенсии — не одна. Вот она сейчас бегает, готовится к новоселью. И много сейчас таких. Раньше стремились побольше квартиру занять, а теперь платить нечем, вот и уплотняются.

— Да и хозяин — Милду выселит, а кто у него такую квартиру купит? Кто туда пойдёт? Тут хоть что-то он с неё брал, какие-то копейки, а теперь пустовать будет. Хозяина штрафовать, забирать, ремонтировать, сносить? Вон сколько уже пустует домов, под красивыми сетками запрятаны. Нарисованы красивые фасады на тряпках. Мыслимо ли прежде было такое услышать про нас?

— Она теперь про русских ни звука! Говорит, русские спасители!

— Неглупый ведь человек. Два высших образования. Их зомбируют латышской прессой, телевиденьем. Они же в массе своей не смотрят другие передачи — на русском ещё кто-то из старшего поколения глянет, а на английском не все могут. Вот ими и манипулируют всюю, этой массой.

— И разочарование большое у многих латышей. Дидзис, возьми тоже. Юрист, высшее образование. Хороший мужик, а как коснись разговор про власть, такой становится злой. А он же не злой сам по себе! Я тут иду мимо банка, очередь огромная. Ещё один банк завалили, угробили. Дело ясное — чтобы растащить оставшиеся деньги. Спрашиваю, что, получили проценты? Смеётся кто-то, а кто как на врага глядит. А мне не страшно! Мои деньги всегда при мне, копейка в кармане другую догоняет, но только я один для неё банкир.

Надо народ любить, и народ тебя будет любить. Конкретных людей. Соседка сверху пришла, плачет: муж умер, как жить. А мне туфли принесли. Добротные такие, ну не модные. Говорю, померяй, может, подойдёт? Обулась — как влитые! Они же мне так достались. Что я, с неё буду этот лат брать? Ушла довольная.

— По-соседски понятно. Видишь ли, Дед, правительство придумано для того, чтобы мы могли делегировать часть своих проблем министрам, президенту, чиновникам. Если есть государство. А если одно название, значит, и правительства нет, и нечего требовать того, чего нет. Вот люди и находят друг друга, помогают, как могут и чем могут.

— Люба прибегает, с крайнего подъезда: Мишке плохо, мужу. Я бегом. Парализовало. Я его знал с первого дня на ВЭФе, в одном цеху работали. С пятидесятого года. Умелый такой, споркий в руках. И парализовало его. Ах ты, беда! И что? Надо его мыть-купать хоть раз в неделю, а Люба не в состоянии, иззявшая такая женщина, а он же тяжёлый, как куль с пшеном, обмяк от инсульта. Вот ходил к ним. Клеёнку подстелить, простыни сменить. Ухаживали по-человечески. Почти год. Дети Мишкины приехали, сдали в дом престарелых. Года там не побыл и умер. Там долго не живут, на казённой каше. А Люба переехала. Квартиру разменяла на меньшую. Я тут как-то привёз полные руки помидоров, яблок, позвонил. Приехала, чай попили, посидели. Снабдил её. Уехала довольная.

— Да, семья важное дело! Как воспитают с детства.

— Ты вот возьми Астрису. Мать, отец её любили, к кастрюлям-сковородам не допускали, так она и супчик не в состоянии себе сварить. Простой молочный супчик. Муж от неё сбежал, не выдержал такой жизни. И всё такое важное с детства. И помыть, и накормить, и поговорить, и приласкать вовремя! Это же всё скоро закончится. В школу на руках не понесёшь уже. И так распределить строгость и любовь, чтобы не разбаловать. Чтобы слушался и уважал. Детская педагогика жизни. Вон на улице другой раз: кричит ребёнок, падает на спину, чего-то требует! Это уже плохо. Крайность. Что-то тут не так. Упустили.

— Есть у детей такой период. У одних проходит, у других на всю жизнь затягивается.

— А я хочу всем здоровья! Я-то вот в войну сильно подорвал здоровье. Но стараюсь держаться, а так бы давно ноги протянул. Если бы лёг и ничего не делал. Я как-нибудь при тебе разденусь до трусов и покажу свой комплекс, что я делаю.

— Ты рассказывал.

— Рассказать — это одно, а показать надо. Комплекс упражнений с ногами, плечами, позвоночником. Может тебе в дальнейшем понадобится. Массаж и физзарядка. Часа полтора выходит каждое утро.

— Оставайся у меня, Дед. Куда ты на ночь глядя поедешь.

— Я у других не выпанюсь. У тебя диван очень жаркий. Дома я развалю-ю-ю-ю-сь! Никаких дурных мыслей. И людей дурных вокруг меня нет. Я их перевоспитал! А перевоспитал очень просто — собственным примером и терпением. Вот Астриса. Сидит, болтает. А её вполуха слушаю. Хорошее принимаю, дурное в голову не беру. Мимо пропускаю.

— Может, всё-таки останешься?

— Надо ехать. С утра есть работа.

— Поезжай, раз так решил. Не спеши, за автобусами-троллейбусами не бегай. Прибудешь домой, позвони.

Про автобус Зять напомнил неспроста. Семь лет назад Дед вот так же ушёл домой. Вечером не позвонил. Утром Дочь безуспешно звонила ему, потом переполошилась, сорвалась, поехала. Что-то подсказало ей, что надо это сделать. Дед и впрямь попал в беду. Накануне добежал до автобуса на остановке, а дома случился инфаркт. Лежал в проходе на кухню, сердце болело остро, боялся шевельнуться. И Дочь приехала очень кстати, и Деда спасли.

Вскоре позвонил Дед, сказал, что доехал без приключений.

Зять послушался по дому и лёг спать.

Попытался читать, но вскоре сморили усталость, свежий воздух, дорога, впечатления, разговоры, и он крепко уснул.

## **Глава 12. Починка**

Дед по обыкновению проснулся рано. Сделал зарядку, завтракать не стал. Надел длинный клеёчатый передник, тёмный, испачканный клеем и краской. Очки нацепил на нос, дужка пластырем перемотана.

Присел напротив окна, к свету. Низкая табуреточка, сиденье из широких переплетённых ремней. Сам сделал, чтобы долгое сидение было не во вред.

В работе было две пары женских чёрных туфель и кроссовки, и ему очень хотелось их отремонтировать.

Красотки-красовки. Расписные-разноцветные. Модно. С виду — богатые, яркие. Только ноги портить. Всё равно что в банку с кислотой их совать. Сразу вонькие ноги становятся, как ты ни оберегайся. Претет нога, не дышит вовсе. Разлагается, что твой утопленный на дне, высасывает синтетика всю влагу. Ноги белые становятся, бескровные и морскатые.

Расклеиваются они часто. Подошва отстает. Дед клеем промазал, оставил немного подсохнуть, чтобы крепче схватывало. Профилактику очертил специальным карандашником, примерно под размер подошвы вырезал. Газ включил, на сковородке горячей подержал ошметку профилактики. Кроссовки в пресс за-

жал, пока подошвы грелись. Потом вынул кроссовки. В туфли колодки вставил деревянные, под размер, тоже зажал прессом. Крепко будет держать.

Хитрят, экономят на фабрике. Надо бы щёчки слева и справа, крой подгибать под всю подошву, сплошной делать, под затяжку. Клеем всё залить. Тогда не страшны никакие лужи. Теперь же делают узкие края щёчек, вода быстро под подошву попадает и в обувь. А при сильной механической затяжке рвётся кожа на стыке с подошвой. Кропотливое дело — заплаточки потом вставлять, чтоб хоть ещё один сезон обувь выдержала. Прежнюю кожу теперь по толщине на три полосы распускают, становится как бумага. Да и химией тротуары поливают, разъедает кожу. Хватает на один лишь сезон, хоть какие бы ни были фирменные и дорогие.

— Два латика есть! — осмотрел внимательно. — Задник надо будет прошить, пообтрепался шов. Это уж потом, когда с туфлями закончу. — Кинул кроссовки в угол.

Клеем намазал подмётки и тоже прессом зажал, склеил. Косым широким ножом края обрезал. Коротко полоснул, привычно отсёк край ровно и точно. Крупной наждачной бумагой обработал, сгладил. Чёрной краской подкрасил. Посмотрел со стороны — вроде бы неплохо.

Каблочки, вечная дамская беда! Доносят, стешут набойку до того, что уж и сам каблук вперекос. Походка меняется. Косолапить начинает, некрасиво. Но как на женщин обижаться. Они же всё чего-то делают, заняты, всё некогда. Женщина — это вечный труд.

Пришлось Деду стачивать, каблук выравнять. Каблуки-то не ахти какие — полые, только по краям основа, а внутри пустота. Громяхают. Какой... фалафуй изобрёл-придумал? И супинаторы неизвестно из чего штампуют, упругости нет хорошей, плоскостопие наживать, да и ломаются часто. Опять экономия!

Он не считал зазорным, проходя мимо мусорного бака, старую обувь домой принести. Разобрать и полностью на запчасти — супинатор вынуть, мягкую кожу пустить на заплатки. Целая шуфлядка была у него с супинаторами внизу комода. Подбирал под конкретную пару, не халтурил. А ещё одна шуфлядка была с молниями для обуви. Приличные сохранял, вшивал вручную, денег за это не брал. Только за работу, а самому было хорошее подспорье.

Сплюнь да рядом экономия при производстве обуви. Подошвы полиуретановые, ломкие. Вроде лёгкие, а не всегда пластичные. Тонкое дело — химия. Чуть какой компонент неточно добавил, вот и получили брак. И уж если треснет, так надо выбрасывать. Пробовал Дед эпоксидкой заливать трещины, промучился долго, а ещё хуже стало. Не спасти обувку.

Зять ему вечно выговаривал, что с таким добросовестным отношением он заказы потеряет, если долго будут клиенты носить после ремонта. Только не так это. Люди по сарафанному радио друг другу передадут, похвалят и новых приведут. В этом случае Дед делает один ремонт бесплатно, как поощрение за «находку».

Телефон зазвонил. Дед продолжал работать. Кто-то чужой. Свои знают — до двенадцати его не надо беспокоить, работа. Да и кому надо — тот найдёт. Рано или поздно. Если очень надо.

Каблочки выправил, хоть и намучился — не идут гвоздики в эпоксидку, хоть и рифлёные по краю. Гнутся, портятся. А гвозди он сам покупает. Ездит в небольшой магазинчик, набирает самое необходимое на распродаже. Но настоял на своём, и получилось в итоге красиво — гвоздики медные внаят вошли, долго будут держать. Набоек углубил слегка, чтобы заподлицо наложились, подкрасил, чёрные точки сверху пометил.

— А вот ещё три латика прибежали!

Улыбался, привычное делал руками.

Голод почувствовал, но пересилил себя, потому что после еды — какая работа. Потянет отдыхать.

Вторая пара была тоже непростая — высоченные каблуки. Как они умудряются ходить на таком гвозде? Он же внутри полый. Трубочкой. Вот и подогунулся. Штырь длинный, саморез-шуруп ввинтил сверху, под стельку пластинку

спрятал, чтобы устойчивее нога была. Хорошо, что левша сам. Металлические набойки сменил, точно под размер отыскал в коробочке.

— Ещё три латика. Хороший день! Восемь латов.

Наклеил на подошву бумажки с ценой, нарезанные из старой тетрадки. Вмesto квитанций к расчёту.

Поставил чайник, прибрал мусор, подмёл щёткой пол на кухне и пошёл мыть руки в ванну.

Тут уж и чайник засопел, нагреваясь, запел весёлую песенку, настроение поднял.

Немного решил отдохнуть, а уж потом сходить в кафе, две остановки прогуляться. Туфли отнести. Хорошо при сидячей работе. Надо двигаться. Стоит только лечь, так и сляжешь навoсe!

Весёлые женщины в кафе! Фигуристые, молодые, балагурные. Пятьдесят грамм всегда нальют для настроения.

И что-нибудь для ремонта принесут. А это уже хорошо!

Потом он пил крепкий кофе, две ложечки сахара с горочкой. Два бутерброда с печёночным паштетом. Мягкие, из белого батона, аккуратно по его шатким зубам. Булочка сдобная, с коричневыми ниточками запечённого сыра сверху. Горчинка вкусная, с хрусточкой лёгкой.

Хороший денёк.

«Счастье у каждого под мозолями лежит», — он был в этом уверен.

И еда вкус имеет особенный, когда поработал.

### **Глава 13. Обед после бани**

Баня недалеко, через светлую берёзовую рощицу пройти пешком. Воробьи чирикают, вороны кричат. Собак выгуливают.

Знакомая картинка.

Банька маленькая, аккуратная, с бассейном. Хорошо банкеты устраивать, юбилеи и корпоративные междусобойчики. Парилка настоящая, только неудобство — перил нет и ступени высоковаты. Дед один не может на полку забраться, приходится помогать. Однако пар хороший, это всё и решило — стали сюда ходить.

Попарились неспешно, последовательно. Вытирались — даже кожа скрипела от чистоты, как упругие, спелые баклажаны под пальцами.

После бани решили не гулять, поехали к Зятю. Благо проезд у обоих бесплатный.

— Недаром говорится: счастливый, как с бани вернулся! — засмеялся Дед.

— Ты смотри, как мгновенно два месяца пролетело! Стрелой! Опять баня. Мне там, в Ирландии, так её не хватало!

— И я соскучал! Одному тоже не в радость, так-то веселее.

Разделись в холле, прошли на кухню.

Кухня небольшая, белая мебель, не новая, но аккуратная. Столешницы чёрные, с мраморной искоркой. Зять разложил сыр, колбасу, килечку потрошеную, малосольную в масле. Водку достал с дверцы холодильника.

— Вот мы и дома.

— Вчера заехала ко мне Хозяйка с Дидзисом, — сказал Дед, присаживаясь у окна. — Причёска такая высокая, красивая! Без этого женщине нельзя. Иначе любить не будут. Ни муж, ни окружающие. Да и сама себя возненавидит. Сказал ей, а она смеётся, довольная.

— Женщина без любви не может! Она же для этого и создана. И придумана. С лёгким паром! — поднял рюмку водки.

— Бывай здоров! Пар хорош!

Выпили. Стали хлебать супец.

— Тут вот язычок говяжий заливной. Пробуй, кушай, — сказал Зять.

— Вкусно! Много всего, а оставлять нельзя! Это будет неуважение и к еде, и к хозяевам. А ещё рассказала Хозяйка, что были в гостях у сестры Дидзиса.

Маленькая такая, а вредная, сестра-то. Хозяйка её осуждает за то, что у сына внук родился, а они никак не общаются! Нет бы женщине помочь с малышом. Так нет же! Глаз не кажут ни один, ни второй.

— Чего же они не поделили?

— Трусы драные! Не знаю, что они там не поделили. Сын вроде нормальный. Я ему сандалии починил, он мне десять кило картошки прислал. Мне больше и не надо! Чего ей потом глазки выковыривать.

— А вот твоя дочь, Дед. Она такая сдержанная внешне. Я даже не ожидал, что она так внуку полюбит. И сразу.

— И мы тоже вашу дочку сразу полюбили и лелеяли, как могли, берегли. А правнучка чем дальше, тем лучше будет. Она и сейчас-то вон какая красавица. Моя правнучка! Ого! Сразу на рай я теперь могу претендовать, дожидаясь до правнучки. Только надо сил набраться, дождаться, когда приедет, насмотреться на неё, любимицу.

— Живи всем на радость! Ты закусывай, вот пирожочки маленькие со шпек-ком, — Зять разложил по тарелкам жареную картошку фри, — водочку давай допьём. Маслины без косточек очень хорошо. Бери, закусывай.

— Куда ты! Столько еды! Я же не лошадь!

— Да всё туда, на здоровье.

— Она же так привыкнет, правнучка моя, к бабушке. Они целый день там вдвоём.

— Жена сказала: мама сидела с нашей дочкой, теперь я должна долг вернуть. Они крестили в католичестве внучку и дали ей второе имя. Так принято.

— Какое?

— Тёщи моей, жёнки твоей. В память останется имя.

— Вот как? Это хорошая новость!

— Когда наша дочь поступила в университет, мы эту квартиру в банке заложили, чтобы учёбу оплатить. Такая кувалда над головой этот кредит. Валили туда, валили. Только сейчас начали дышать более-менее. Банк — организация циничная и безжалостная. Хотя все улыбаются, встречают. Но — никаких поблажек! Денег принёс? Тогда улыбнёмся, а теперь иди, дальше ищи денег! А не нравятся, не ходи тут, не топчи блестящий паркет.

— А я и не знал. Догадывался только. Про кредит ваш.

— Давай, Дед, чай пить. Специальный состав — боярышник и Melissa. Успокоительный чай. Да вот ещё по рюмочке! У меня немного рому есть, тёмного, кубинского. С чаем очень ароматно.

— Канеешна! Мы же дома! — Дед громко высморкался в белый платок.

— И запеканка творожная очень даже кстати. Чего одну воду гонять. Хоть она пять раз полезная.

— Дак не лезет уже. Ты меня прости!

— Ничего! Раздайся, брюхо! Место должно найтись! «Любовь нечаянно нагрянет!» — пропел Зять.

— Хорошая песня, — одобрил Дед, — умели раньше песни придумывать, чтобы все пели, а не один со сцены сам себе хлопал.

— У меня наверху малец наяривает на пианино! Сперва сильно доставал собачьим вальсом. Сейчас уже можно и послушать. Давай по рюмашке — и спать! После бани.

— Вкусный продукт, — Дед поставил на стол рюмку, — вот только за границей всё равно делают лучше. Российская водка грубоватая, агрессивная.

— Спирт водой набодяжил, вот и водка. Крутки левой полным-полно. За границей делают для людей, а не для плана. Не обалдуи какие-нибудь, сорвать банчок на раз и смыться.

— Хозяйка в гости приглашала. Скучно ей там одной. Соседи, ну что они? Он больной, туберкулёз. В больнице лежал много. Ничего не делают, ходят по травке. Я приеду, так они меня просят смородину собрать, крыжовник с кустов. Хозяйка их тоже жалеет. Варенье, фрукты-овощи разные подаст другой раз. Они и рады. Бывает, я им косточки подвезу. Поддержать.

— Ты, верно, в детстве сильно голодал?

— А как же? Голодал! В партизанах очень голодал. По двое суток не ели. После белой берёсты, на изнанке, есть такая коричневая мякоть. Варили и ели. Конина — о-о-о-о! Деликатес!

Молча пили чай.

— На днях звонит какая-то женщина, — сказал Дед. — Вы какой веры? — А вы? — Протестантка. — Я говорю ей, что мне это не надо, а она: да вы послушайте. И давай про бога, про веру, про чёрта-сатану — А как вы меня нашли? — По телефонной книге. Наобум. — Я, говорю, с чем-то согласен, но в целом... такая техника сейчас выдумана, всю атмосферу сбурлили, и нет там никакого чёрта-сатаны. Я на эту тему говорить не хочу, я православный. — Но я бы хотела с вами встретиться. — Хочешь? Давай в понедельник. Может, чего-то нового расскажешь.

Но протестантов я знаю. У меня в цеху была диспетчер. Метнулась из православия в протестанты. И тут иду как-то, а она дворником работает. Говорит: побывала в протестантах и ушла. Только деньги жмут из людей. Одна, посоветоваться не с кем. Надумала себе глупостей в голове. Дочка в Мурманске жила с внуком, а потом они в Ригу перебрались. Внук чего-то захандрил, дочка больная. Инвалид детства. Мужа нет, живут кое-как, впроголодь. О чём правительство думает?

— Язык надо знать.

— Надо заниматься. Да только я их с войны ненавидел! Оголтелых... которые.

Я это к чему вспомнил? Я когда эту бабу спросил про религию — кто такой чёрт на земле? Откуда? Она говорит что-то про небо, ерунду всякую, а я ей сказал, что самый большой чёрт на земле — это Гитлер. Он хуже дьявола. Так уничтожал людей! Как мух истреблял. Всем нациям досталось. Так что, говорю ей, твой чёрт книжный, а этот наяву был дьявол. Она говорит: интересно вы рассуждаете. Конечно, я же ничего не придумал, всё из жизни.

— Сiju я как-то дома, к вечеру дело, в квартиру позвонили, — сказал Зять. — Отвечая через дверь: «Картошки нам не надо». Знаешь, развозят, трудную копейку крестьяне складывают. А мне отвечают: «Отопритесь, пожалуйста, мы не злодейки, верующие мы». Голоса женские. Открыл. Стоят три женщины. Знаешь, такие, богомольные. В косыночках, юбки тёмные до пят, сандалии какие-то несуразные. Их сразу видно. И спрашивают: «Как вы думаете, добро победит зло?» Я вот до сих пор их вспоминаю.

— И что решил?

— День на день не сходится.

## Глава 14. В гостях у Деда

Дед был рад приходу Зятя. Печенье выставил, любимое, «Парное молочко» называется. Чайник вскоре закипел.

— А ты говорил, что свисток не работает, — сказал Зять.

— А вот видишь, заработал!

Чайник был новый. Предыдущий раскалился на плите, пока Дед обувь чинил, увлёкся, не услышал. Чайник стал тёмно-коричневым, эмаль с треском облетела, хрустела на зубах, как его ни мыли, да и вид уж больно туристический, костровой. Пришлось выбросить.

И Зять купил сферический, хромированный, со свистком.

— Совсем плохо у Деда со слухом стало, — подумал Зять и спросил: — Как дела?

— Слава богу, у нас всё в порядке. Ко мне вчера Хозяйка заезжала с Дидзисом. Посидели, кофе попили. Отдал ей фотографии. Те, что ты делал, с закрытия сезона. Очень тебя благодарила. Мы тут с ней однажды зашли в фотоателье, решили для себя сделать портрет, двойной. Чтобы втайне любоваться друг другом.

— А почему втайне?

— Не Дидзису же показывать. Пришли туда, нам говорят — двадцать четыре лага две цветные карточки. Мы развернулись и ушли. Откуда такие деньги.

— Мы когда у неё в гостях были, она встала, поцеловала тебя, и я всё понял! Вы же оба такие заводные, весёлые. Жизнелюбы — вот вы какие. Да ведь она же тебя любит, Дед! Я не мог ошибиться!

— Любовь от возраста не зависит! Я уже думал об этом. Ну, сколько я проживу? Хотя и одним днём жить тоже плохо.

— Как говорил гениальный Моцарт? Даже если осталось полчаса жизни, не поздно её переменить! Ты не подумай, что я — пацан, чему-то тебя учу, Дед. Но вот раньше ты мне рассказывал, а теперь я побывал у неё в гостях, на её поляне. И мне явилось откровение.

— Я когда приезжаю, она всегда накрывает необыкновенный стол и садится рядом. И так, заботится, звонит, спрашивает — как я тут? Она меня прежде на день рождения приглашала. Выпью пятьдесят грамм и домой. Жена тогда уже сильно болела.

— «И время над вами не властно»!

— Так получается. А Дидзис — это так, подстраховаться. Имущественный интерес. Но они мне крепко помогают! Они же мне как дети — по возрасту. Такое не каждый в жизни имеет! Прости меня. От тебя тайн нету. Тут приезжали недавно. Сумка, коробка. Ах, ты! Хозяйка! Люди... любовь! Солнце взойшло! Всё уважительно! Ну как не любить — навстречу! Расцеловался, а от неё, как от печки, такой жар изнутри нагнал! Веришь — аж... встал у меня!

— Видишь как — начинается с любви, а всё равно заканчивается имущественными делами, денежными. Может быть, правы те, кто говорит, что с этого надо начинать, чтобы в старости не было споров? А уж любовь и сама придёт к концу жизни. Вот что интересно!

— Она — из Риги собралась уезжать, меня пригласила помочь. Уже и фургон подогнан, люди собраны. Я ей говорю — не уезжай. Она вот до сейчас ещё мои слова вспоминает. А Дидзис хотел её посадить в фургон. Она отказалась, поехала с братом Дидзиса в легковой машине. Королева! Дидзис её не любит. И говорит ей, что не любит, да деваться некуда, вот что. Он сильно её домогался. И завлёл. А потом начал измываться. Пить, скандалить. До драки дело доходило.

— Может, ему стыдно, червяк его гложет, и он ушёл, когда мы приехали? Осенью, помнишь? Постеснялся и чеснок выдумал сажать?

— Чёрт его знает! Угрюмый бывает. Я приеду, тепло — стол на улице накрывается, под яблоней, а холодно, так дома. Сядем с ней рядышком, разговариваем. Он уйдёт куда-нибудь. А уж когда мы вместе были, она сердечко своё раскрыла. А налей-ка по полрюмочки!

— Она мне сказала, что Дед не позвал, пришлось за Дидзиса замуж идти!

— Так и сказала?

— Конечно! Я же не сам выдумал.

— Всё упущено! Таких женщин мало на земном шаре. Может, вообще одна. Вот я теперь голову ломаю — промолчать или намекнуть ей при встрече?

— Тут уж я тебе не советчик. Сердце своё послушай.

— Это она же тебе говорила. Скажет потом — Зять у тебя болтун.

— Ты меня-то не сдавай. Разговор заведи, а там дальше по обстановке. Пригласи в гости.

— Женщины ценят внимание. Скажет — вот, ждал меня. Порадуется.

Выпили по рюмке.

— Ты что, расстроился, Дед?

— Немножко расстроился. Получается, я её обидел. Невнимательно себя повёл. Хоть бы она намекнула, что ли. Мы бы тогда и жизнь по-другому вели, и... политику. Семейную. А что она его не любит, это факт. Сколько он ей говна сделал!

— Ты же знал!

— Так и что? Уводить буду?

— Они же были тогда не женаты.

— Так ведь они семьёй жили.

— Мало ли кто сейчас живёт в гражданском браке. Надо было спасать её, увозить от него. Вы же оба всей душой навстречу друг другу! Это же твой человек. Значит, ты должен был взять ситуацию под контроль и сказать — пошли со мной. Принять командование на себя! Остальное неизбежно!

— И дочка её ко мне хорошо относится, любит меня.

— А может, она и не зря приезжала из Америки? Ближний свет, расходы какие! Ты об этом-то не подумал? Перед тем, как принять окончательное решение, попросила дочку прилететь.

— Вполне возможно. Мы на эту тему никогда не говорили. Когда мы вместе с тобой были в гостях, я что-то почувствовал, а всё не получалось поговорить по душам.

— Может, и зря. Ты бы мигнул, я бы погулял по саду. Или меня раньше из Дублина позвал. Я бы мухой прилетел ради такого дела! Сказал бы — всем стоп! У меня жизненный вопрос! И мы бы поняли правильно!

— Эта глупость от возраста. Был бы моложе, я бы по-другому развернулся! Решительно! А теперь — старик! Астриса! Соседка! Ходит тут...

— О как она тебя пригвоздила! А ты и расслабился! Руки опустил. Может, она тебя тоже любит, только по-своему. Блины-оладьи ей печёшь, за кефиром бегаешь.

— Не знаю. Мы с ней по первости грызлись, как кошка с собакой. Сейчас придёт, сядет у телевизора. Я по дому разное справляю, носки стираю, ещё что-то. Она кричит, что ты там возишься, бросай, иди посиди рядом. Только сразу её предупредил — про политику ни слова! Чай пей, кипятка не жалко, но про политику мы расходимся! Она националистка, а я другой.

— Ты, Дед, со своими женщинами разберись! Легкомысленный образ жизни ведёшь! Если бы ей было всё равно, чего бы она сюда топталась в день по три раза?

— Я это чувствую, но вида не даю.

— При чём здесь политика, национализм? Ты мужчина, она женщина. И чего ещё надо?

— Да как это? Придёт и зудит на ухо — вот русские пришли, русские такие, русские сякие. Дёргает мне душу. Почему, говорит, ты столько лет живёшь в Латвии и язык не выучил? Насмотрится латышского телевизора, придёт, что твой дракон! Шипит, только что ядом не плюётся, и негодует. Дым коромыслом из носу, как из трубы зимой! Я говорю — когда мог, не надо было, а сейчас уже не смогу. И изучать не буду. Потому что вы русских не любите, почему я должен учить язык людей, которые меня не любят?

— Ну, вот они-то уважают, не уважают, а русский знают.

— Это кто постарше. Им без этого нельзя было никак. Молодые уже и губой не пошевелият на русском ответить.

— А русскоговорящие спокойно на латышском разговаривают.

— У них и закваска другая, и жизнь другая. Это всё сделано правительством. Они друг перед другом выкомариваются, политики, кто из всех латышей самый-самый латыш. Вот они этим самым разделяют и командуют через власть. Гнусное дело!

— Они себя ощущают как в крепости. Со всех сторон окружили, и надо спасать самое дорогое — язык. Только вот хочу напомнить — русская интеллигенция подписала в девятнадцатом веке петицию царю, чтобы здесь ограничили применение немецкого языка, а на первые позиции выдвинули латышский. Спасали язык! И за триста лет царского присутствия ничего с ним не стало. Наоборот!

— Я на это не посягаю, но если меня уважают, и я буду уважать.

— Нас, помню, похватали, кого поймали, в эшелон — и на ликвидацию последствий. Пятую графу не уточняли. Мы сразу в зону поехали, в Чернобыль. И радиологи наши, кто хоть что-то знал, Гунарс, Вайрис, Гунтис... пока ехали трое суток, чему-то научили, с дозиметрическим прибором работать. От этого жизнь зависела. И смерть, между прочим. Выжили, слава богу.



— А я всё думаю, как приглашу Хозяйку, как она обрадуется! Я сейчас как в волшебное зеркало смотрю — вот она лезет в подвал, вынимает варенье, солёные, вино. Собирает мне гостинцы в корзинку. Только главный гостинец — она сама. Ты понимаешь!

— Я вот что подумал. Если эта женщина так о тебе печётся, волнуется, гостинцы возит — и как ты не понял, что она к тебе неравнодушна?

— Да, конечно, заметил, но что я могу сделать? Мы вот меняемся продуктами.

— И ты решил — ничего личного! Только обмен. Бартер, так сказать!

— Расцелуемся при встрече-расставании. У неё такая ласка ко мне. И только — вот покушай это, вот покушай то. Я ей говорю — не лошадь же, столько съест. И сидит рядом, как за ребёнком, следит за мной.

— Ты-то понимаешь, что есть искра между вами? Человеческая.

— Кане-е-е-шна! Как без искры! Тут ко мне одна лезла, вдова знакомого сапожника. И даже открыто об этом говорила. Я ей ответил — у меня есть квартира, у тебя есть квартира, но не в этом дело. Дело в человеке. В любви. Вот я лягу с тобой, и мурашки по спине не побегут от радости, я же тебя не люблю, и как нам после этого сладость найти в таком существовании? А зачем это всё тогда? Женщина сильно может обидеться, если мужчина ей пренебрегает, а когда сделает своё мужское дело — она как шёлк!

— Никто ничего нового не придумал!

— Всё как прежде осталось — природа науку одолевает!

— Кто-то не чужой, тёплый должен тебя погладить, сказать хорошее слово, которое никто не скажет больше, улыбнуться. Что за радость тискать силиконовые титки? Ботокс сплошной на морде? Куши уж тогда куклу резиновую! И кто от этой резины родится? Гуттаперчевые, беспольные дети?

— Нормальное уродится только лишь от нормального. Я с другими на эту тему и не говорю.

— Почему?

— Скажут — ты дурак! Старый дурак! С Астрисой заговорил, а она говорит — ты дурак! Ну? Педагог!

— Пророков не все понимают, а им ведомы вещи запредельные и простые в своей важности. Суетливые, пустые люди гонятся за какой-то мишурой второстепенной.

— Русский человек терпеливый до невозможности. Отдаст последнее, простит, если ты человек и по-человечески с ним. Зато потом не остановить! Ты вот это пойми, не заводи ситуацию в густой туман, в пургу. А я кое-что видел. И в тыл ходил за линию фронта, и эшелоны под откос пускал, которые в Сталинград шли. Мне же и медаль была дадена — «За оборону Сталинграда», партизану! И рядом со знаменем части сфотографирован. Старшина был из Башкирии, справедливый, душевный, старше нас. Шалимов! А друг — брянский, Иван Палыч. Орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги». Я был командир отделения, сержант. У меня было три таджика в отделении. Страшно ненавидели свинину. Но такие проворные. Чего только не доставали. Даже водку. Откуда? Баранину, медвежатину. Принесут тихаря. Вечером, после отбоя. Так все разбрелись они по свету кто куда. Сослуживцы мои. Демобилизовались мы тогда, на корабле «Балхаш» вывезли нас с Камчатки. Во Владивосток. Нас шесть человек с одного подразделения. У меня уж восемь лет военного стажа, как ушёл в партизаны, так всё и воюю, воюю. Устал до смертного обморока. А зима тогда была крепкая. Морозы страшные, декабрь. Шинелишки старые, что решето, прожжённые, курые. И товарняк продувной. До Хабаровска дотянули, я собрал деньги, пятьсот рублей, пошёл к начальнику вокзала. На стол хлоп эти деньги. И в поезд «Владивосток–Москва» шесть билетов сразу же получил. В Риге снег по колено, мороз! Я к сестре. Она дворником работала. Она говорит — ничего, я тебя пропишу. У меня справка партизанская, документы в порядке, сразу прописали. Соседнего участка дворничиха помогла устроиться на работу, на ВЭФ. Всё сразу и получилось...

Приняли меня учеником на производство. Резчиком, всякие детали изготавливать. Люди вокруг, знакомимся. Кто-то улыбается, кто-то сторонится. Совсем немного времени прошло — один повесился, ещё один повесился. Оказалось, пособники эсэсовцев. Когда выгнали немцев, остальные разбежались кто куда. А НКВД их нащупало, и они испугались кары, повесились. На резке я поработал немного. Начальник вызывает, говорит, переводим тебя на штамповку. А это уже повышение, и зарплата больше, но работа легче. Через короткое время опять вызывают, переводят на другой участок. Учеником слесаря-инструментальщика. Он мне ничего не показывает, говорит — посиди, сам вначале подумай, как это сложить, помозуй, как лучше сделать. Я это потом оценил, правильно он делал. Часами голову ломал сидел — штамп должен рубить, а не рубит. Почему? И так втянувшись, интересно стало. Бригадир вскоре говорит — он по уровню меня обошёл! Не зря я пыхтел.

Начальник цеха приходит, Новиковский. Мастер участка умер, и меня на его место. Как я упирался: тут ответственность такая! Иёх ты! Ничего, говорит, ты справишься! А директор завода, Гайлис, прекрасный человек. Не хватает рефлекторов, говорит, катастрофа! Предлагают мне это делать, хотя бы временно. Но я такой человек, если встал, то должен сделать как надо. Участок работал в три смены. Мастер один. Чтобы круглые сутки не торчать на работе, я должен задание давать двум другим сменам. И вроде бы пошло, наладилось. И до чего я поработался, что рефлекторов стало в избытке, некуда девать.

Работу наладил, но столько времени там, в цеху, нахожусь. Прихожу поздно домой, а уже семья, дочка маленькая. В пять утра встаю, в семь уже на заводе — и до десяти вечера, пока другой смене всё растолкуешь. И проверить, что две смены сделали. Настаиваю — надо меня заменять, я задание выполнил, хватит, подбирайте человека, сколько можно так работать. Нет, отвечает начальник цеха. Ты очень ценный работник, все задания до ума доведёшь, всё производство. И тогда меня с четвёртого цеха в девяностый. Новый корпус отстроили. Огромный, светлый.

Другая технология, и я это всё должен был освоить. А производство-то идёт своим ходом, не остановить. Надо на ходу учиться, от и до овладеть. Приходил опять пораньше, мои ещё спят дома, а я, мышкой, бегом на завод.

Начал пить! Никому ничего не говоря, прихожу, «галошу», спирт технический, приносятся из седьмого цеха — и давай! Вонючая, противная дрянь, а пил! Как не сдох? Вдруг приказ! И что там, до сих пор не знаю. Начальник цеха, лучший друг был, такой приказ издал, уволить.

И меня сняли, а приказ не показывают. Сняли и сняли. И всё. А жену все спрашивают — за что его так наказали? Такого пахаря! Она и сама не знает. Какой-то страшной силы приказ поступил.

Начальник цеха переводит меня слесарем-инструментальщиком пятого разряда. И я, дурак, согласился, хотя мог спокойно работать по шестому разряду. Я промолчал тогда. Начал спокойно работать. Работа нравится, дело знакомое, по расписанию, не надрываюсь, как лошадь. И деньги хорошие зарабатываю.

Вдруг он меня домой в гости пригласил. Который приказом со мной разделался. Прихожу, а там его друг сидит лучший, с детства они дружили.

Я, говорит, на тебя надеюсь, что ты меня не подведёшь. У меня сложилась одна идея, и возможность для этого есть, только нужна твоя подпись. Что я был в партизанах с такого-то по такое-то, в Ленинградской области. Подтвердить. И бумажку подтискивает. А он же там и близко не был! Я говорю: знаешь что, этого сделать не могу. Почему? Во-первых, я воевал в десятой бригаде, Калининской, а тут Ленинградская. Это же документ. Если комиссия, меня на виселицу поволокут. Ты что!

Пришёл домой, расстроенный совершенно. Жена, царствие ей небесное, спрашивает, что случилось. Я рассказываю — так и так. Она говорит — правильно сделал! Шкурам этим поддаваться нельзя. Она же честный человек. Прямой.

— Это когда ты с синяком пришёл, всклокоченный?

— Нет! Не помню, вроде бы не цапались тогда.

— Ты рассказывал, что с тобой работал какой-то хмырь, гимнастёрки гладил в Ташкенте. Помнишь? У которого орден Отечественной войны первой степени, а у тебя второй, потому что не ранило тебя ни разу. Так вот он предложил сделать тебе тоже орден первой степени. Как и себе, за деньги. Ты на него накинулся. И вы подрались.

— Уж и не помню вовсе! Забыл. Да и ладно об этом. Сейчас уже нет той злости. А тогда этот начальник цеха нашёл какого-то человека, как уж они сладили, не знаю, подписали его бумажки. И дали ему «Запорожец». Поганому чёрту!

Потом он умер. И Бог с ним. Провожали его во Дворце культуры. Гроб установили для прощаний. Всё в красной материи. Я не пошёл, жену послал, а сам не пошёл. Вдова спрашивает — а где твой-то? Моя чего-то там придумала, отговорила. Я сейчас не вспомню, женщина, знаешь. А я сказал себе: пошёл он на х.., чтоб я его поминал, паразита. Хотя и мёртвый, чего уж. От гад был. Приклеился к участникам войны. Гадина! Я в этом деле строгий! Если голодный, дам хлеба, неважно, кто ты, а вот это не трогай!

Так он и ушёл, начальник мой, помёр. Как ни ставил себя высоко! А я не такой. Стою на линии и буду стоять! Враг не придёт. А война ещё и не думает заканчиваться. Вон как — полыхает с разных углов!

— Ты такие вещи говоришь, простые, но запредельно важные. Мне с тобой очень интересно. Как с ровесником.

— Тут как-то приходили перед праздником фотографы. Расспрашивают — где ты был, что ты? Я, говорю, много не сделал, не самый главный был, но за один важный эшелон, с живой силой врага, могу честно доложить. Это же не то, что ты с винтовки убил кого-то, там столько было жертв. Долго выбирали место, прикидывали. И шас — под откос их шуранули! Пятнадцать вагонов. Потом донесли, что на Курскую дугу скрытно гнали тот эшелон. Сколько же людей мы оберегли!

Рельсы подрывали, мосты. Ребята в засаде, у меня сорок килограмм взрывчатки, я под мост. За линию фронта ходили за боеприпасами, взрывчаткой.

«Языка» брали. Про это в газете написали.

А кого схватим? Чёрт его знает. Лотерея. Нам разведка доложила — в Кузнецовке, пять километров от Себежа, будут пьянствовать немцы, деньги получили. Приходите во столько-то часов. И как раз удачно: последний дом, дальше огороды, лес. И спрятаться можно, и подойти скрытно.

И вот мы подошли к пяти, по лесу подошли. И себежские ребята, агентурная разведка, машут рукой — пока нету гостей. Мы затаились, трава высокая, июль. Как и нет войны, такая благодать. Смотрим, заходят трое. Все в немецкой форме. Хорошо! Надо подождать, пока подопьют, разгуляются. Через полчаса наш человек вышел, машет — пора. И мы сразу в двери. «Хэнде хох»! Один сидел в углу, другой посередине, возле окна. Потом оказалось, что один из них — чех, мастер на железной дороге. Другой — комендант Кузнецовки. И полицей. Я вышел, встал у окна — мало ли что, прикрыть. Слышу выстрел. Это недаром, думаю, что-то там случилось.

Оказывается, у нашего Кирьякова снято было с предохранителя, и когда они от стола дёрнулись навстречу, сразу коменданта напавал. А полицей и чех руки подняли. Часовой ничего не услышал. Хозяйке сказали, минут через десять кричи — караул, партизаны. В лес их поволокли, а там уже подвода стояла у нас. И вперёд, выноси, лошадка, не ленись. Сорок километров до бригады.

На второй день вызвали самолёт, чеха в Москву. Полиция допросила — и на берёзу.

Это всё было.

Так что могу сказать, какую-то долю в победу внёс. Ниточку в ленточку. Совсем чуть, а мне не стыдно! Медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне» наградили, думаю, за дело.

— Как у меня к тебе душа прикипела, Дед! Родной ты мой человек!

— И ты знай, ещё не родился такой человек, которого бы я так любил, как тебя. И внуку, и правнучку! Всю родню. Но вот про Хозяйку ты меня расстроил

вообще-то. Она мне никогда такие вещи не говорила. Мы бы с ней жили, как короли. И дача была бы, и квартира. Хотя главное — уважение! Вот что!

— Ты же мужчина, должен был догадаться.

— А Дидзис мне заявил — есть у меня отец, но ты мне дороже отца. Душа если тянется навстречу, при чём здесь национальность? Я не понимал раньше. На свадьбе внучки понял, какие прекрасные люди — родня. Главное, он её любит, а это прекрасно! И она его любит. Что ещё надо? И семья будет счастлива. Без любви счастья нет. Одна видимость и морока. Простые люди вообще должны друг другу помогать.

— А кто правительство выбрал? Эти же люди и выбрали.

— Оболванили и обманули. Вот и всё. Впервой, что ли? Теперь только граждане начали просыпаться. Думали, новый Сейм будет лучше! Ничего подобного! Ещё хуже. Скверная жизнь. Потому что временщики у власти, хапуги. И весь мир покатился в развал. Во многих странах. Отчуждают людей друг от друга, злобу насаждают.

— Только скажи об этом, сразу же тебе предложат «чемодан—вокзал—Россия».

— Свободы хотели, не удалось. Вот и злые.

— На судьбу обижены свою. Поэтому они друг друга ненавидят. Про любовь не вспоминают. Я же люблю всех! И латышей, только хороших. Мы же в партизанах встречались. Воевали против фашиста вместе. Потом они в Латвию ушли. Вот их сейчас ловят, судят. У них же дети, внуки, наверное, есть. А их позорят на весь мир, бесстыдники.

— А ты бывал в Латвии в то время?

— Однажды. Делали попытку подорвать железную дорогу в районе Зилупе. Фашисты уже установили латвийскую границу, охраняли её. Скрытно мы пробрались. Пришли в деревеньку. Группа подрывников наша и отрядная разведка. Нам дали еды, сами принесли. Пока ели, видно, они позвонили — смотрим, полиция приближается. Погоня! В районе Себежа оторвались от них, отстрелялись — и в родные леса. Потом была вылазка ещё. В тех же местах. Зимой на сорок третий год. Пост на границе фашистский ликвидировали. На хутор пробрались. Большой, забором обнесённый, хозяйство крепкое. Постучали в окно. Хозяин выходит. Что вам надо, ребята? Мяса надо. Завёл нас в сарай. Там свиной штурк десяти. Говорит, только жеребца не троньте, а свинью берите любую. Выбрали большую, пристрелили. Как везти? Попросили лошадь, сани. Добром попросили, спокойно. Дал. Кирьяков упёрся — возьму жеребца! А я предвидел, что будет беда. Говорю, на свою голову накличешь! Нет, он слез верхом, радуется. Быстро мы через границу, в отряд. Командир дово-о-о-лен! Молодцы, говорит. А вот жеребца надо кормить — чем, где тут что? Зима, болото, ржёт он на весь лес, слышно далеко! Эх! Сейчас же убирай, говорит командир! Иначе выдаст нас — фашистам! Что делать? В сторонку, пулю в лоб! Ах ты ж... Красивый жеребец! Конину тогда ещё не ели, позже стали есть, в сорок четвёртом году. А как просил хозяин! Нет, этот дурак упёрся! А того не понимает, что у хозяина заноза на всю жизнь в душе. И детям расскажет. Вот как они все будут относиться к нам? Из поколения в поколение. Единичный случай, а как им можно воспользоваться для раздора!

Обнялись с Дедом, распростились.

Полетел Зять в Дублин на все новогодние праздники.

## **Глава 15. Беда**

Из Дублина Зять прилетел в субботу.

Февраль выдался морозный, снежный. В дорогу Жена с дочерью приодели теплее. Толстый красный шарф, перчатки в тон, шерстяные гетры до колен под джинсами, кепка на подкладке, куртка с капюшоном.

С собой была лишь ручная кладь. Он быстро вышел на площадь перед аэропортом. Увидел, как съезжает вниз к остановке автобус, поспешил. Успел. Всё произошло быстро, холод лишь коротко почувствовал. Отдышался в салоне,

сильно вспотел. Наблюдал, как семенит молодая женщина к остановке, с сумкой в одной руке, второй тянет за руку мальчишку лет пяти. Водитель тоже наблюдал, ждал, не проявляя эмоций.

Автобус плавно тронулся. Женщина долго не могла говорить, отдышалась, несколько раз сказала «спасибо», волосы каштановые под чёрную шапочку, похожую на шлем, подтискивала, поправляла.

Водитель молча отвернулся к окну.

Пассажиры только начали выходить из здания вокзала.

Автобус, почти пустой, ехал медленно мимо высоких снежных отвалов вдоль дороги. Локатор на холме круглой сетчатой антенной кивал вверх-вниз. Словно приветствовал приезжих. Вдалеке тёмно-зелёными хаотичными штрихами на белоснежном листе поля — густой лес. Потом пошли офисы известных фирм, заправки, выехали на Юрмальскую трассу и вскоре углубились в город.

Зять вдруг понял, что стало ему сейчас спокойно, он в своём городе. В полёте ощущал некоторое волнение, хотя летал часто и отношение к самолёту стало, как к маршрутному трамваю.

Дома его ждал Дед.

Не виделись всего-то два месяца, а были рады друг другу. Перезванивались, обменивались короткой информацией, поздравлениями к Новому году.

— Цветы политы, почта на столике, всю собрал, — доложил Дед.

— Пост сдал, пост принял! — засмеялся Зять. — Спасибо.

Сели пить чай на кухне.

Дед купил сыр, колбасу, масло, белый батон. Огурчики солёные принёс. По три малюсеньких рюмки выпили. Зять выставил, прикупил бутылочку по дороге.

— Морозы нынче в Риге небывалые. Двадцать пять градусов!

— Мне дочка Хозяйки две куртки прислала с Америки. Ты представляешь! — похвастался Дед. — Добротные, к зиме. Хозяйка плачет — дочка далеко, хотя и звонит часто.

— Вот видишь, тебя все любят! Живи нам на радость сто лет! Я тебе свитер привёз тёплый, куртку возьмёшь, пуховик, в шкафу висит без дела, как раз тебе подойдёт, тёплая. Я слегка поправился, на пузе не сойдётся.

— А что ты думаешь, я не плачу. Радуюсь людям. Так и передай доченьке — живу, не бедствую. В войну выжил и сейчас не тужу. Я тут перед твоим прилётом книжечку почитывал. Ошо, «О женщинах». Вот кто украшает землю — женщины. Они же носят девять месяцев, рожают, мучаются, воспитывают, дома всё делают. Мужчинам — только деньги зарабатывать.

— Ещё какой муж, другой и не работает, дома сидит, как чирей на жопе, сигаретки покуривает.

— Мужчины этого не понимают, особенно восточные. Хотя я их веры толком не знаю. Буду читать эту книжку. «В окопах Сталинграда» только что закончил. Как там солдат бомбили-рубил. С ума сходили от войны. Эшелоны раненых увозили. Я когда был в Мытищах, в учёбке, готовили нас на самоходные артиллерийские установки, все госпитали забиты были, из Сталинграда везли. Какая там была мясорубка! Безумие!

— Книга Виктора Некрасова в Англии сейчас в первой тройке по тиражам.

— Потому что правда. Сам выжил чудом и написал правду.

— За правду и пострадал, власти травили, предателем называли. Ты-то войну видел, тебя не надуришь!

— Самострелы были. В ладошку, чтобы в тыл попасть, в госпиталь. Но надо было знать, через что и как!

— Такие всегда были. У нас что придумали, в Чернобыле. Индивидуальную дозу радиации как учитывали? В лагере известно, сколько и какая, а кто в зону едет, фиксируют, потом эта разница и есть твоя доза за сутки. Датчики давали тем, кто едет в зону. Там знали, какие где уровни примерно. Нагоняли, как температуру на градуснике, чтобы в школу не идти. побыстрее чтобы заменили, дозу искусственно увеличивали. Суммарно к двадцати рентгенам —

и начинали готовить к замене. Но не больше двадцати пяти рентген, иначе командира под суд. Это вот что — самострел? Я-то этим не занимался, мне и так хватило, чтоб за три месяца нуклидами обожраться. Да и узнал уже много позже про эти опыты.

— Опасное дело. Режим военного времени. Пуля в лоб без суда и следствия. А ведь не боялись. Один страх другой пересиливал.

— Приезжал к нам такой полковник, вызовет, на стол положит стопку сто-рублёвок новеньких, с банка, и говорит: «Утром полезешь, вечером поедешь». Имеется в виду, на крышу четвёртого блока. Циркониевые трубки от топливных элементов, оболочки стержней, страшно радиоактивные, надо было с крыши скидывать вниз, вывезти, захоронить. Роботы японские глохли, ломались из-за радиации, а людей в свинцовые туники оденут, кольчужки такие, несколько минут бегом, в респираторах, с лопатой наперевес. Всё! Наелся! И сразу домой. Мягкие кости приводит в порядок. Это что?

— Самоубийство! Вот что!

— Только польза разная. Себе во благо или стране?

— Дак всё одно — погибель! Война всё спишет!

— Слова разные. А когда ты один, больной, сам себе скажешь, что героически пострадал, станет ли тебе легче переносить страдания, помирять с этими мыслями? Боль — она не спрашивает. Гасит всё и всех без разбора!

— Люди разные, психика разная. Не все выдерживают напряжение.

— И вот он ходит, полковник, смущает, искушает деньгами. А были двое дезертиров, получили по два года. Двое повесились, один утонул при странных обстоятельствах. Конечно, когда бомбы дурные не летят на голову, куда попало не падают, совсем по-другому. Тут враг тихий, потаённый. Вот в тишине нервы и пошаливали, скручивались в верёвочку, в петлю.

— Ладно, не будем о грустном. Я тебя два месяца не видел, соскучился.

— А мне скучать некогда было. Утром проснёшься рано, слушаешь, как там ввученька. Она же каждое утро другая просыпается, взрослее. У меня ушки на макушке, жду, когда позовёт: «Деда». Умываться, завтракать, гулять. Потом книжки, музыка. Романы очень ей нравятся. Старинные русские. Танцуем, поём, обедаем, перед сном сказку читаю — и спать! Дни проносятся, как ураган. Пока нас нет, бабушка гладит, прибирается. Никогда не сидит без дела. Молодец. Внучка спит часа два-три днём. В школе устаёт, они там друг от друга устают. Энергии через край. Если не спит, что-то рассказывает любимому зайцу, песни поёт. Не ругаю. Нельзя ругать. Надо больше разговаривать. Ребята с работы возвращаются, садимся за общий стол, свечи зажигаем. Хорошо! Тут как-то вечером внучка говорит: «За столом разговаривать неприлично». Ну, что ты скажешь?! Что-то я разговорился! По рюмочке?

— Всё, по последней. Водка хорошая, но на сегодня хватит.

— Россия делает. Россия знает, как водку делать на экспорт. Своих травит, а на экспорт хорошую. И скидки, акция. Как не взять! Искушают наши неокрепшие души!

— В такой мороз лишний раз не побегаешь в магазин.

— Помнишь песню? «Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют, и мне весело!»

— Я вот думаю: пока у нас всё хорошо, а как оно дальше будет? Жизнь тяжёлая, загадочная. Но мы держимся! Внучка с мужем привыкли уже там, в Ирландии?

— Муж её скоро десять лет как там, а она — восемь. К хорошему-то легче привыкать, скорее, да ещё и по молодости. Это плохое терпишь по необходимости.

— Ирландия всё-таки не Америка, не так далеко. Это Хозяйкина дочь — проехала всю Америку и надо же, на берегу Тихого океана обосновалась. Пятнадцать часов лететь из Москвы, кошмар. С пересадкой в Нью-Йорке. Летишь и думаешь: вода кругом, что тебя ждёт?

— Зря не искушай! Одному Богу известно, что там нас ждёт.

Потом в большой комнате, «библиотеке», так её назвал Зять из-за обилия полок с книжками, присели к журнальному столику, фотографии смотрели. Лэптоп светился цветным экраном.

Дед радовался, смеялся. Заторопился домой, но Зять его уговорил остаться, напугал сильным морозом. И куда на ночь глядя спешить? Кто там ждёт?

Это и спасло Деда, как оказалось позже.

— Вот, отдохай. Живи хоть неделю, хоть три. Сколько хочешь, столько и живи, не в тягость.

— Наелся, как нищий на поминках! Да я уж день-деньской наотдыхался. Приехал пораньше. За тебя переживал. Знаешь, в воздухе всякое бывает. Всё в окна поглядывал, а тут ты звонишь в двери! Как, когда проскочил мимо меня?

Дед смотрел телевизор, Зять пошёл на кухню, прибрался, вымыл посуду, и, когда вернулся, Дед уже крепко, беззвучно спал, рот приоткрыл.

Накрыл пледом, телевизор смотрел вполглаза.

Дед проснулся.

— Ты что, спать не собираешься?

— Два часа разницы, в Дублине ещё только вечер, сон, режим другой. Пока привыкну. Давай-ка я тебе нормально постелю, разденся, отдохай.

Зять постелил простыню, одеялом Деда накрыл. Ушёл в спальню.

В третьем часу ночи Зять ещё не спал и тревожный шум услышал сразу. Дед пытался подняться с постели, беспомощно заваливался, словно черепаха, на спину. Зять подхватил его под руки, донёс до туалета, однако сам Дед ничего сделать не смог. Пришлось помогать. Снять трусы, усадить на унитаз. Потом всё проделать в обратном порядке.

Отнёс Деда, был он не очень тяжёлый. Только сильно костлявый, нескладный. Уложил на диван, стал расспрашивать. Речь Деда была нормальная, но вся правая сторона не слушалась. Рука висела как плеть, нога волочилась по полу.

— Подозреваю у тебя инсульт. Я когда в двадцать девятом отделении, чернобыльском, лежал, в клинике, поймал соседа по палате. Сидел он возле тумбочки и как-то сразу обмяк, стал заваливаться, едва успел его подхватить. Сестричку вызвали, доктора прибежали. Сказали, что очень вовремя его поймал, потому что могли быть тяжёлые последствия. У меня опыт есть, я вижу. Давай-ка вызову «скорую». И не спорь!

Дед отказывался, просил позвонить мужу Племянницы, чтобы тот отвёз его домой.

Дед лет семь вообще к врачам не обращался, и сейчас было страшно даже подумать о том, чтобы вызвать «скорую».

— И что ты один будешь делать дома?

Пока спорили, наступило бледное утро.

— От меня, верно, водкой тянет. Рюмку хлопнул, а перегар сильный. Надо бы зубы почистить.

Зять снова отнёс Деда в ванную. Тот встал на колени на коврик, прислонился к краю ванны, обмяк бессильно, стал заваливаться. Зять поелозил щёткой в полупустом провале рта, сполоснул Деду лицо водой, вытер полотенцем.

«Скорая» приехала мгновенно, словно за углом стояли и ждали только звонка.

Деда осмотрел молодой врач. Сказал, что это инсульт. Перепады давления скаываются, и очень много вызовов сегодня.

Свитер пригнулся на молнии, с вечера подаренный, не надо через голову надевать. Посадили на каталку. Ремнём пристегнули. Ноги в тёплых домашних тапках.

Дед жестами показал, чтобы книжку Ошо взяли, «О женщинах», попросил положить её в карман.

В лифте отправили вниз. Сопровождали врач и санитар. Зять бегом спустился с седьмого этажа. Как раз вовремя, помог водителю загрузить Деда в машину.

Зять сел рядом, что-то говорил, успокаивал. Потом замолчал, сидел, всматривался в родное лицо, чуть-чуть улыбался ободряюще и молился про себя:

— Господи! Продли дни этому человеку. Всё, что в моих силах, я сделаю. Я точно знаю, что смогу и обиходить, и стоговить, проследить за лечением. Всё остальное сейчас неважно, второстепенно. Мне необходим жизненно этот стартерный старик, с таким страшным детством, юностью в разгар военных кошмаров, в разруху. Ведь он отец моей жены, любимой жены. Он раньше меня полюбил и вырастил эту девочку. И как мне не любить его только за это! Мой отец умер рано, с Дедом я всё время рядом. Половина прожитой мною жизни. Он стал для меня и отцом, и братом, и другом. Что меня притягивало к нему? Он свободный человек, вот что. И был им всегда. Даже тогда, когда вступил в ряды КПСС. Просто воспринял как небольшое неудобство, но никак не заморачивался на этом. Неискушённость почти детская. Он любит жизнь, верит в простые, надёжные истины, прочные вещи, доверяет понятию «совесть». Не признаёт интриги, коварства, хитрости, приспособленчества. Не ловчил, не лгал, не лжесвидетельствовал. При всей сложности жизни во времена культа личности.

Он никогда не учил, не раздражался, не надоедал нотациями. Оставлял возможность додумать, подвести к тому, что решение принято без его участия, а если что-то нравилось, улыбался, говорил: «А вот это правильно!» И радовался вместе со мной. Мне повезло! Я жил рядом с этим замечательным человеком и сейчас прошу: Господи, не оставляй меня одного, отпусти его. Это так важно для всех, кто его знает и любит. И близких, и дальних, и всех, кому повезло быть на орбите простого, мудрого, искреннего человека, лишённого сиюминутной глупости, суёты, пустословия, тщеславия. С любовью к женщине, к миру.

С возрастом всё меньше, а возможно, уже и нет вовсе заботы о половом, когда «мужчина — женщина» остаётся лишь по признакам внешним, высвобождая энергию страсти, и проявляется тогда истинное состояние любви ко всему человечеству, сострадание. Это становится реальностью, а все проповеди любви, которые звучали до этого, — лишь слова. И всякий ли поймёт это, осознает и возрадуется такой перемене? Это и есть высшая мудрость, то, над чем душа, может быть, трудилась всю жизнь, это есть главная радость в жизни, а не поиск чего-то, называемого трудно объяснимым словом — «счастье». Не создан человек для счастья. Неуловимо оно и мгновенно заканчивается. И не зря в Библии нет такого слова, а есть лишь понятие «полученная радость». Многое в природе произрастает по разумению естества, программы, заложенной изначально. Человеку свойственны мечты, иллюзии, заблуждения на этом призрачном пути. Поиску божественного в себе мешают наша воля, амбиции и избыток неразумной энергии. Да и обычная глупость. Это омрачает разум, отравляет жизнь.

Не забирай, не отбирай его у нас. Продли его дни, Господи!

Зять ещё что-то лихорадочно додумывал, слова возникали в памяти то тревожные, то восторженные до слёз. Поймал себя на том, что говорит — «был, было». Обручал себя, но продолжал творить молча свою бессвязную, горячую молитву и надеялся, что всё обойдётся благополучно.

Дед смотрел на Зятя. В глазах не было страха. Была тревога неизвестности и решимость человека, привыкшего к трудностям.

Зять знал, что Дед понял его мысли.

В приёмном покое Деда тотчас же подключили к системе, поставили капельницу. Сказали, что оформление займёт никак не меньше четырёх-шести часов. Предварительный диагноз — инсульт. Похвалили за своевременный вызов: тут каждая секунда дорога.

— Жёночка моя тут умерла, — тихо сказал Дед, — привезли с сильной аритмией, а оказался рак. Так уже домой и не вернулась.

— Ты об этом не думай! — успокаивал Деда Зять. — Всё обойдётся. Зря я тебя слушал, надо было сразу же вызвать «скорую», а не устраивать полемику.

Пришёл толстый охранник с сонными глазами сытого сома, вежливо, но настойчиво выпроводил Зятя в холл.

Зять сбегал в супермаркет напротив, купил мыло, мыльницу, зубную щётку, пасту, минералку. Передал пакет через охранника Деду. Тот всё ещё был в приёмном покое, лежал в стороне, кровать на колёсиках, капельница рядом.



Вышел в небольшой холл. Вдруг осознал, что всё время, пока он здесь, разговор шёл на фоне постоянного воя сирен, тревожного мельтешения синих мигалок. Машины «скорой» и «неотложки» беспрестанно отъезжали, подъезжали, привозили новых больных.

В холле было много грустных людей. Сидели, понурившись, вдоль стенки.

За окном мороз. Двадцать два градуса. Совсем немного потеплело с ночи.

— А в Дубине плюс три. Первые сутки ещё не закончились, как я оттуда. Явно прыгает атмосферное давление. Хорошо бы что-нибудь принять. Всё осталось дома, собирались, как с пожара эвакуировались.

Шумел шкаф-автомат с напитками. На экране под потолком дёргались эстрадные исполнители, мечтали возглавить первую строчку хит-парада.

Репортаж с другой планеты.

В подсобку секьюрити принесли обед в разовой расфасовке. Запахло казённой едой, возбуждающе остро и тошно одновременно.

Зять начало мутить от голода, но очень хотелось спать. Сколько он поспал за ночь? Час, полтора?

Он задремал. Рядом уселась странноватая тётка в сиреновом берете. Лохматая серая шуба, словно пошитая из неведомого искусственного зверя. Со множеством подробностей рассказывала по мобильнику, что знакомую выселяют из квартиры за неуплату коммунальных, а у неё завелась мышь, и она кормит её сыром, разговаривает, не хочет оставлять одну. Потом неожиданно заплакала, сказала, что у Яши инфаркт, он в реанимации и надо готовиться к самому худшему. И всё остальное глупости несусветные по сравнению с этим.

Зять ощутил тупую отрешённость, вялость, озноб и усталость. Он выпил горячий шоколад, чтобы согреться. И пожалел. Маленький, ненадёжный стаканчик прогибался под пальцами, обжигал руку. Приторный, клейкий, излишне ароматный напиток бурого цвета бодрости не прибавил, вызвал желание выпить стакан обычной воды, но покупать бутылку минералки в автомате не хотелось, куда её потом девать?

Он взял в справочном номер контактного телефона, вышел на улицу. Морозный воздух освежил лицо. Вдохнул глубоко. Придремал в автобусе. Дома ничего делать не мог, поглядывал на часы, переходил от окна к окну. Побрился, чтобы чем-то себя занять, убить время.

Не выдержал, позвонил. Сказали, что Дед в шестом, insultном отделении, в четвёртой палате, и самое страшное вроде бы миновало.

Зять выпил большую кружку крепкого кофе, кушать не стал и поспешил в клинику.

*(Окончание следует)*

## Денис Каменщиков

### Тринадцать бьёт...

\*\*\*

...мама вдруг приснилась...  
— Мама, ты в раю?  
рай под сапогами  
баюшки-баю  
— Мама, ты не мёрзнешь?  
— Засыпай быстрее...  
рай — он под ногами наших матерей

\*\*\*

*Андрею Кулику*

тринадцать бьёт, и щурится Клинт Иствуд,  
перезаряжая револьвер,  
метель, туман, кружатся злые птицы,  
торчит на перекрёстке гондольер — вода ушла,  
остались только лица Герасимом утопленных лисят,  
и можно замереть, не суетиться —  
часы урчат —  
пробило пятьдесят

\*\*\*

Я скажу: «Не надо, Рая!»

Никита Киоссе ушёл из MBAND и купил киоск,  
торгует просроченным спиртом и шаурмой,  
хотел торговать шавермой, но не срослось,  
и каждый вечер пешком он идёт домой —  
в Рязани туман, словно в Лондоне, — тишь да гладь,  
фанатки не докучают — теперь дуэт,  
любимая selfie-палка закинута за комод,

---

Денис Каменщиков — радиоведущий, поэт, журналист. Стихи и проза печатались в журнале «Урал» и нескольких коллективных сборниках. Живёт и работает в Екатеринбурге.

на вызов «Меладзе-старший» стоит запрет,  
да старый iPhone и так не горазд звенеть —  
никто не зовёт в Барвиху и на Пхукет,  
его телефон в разделе «доставка» в любой из газет,  
и он опять шаурмой набивает бумажный пакет,  
его мотороллер чихает и барахлит,  
но надо доставить еду — чаевых срубить,  
хотя этот перец опять ему нахамит,  
а это ведь он хотел ему нагрубить...

\*\*\*

сидя на берегу лужи — в семидесяти километрах примерно всего от моря —  
всё чаще думаешь о пиратах, шпагах, парусах,  
о пряжках на пиратских сапогах-ботфортах,  
о пряжках на перевязях, перечёркивающих грудь пиратов,  
о ножах и пистолях, засунутых за ремни пиратов, о сундуках и пиастрах...

о том, что, чтобы стать капитаном в возрасте 25-и хотя бы лет, ну, то есть  
как Флинт,  
нужно было в семь поступать в «Каравеллу», присягать, б...,  
на верность Крапивину,  
обзавестись талисманом — сшитым собственноручно зайчиком, б..., мишкой,  
б..., белкой... строить яхты, выучить названия мачт, парусов, морских узлов,  
фехтовальных приёмов, научиться вязать узлы, фехтовать и писать заметки...

сидя на берегу моря, всматриваясь в силуэты и гадая, кто там на горизонте —  
барк или бригантина — «Крузенштерн» или «Святой Христофор», —  
всё чаще думаешь, что не тем ты занят и не надо больше писать заметки,  
вместо этого надо быть собой — мужем, отцом, поваром, писателем, б...,  
поэтом, путешественником, тунеядцем в творческом отпуске, человеком...

### Камень

в жёлтом кожаном пальто

некто избранный никто  
выгребные фимиамы  
так похож на Мандельштама  
— Он?  
— Не он?  
приговорён  
жив пока  
проговорён  
перемолот  
переварен  
пересчитан  
в яму свален  
— Где ты, Осип? Не молчи...

притомились палачи

\*\*\*

котелок хочу  
револьвер  
или маузер  
например  
чтобы из толпы  
выделяться  
чтоб в боевике  
крутом сняться  
где-нибудь  
в Одессе  
на Водной  
ну там как у Бабеля  
в Первой Конной  
то есть конечно  
в «Одесских рассказах»  
а играть кого?!  
да хоть кого!!  
да всех разом!!  
хотя старый Мендель из меня пока не получится  
да и говорить как они я совсем не умею  
надо бы научиться

\*\*\*

сидя на дне  
снизу смотреть вовне  
сквозь пузыри  
чувствуя что внутри  
есть ещё кислород  
есть ещё жизнь  
и рот свой широко открыть  
выпустить и забыть  
как это —верху плыть

\*\*\*

слово без языка  
как это?  
я немой?  
птица плечо рука  
что со мной?  
я не твой?

\*\*\*

боялись повторения блокады  
и голода боялись как чумы  
тайком молились: господинадо...  
и хлеб кромсали толщиной с кулак  
и мазали поверх побольше масла  
им всё никак не верилось никак  
что кончилась война



и снились сваяла  
пустое поле  
тощий колосок  
худые валенки  
и вечный тихий холод  
и наши отступают на восток  
и снова тянет в сон  
и снится голод

\*\*\*

я разучился плавать  
шить штаны  
свистеть и управлять велосипедом  
но так и не уехал из страны  
набитой идиотами и бредом  
набитой ватой и протухшей шаурмой  
косплеями на площадях столицы  
казаками и лексикой блатной —  
такой привычной всем, что проще удушиться...

...самоубийство, впрочем, не моё...

— Давай, красивая, поехали кататься!  
Мы больше не расстанемся с тобой!  
Мы будем спать, молчать и улыбаться...

\*\*\*

старухи ужасно воняют  
старухам иначе нельзя  
старухи в Ашаны гоняют  
телегами страшно гремя

старухам давно недоступны  
простые соблазны Земли  
старухи давно неприступны  
а раньше конечно могли

убить рукояткой нагана  
к ответу призвать наглеца  
махнуть половину стакана  
совсем не меня лица

старухи все знают о жизни  
старухи мудры и светлы  
а черные мысли и смыслы  
они растворяют внутри

от этого портится печень  
приходит артрит и артроз  
старухам обещана вечность  
старухи ослепли от слёз

Евгений Эдин

## Танцы

*Повесть*

### 1

Он поднялся, глядя в темную глубину окна как в зеркало, и привел себя в порядок. Заправил рубашку в брюки, затянул ремень, провел ладонями по волосам.

Рядом в отражении появилась фигурка Анны, — она приблизилась из коридора балетными шажками, стала за спиной, положила ладони ему на плечо, пристроила на них подбородок и начала вглядываться в стекло. словно оценивала, как они выглядят вместе.

Павел замер на мгновение с занесенными руками, застегивающими пуговицы рубашки, чтобы не спугнуть тихую красоту, которая была растворена вокруг, в ней, в них, в том, как вписаны они в небогатую казенную обстановку съемной квартиры, как всю эту оконную картину обливает оранжевый свет, а за стеклом, если потушить лампу, — холод вечера, чернота и высота.

Так они стояли, будто восковые фигуры в музейном зале, запоминая эту минуту.

— И все-таки почему? — спросил он наконец, продолжая застегиваться. — Я скучный. Я даже лысею. И в сравнении с Игорем...

— Потому что много что, — она помолчала и добавила в своей задумчивой манере: — Я чувствую себя последнее время очень плохо. Мне трудно делать вид, будто все хорошо. А у Игоря всегда на все одно лицо. Ему на все наплевать, и всегда было наплевать. Есть такая компьютерная игра — там нужно покупать разные компьютерные финтифлюшки, латы, мечи, за настоящие деньги. Он спускает на это ползарплаты. Мы каждый день ссоримся. И еще — у него есть другие женщины, кажется.

— А... значит, месь, — сказал он, пытаясь не выдать разочарования.

— Не только. Не знаю. Ты серьезный, взрослый. Надежный. Не знаю почему. Просто, наверное, такое время, что тебе надо быть в моей жизни. До этого у меня никого не было, и даже в мыслях. Я считала себя выше. А почему я?

— Не знаю, — он подумал. — Просто всегда хочется смотреть на тебя.

Анна кивнула, помолчала.

— В тебе вот это тоже хорошее. Что ты умеешь смотреть. Смотреть и молчать, — сказала она, глядя в стекло. — И у тебя добрые глаза.

---

Евгений Эдин (1981) — родился в Ачинске Красноярского края, окончил Красноярский государственный университет. Работал сторожем, актером, помощником министра, журналистом, диктором... Печатался в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «День и ночь», «Урал» и др. Лауреат премии им. В.П. Астафьева, стипендиат Министерства культуры России. Живет в Красноярске.

Так они стояли, и он, повернувшись и заключив ее в объятия, тихо гладил ее по спине.

Месяц назад Павел с женой начали посещать курсы хастла. Танцевали зимой, по субботам, в холодном зале бывшего детского сада, предоставлявшего помещения под различные нужды.

Общество подобралось разномасное. Было много профессионалов, много хорошо и не впервой двигающихся пар, много и просто новичков, пришедших впервые, обычных и безликих. В целом они двое не очень-то выделялись на общем фоне, не были хуже других, и постепенно Павел успокоился. Люба же была счастлива уже оттого, что по команде инструкторов совершает слаженные движения вместе со всеми. Смены рук, поддержки, развороты.

На очередном занятии появилась новая пара. Парень — длинноволосый герой-одиночка, дитя природы, — игнорируя скамьи, усаживался по-турецки прямо на пол, с видом независимым и дерзким, и глотал воду из бутылки, точно прибыл прямиком из Сахары. Передвигался модной, изломанной, ворчливой походкой. Миндалевидные глаза смотрели из-под выгоревшей челки, как рыси из зарослей тальника.

Его подруга была похожа на породистую лошадку, античную гречанку, — вся из наструненных жил. Стройные, мускулистые ноги, балетные, с выраженной ключицей плечи, тонко прорисованные шейные мышцы. В ней словно не было ни унции жира — когда она улыбалась, у нее изящно напрягалась шея и становились видны бьющиеся под смуглой кожей голубые ручейки крови.

Они выглядели как искусно выточенные механические фигурки в часах — отъединенные от мира, созданные друг для друга, ни в ком не нуждающиеся.

— Какие красивые! — с восхищением и завистью сказала Люба. — Хочу познакомиться с ними.

— Красотка Нона, Леди Совершенство, — съязвил Павел. — Летает на зонтике, ездит в тывке на мышах, — хотя ему тоже понравилась девушка.

Из раздевалки жена вышла уже с новой знакомой. Ее звали Анной, ее мужа Игорем. Одеваясь в холле, Павел смотрел в зеркало, как он подает ей дубленку, отороченную серебристым мехом. Сам Игорь был одет легко — в черную кожанку, кроссовки и джинсы, без шапки. Учитывая декабрьский мороз, вероятно, при колесах. Да и вряд ли такая девушка могла избрать в кавалеры безлошадника, подумал он.

— Да, так приятно, что мы знакомы теперь, — говорила Анна, застегиваясь и завязывая пушистый пояс. Апельсиновая дубленка шла к ее бархатым глазам и нежной смуглой коже. — Один из плюсов таких курсов, что знакомься с новыми лицами.

Она говорила вдумчиво, негромким грудным голосом.

— Вроде у ризлтора нет недостатка в новых лицах? — пошутила Люба.

— Да и Игорь работает в парке, инструктором... Но я про интересных людей, — выделила Анна и посмотрела на них. Ей было свойственно сказать, подумать и потом добавить что-то.

— Вы инструктор? — обернулся Павел.

Игорь натянул тетиву невидимого лука и дерзко улыбнулся.

— Приходите в парк. Море живых мишеней.

— Ну, перестань, — сказала Анна, обнимая мужа. — Он не такой, каким хочет казаться. Он закончил на юриста.

— Красивая пара, — сказала Люба, когда на выходе они разошлись в разные стороны. — И видно, что любят друг друга. Они пять лет женаты.

Павел был человеком ума, на брак по любви особо не ставил и к тридцати, нагулявшись, выбрал в жены Любу, чтобы воспитать в себе простое хорошее чувство и вместе растить детей.

Это был подходящий дичок для прививки — младше Павла на пять лет, худенькая блондинка с бирюзовыми глазами, работница банка. В детстве она

мечтала быть мультипликатором, любила пародировать голоса и дурачиться, и он решил, что с ней никогда не будет скучно. Вдобавок он посчитал, что полученная ею техническая специальность поспособствует их сближению через понимание того, чем он занимается. Он работал научным сотрудником в конструкторском бюро и был на хорошем счету.

Она любила его с уважением, как младшая старшего, и принимала жизнь в границах, очерченных им, — почти полный отказ от алкоголя, путешествия в горы, активный отдых.

— Надо пробовать новое, меняться, — убеждал он ее, посмеиваясь, завывая ей ролики на набережной. — Только так можно быть живыми.

— Или танцы, или никаких совместных лыж, — сказала она, разбив колесо. — Я посмотрю, как ты пойдешь мне навстречу.

И он согласился.

Танцевать он никогда не любил и не умел, втайне боялся насмешливых взглядов, и теперь, садясь на скамейку, обводил всех наблюдательными глазами в поисках изъянов. Вот маленькая, но крепкая инструкторша с двумя хвостами на розовой резинке и в розовых гетрах. Ее коллега-кавалер, деланный под латиноса, в лимонном батнике и черных свободных брюках, — выше ее на голову, поэтому очень удобно вращать ее, подхватывать в прогибе, проводить нижние и верхние смены рук. Вот одна под сорок — худая, узкая графинька в строгой длинной юбке, танцующая с агрессивным краснолицым пузаном в блестящих туфлях. Девушка-диплодок с печальными глазами — начинается сверху изящно и тонко, а внизу толстая. Вот Леша Красин, кучерявый толстяк, перемещающийся на комковатых ногах походкой мультяшного снеговика, — добросердечный, неуклюжий, совершенно безнадёжный как танцор.

Глядя на него, прыскала Люба. Отворачивались к стене инструкторы. Даже деликатная, воспитанная Анна не могла удержаться при взгляде на его выкрутасы. Смеялась она приятным глубоким смехом, грудью беря дыхание, и прикрывалась смущенно ладошкой, смотря вниз.

То, что Павел чувствовал, когда видел ее, отказывалось называться определенным словом, — мало связанное с головой, но и мало связанное с телом, это было какое-то зрительное поглощение, эстетическое удовольствие. Ему постоянно хотелось смотреть на нее. На то, как она выгибает спину, как склоняет шею, грациозно приседает и улыбается; как блестят ее ровные голубоватые зубы. Видимое биение ее пульса под челюстью гипнотизировало его, — когда она становилась ему в пару, он смущался, и те движения, которые давались ему легко, становилось выполнить невозможно. Она двигалась с приятной податливостью где-то отдаленно, невесомо, как бы вовсе без него, без его помощи, улыбаясь приветливой, но отстраненной улыбкой, к которой были приучены фигурные губы.

## 2

Однажды в январе ударило под сорок. Из стабильно танцующих пришли немногие, включая Павла с Любой, Лешу Снеговика и Анну с Игорем. Все заходили, промокая носы с улицы, и улыбались друг другу. Появление каждого встречалось коллективной радостью. Мороз как бы обозначил ядро группы, и составлять число избранных было приятно и почетно.

— Тогда и выясняется, кто серьезно, а кто так, — сказала инструкторша с мудрой улыбкой, и Павел подумал, что она говорила так многим, но было все равно приятно, — в зале стояла прохлада, будящая бодрость, и окошки наверху были бело-золотисты и нечетки от яркого света. Занятие проходило днем.

Они отработывали развороты на носке на триста шестьдесят градусов — па, никак не получавшееся у Павла. Движение удалось даже неумехе Снеговика, кружившемуся, как цирковая морская свинка, но все же каким-то чудом не



валившемся с ног. Павел с остервенением вращался, падал, вставал и снова пытался.

Отчаявшись, он оглянулся посмотреть, как выполняет разворот Анна. Она кружилась с легкостью и грацией, с тихой гордостью на лице от своего ловкого искусства. От воздушного потока, создаваемого движением, у нее задралась юбка; Анна весело взвизгнула, прижимая подол, и обернулась, перехватив в упор взгляд Павла. В досаде, что его застали за подглядыванием, Павел с силой крутанулся на носке и вдруг, вскрикнув, упал от резкой боли.

К нему встревоженно подбежали инструкторы, Люба и Снеговик.

— Ничего, — сказал Павел. Он попытался встать и снова упал.

— Больно? Это растяжение, — сказал инструктор, осторожно ощупывая лодыжку.

— Народ, кто на машине? — спросил Снеговик, одышливо озираясь.

— Мы, — подняла руку Анна.

— Докинете человека?

— Я в порядке.

Меньше всего ему хотелось сейчас внимания и услуги от Анны. Он допрыгал до лавки и сел в углу.

Все начали отходить к своим позициям, и только Люба, жалостливо мигая, стояла рядом и держала его руку.

— Иди, я нормально, — сказал Павел, высвобождая ладонь. — Крутись. Скоро конец занятия. Я посмотрю. Ничего. Иди!

Он стал смотреть на нее и других танцующих, но все время видел перед глазами как бы плывущие вверх и в сторону балетные ноги, до самого их соединения обнаженные задравшейся юбкой, изгиб бедра, поворот головы к нему, ажурный треугольник в средоточии...

Игорь и Снеговик свели охромевшего Павла со ступенек. Люба несла в пакете его левый ботинок. Павел конфузился и был зол на себя, на предавшую его ногу, на Анну, которая поняла, наверное, что именно стало причиной происшествия.

На улице их встретила метель. Они остановились на крыльце. Игорь своей ворчливой узкобедрой походкой ушел в мельтешащее марево к стоянке. Приблизилась фара — к крыльцу лихо подрулил «жигуленок», шлифанув шинами наст. Поднялось и засеребрилось, опадая, облачко разноцветных снежинок.

Анна села и внесла в салон свои балетные ноги; запахнув дубленку, хлопнула дверцей. Леша, усадив Павла, попрощался и ушел.

— Как хорошо, что вы нас подвезете, — сказала Люба и засмеялась. — Угораздило же. Наверное, Пашка засмотрелся на Анечку.

— Хороша шуточка, — пробормотал Павел. Анна обернулась. Резко в темноте салона обрисовался ее греческий профиль с губами, сложенными в улыбку.

— А что такого. Вот если бы я была мужиком, я бы обязательно запала на Анечку. Но мой муж живет в пыльном научном мире.

— Вы ученый? — спросила Анна.

— Ну... Я работаю в конструкторском бюро, — сказал он, отдуваясь.

— И чем вы занимаетесь?

Она словно нарочно мучила его своим вниманием, своей улыбкой.

— Последние наши задачи связаны с оборудованием для спутников ГЛО-НАСС, — забыл он сердито. — Задачи математического моделирования посредством методов конечных элементов. Нужно понимать, как работают те или иные модели, их поведение и адекватность. Но для начала проходит множество тестов на более простых моделях...

Взревел мотор, пассажиры, потеряв равновесие, повалились назад, и он замолчал. В зеркале, висящем в салоне, мелькнул насмешливый взгляд рысских глаз. Игорь был сторонником экстремальной езды.

— Машинка ничего так, бегаёт, — сказала Люба, оглянувшись.

— Мы собираемся купить «Мазду», — сказала Анна, держа улыбку.

Из-за травмы Павла следующее занятие они пропустили, а через неделю Люба осталась у матери на выходные. Он сидел дома, обсчитывал проект, глядя, как на заснеженные улицы стремительно падает мгла, и вдруг, сам себе недоумевая, быстро собрался и поехал на танцы. Ему захотелось увидеть Анну — просто посмотреть и уехать. Это непреодолимое желание, будто мистический зов, очень удивило его — он считал себя слишком взрослым и ленивым для такой подростковой романтики. Он забежит оплатить курсы, заглянет в зал, посмотрит на нее мельком, вызовет инструктора, отдаст деньги и уйдет.

На диване в освещенном холле первые подошедшие листали журналы. Он завернул за угол, и в глаза ему прыгнуло рыжее, яркое — у зеркальной стены в своей апельсиновой дубленке спиной к нему стояла Анна и говорила с инструкторшей.

— Ну конечно, найдем вам другую пару, — говорила та. — Кто-то всегда есть. Вот молодой человек, — кивнула она на Павла. — Вы сегодня тоже одни?

Анна со скрежетом повернулась к нему на каблучках.

— Я вообще просто отдать деньги, — сказал он глупо, протягивая руку с зажатými в ней, взмокшими от волнения деньгами.

Переодеваясь в обещанном куртками и полушубками помещенице, похожем на школьную раздевалку, с облупленными, вздыбившимися пузырями стенами, он думал, что жене все объяснит завтра, тем более она любит Анну, считает ее немного поверхностной, но хорошей, и ей даже будет по-своему приятно и смешно, что ее бука муж, зашедший отдать деньги, оказался втянут в такую передерягу. Он представил, с каким кислым видом продаст эту историю в воскресенье за ужином, и как будет мотать головой от удовольствия Люба, глядя на него блестящими глазами.

— Как ваша нога? — спросила Анна от стены со смехом в глазах, словно говоря: «я знаю, почему она подвернулась».

— Нормально, — ответил он смущенно, вставая с ней в пару.

Она подала ему руки, и они начали двигаться, разминаясь, выполняя основное движение хастла — небольшие шажки «от партнера — к партнеру».

Павел был немного ниже Анны. Она смотрела на него сверху вниз насмешливо, но необидно. Но он совершенно не знал, что сказать — на него напала немота, непроницаемая, как темная ткань на клетке с попугаем.

— Вы похожи на балерину, — сказал он, вспомнив свое наблюдение.

— Это потому, что мама с детства отдала меня на балет, — ответила она.

Он кивнул и надолго замолчал, делая «от партнера — к партнеру».

— А где Люба? — спросила Анна, подавая и расцепляя руки, проворачиваясь под его локтем.

— Люба уехала к матери. Я вообще собирался просто отдать деньги...

Она смотрела на него внимательно, с той же улыбкой, которая как бы говорила: ну-ну, смелее, я не обижу, не выдам. Он почувствовал неловкость и запутался в ногах. И то, что она сначала спросила о ноге, о его ноге, а только потом о его жене...

— Так я вас, наверное, отвлекла? — спросила она с лукавым взглядом, пождав. Вокруг ее бедер тихо взлетало и опало платье.

— Ну почему... — ответил он, потя. — А где Игорь?

— А Игорь дома. Я поссорилась с Игорем. Мы маленько психанули. Малейший повод, и он отказался ехать. Он не любит танцы. Наверное, все мужики не любят.

— Да нет, почему, иногда можно. Под настрой.

Ее руки были по-прежнему длиннее, чем его, но у него уже не было ощущения, что она танцует где-то далеко и отдельно. Она была близко, значительно ближе, чем раньше. И ему казалось, что ее ладошки сегодня не так вежливо-сухи.

Слева старательно выписывал пируэты Леша-Снеговик. Анна, чуть повернув голову, стала следить за приключениями его тела, украдкой посмеиваясь, раздувая ноздри.

— Леша, — кивнула она дружелюбно, возвращая взгляд к Павлу. — Такой смешной, хороший. У него какая-то тяжелая болезнь.

— Да? Он немного похож на снеговика. Из мультика.

— Точно! — рассмеялась она и кивнула, с ободрением глядя на Павла. — Точно. На снеговика!

## 4

За прозрачным столиком в кафешке на втором этаже кинотеатра, со стеклянными стенами-окнами для обзора центра города, Анна изучала меню,правляя лямку платья. Он из-под своего меню изучал ее. Он ужасно потел.

— Может, вот этот салат? — он придвинул к ней меню.

— Ой, нет. Разжирею. У меня не очень гены. Хотя и дворянские.

Она рассказала, что их род берет начало в шестнадцатом веке, — упоминания о нем можно найти даже в учебниках, а в архиве есть фотографии царского времени.

— Переезд из Питера во глубину сибирских руд — тяжелое решение, — закончила она старательно, как отличница.

Сначала Анна говорила охотно, с непосредственностью, потом стала отвечать все более формально и наконец вовсе смолкла на полуслове, озираясь.

— Что такое... почему к нам не подходят? Они что там... им что, не нужны клиенты?..

— Просто кризис. Дефицит кадров. Везде сокращения, — объяснил он, поднимая руку, и помахал официанту. — Народ зашивается.

Ее красивое лицо нервно двигалось — как личинка червяка, атакованная муравьями. По-видимому, Анна буквально физически не могла принять, что внимание официантов может быть отдано кому-то еще, если в очереди находится она. Ее губы обиженно изгибались, еле слышно бормоча слова. «Нужно же высказать им... Они пренебрегают нами...» — различил он. Она смотрела на него с недоумением, будто не понимая, почему он так спокоен и почему он ничего не делает. Павел был способен к распеаку, но сейчас не видел поводов к нему.

Наконец, извинившись за замешку, к ним подошел официант. Анна холодно, оскорбленно чеканила ему названия заказанных блюд, точно сыпала медяки сифилитику, цепляющемуся за край плаща.

— Ну вот. Что-то я перенервничала, — сказала она, отпустив официанта, и сделала ладошкой обвевающее движение к груди. — Так вы работаете в ГЛОНАСС?

— Ну... не совсем.

— То есть я не так выжилилась, — поспешно поправились она и покраснела. — Я знаю, что ГЛОНАСС — это космические спутники.

И он еще раз обрисовал подробности своей работы.

Расслабившись, Анна часто смеялась. У нее был приятный смех, при котором она смотрела вниз и как бы стремилась поднести ко рту руку, останавливая ее на полпути и снова опуская. Но наряду с этим детским в ней чувствовалась и взрослость, и смелость, и в нем как-то все обмирало и вслед за этим начинало струиться вверх — как дерево весной гонит соки по стволу.

Они покинули кафе и пошли вдоль дороги к остановке.

— Прохладно, — сказала она, кутаясь. — Вот и остановка.

— Ну, спасибо за приятный вечер, — сказал он, останавливаясь.

Она кивнула и отошла, но вдруг повернулась в нерешительности. Он, смотрящий ей вслед, подошел, подбежал почти. Они пошли вместе туда, куда она вела, молча, растерянно.

— У моей подруги... она в Питере... здесь квартира, — проговорила она у дома с лепниной. — Она сдастся. Вы же ищите... У меня есть ключи.

— Надо посмотреть, — ответил он.

## 5

Они молчаливо условились не упоминать о своих вторых половинах и вообще о своей второй, то есть первой, основной жизни; не спрашивать и не говорить ничего, что могло бы задеть, оскорбить тех, кого они обманывали. Но сделать это было нелегко — каждая фраза обрастала шлейфом тайных смыслов, обрывалась, неустойчиво дребезжа вопросом, как шахматный конь по доске. В каждой реплике, касающейся только их двоих, сквозило: «а она? а как он?»

— Моя мама учила, что женщина должна приподнимать мужчину над самим собой. Я приподнимаю? — спрашивала Анна. Но здесь читалось еще и: «а твоя жена приподнимает тебя над самим собой?»

Он никогда не задумывался об этом. Наверное, он приподнимал Любу, способствовал ее росту, образованию, показывая какие-то статьи, видеоролики, объясняющие научную суть жизни, хотя и она взамен подсовывала ему альбомы с репродукциями картин, которые покупала за большие деньги (его снисходительно умиляло это) и которые он, глянув из вежливости, старался поскорее сплавить с рук как что-то совершенно ни к чему не пригодное.

Анна же поднимала его до небес. В ее присутствии он становился ловким, дурашливым, веселым, совсем не ворчливым. Такого ликующего пробуждения всех нервных клеток он давно не ощущал. Он никогда не изменял своим подругам («делать нечего, что ли? — бурчал он, когда жена заводила разговор, катала пробные шары, пытаясь узнать его отношение к изменам. — Идиотизм какой-то»), и вот...

Его только и утешало, что, оказывается, все это как будто не ухудшает климата в семье. Жене нравилось, что он стал бодрым и заводным, и часто смеется, и принимает ловить и щекотать ее.

Люба была смешливой и любила опекать людей, обливает их заботой, как солнце ласково купает в свете планеты. Под каток ее любви последовательно угодили Анна, инструкторша по хастлу, одна девушка из их двора с несчастными глазами спаниеля и Леша Снеговик, который после занятий провожал их до остановки. Он шагал рядом, постоянно что-то рассказывая взахлеб, заикаясь, жестикулируя и стремясь в разные стороны, словно его вечно преследовал какой-то ужас остановки, молчания, неподвижности.

— Паша-Паша! — пищал он фальцетом, расширяя глаза, удваивая имя того, к кому обращался. — Люба-Люба! Я видел вчера п-прекрасный фильм! Про бои бультерьеров! П-посмотрите! Не п-пожалуйте!

Снеговик жаждал общения, и они с Любой легко поладили друг с другом. Она брала его под руку, заставляя изменить привычный кометный ритм, в котором двигались его комковатые ножки. Это служило топливом для вечерних подшучиваний Павла.

— Я его обожаю, — отвечала Люба. — Да кто его не любит? Он же безобидный. Скорее бы у него появилась девушка.

— Да, обидеть Снеговика — все равно что пнуть снеговика, — соглашался Павел. — Глупо. Да он и не поймет.

В свои тридцать Леша жил с родителями, и можно было представить, что дома в клетке у него живет хомячок, а на полках расставлены солдатики, с которых Леша бережно стирает пыль. Лицо у него было толстое, простое, с грубыми чертами, словно символически нарисованное в детском альбоме — две точки, две черточки, кучеряшки-запяташки и овальные уши.

Когда у него на танцах появилась постоянная партнерша Инна, тоже без-

злобная и чем-то неумовимо смешная, все были довольны и смотрели на Снеговика со значением. И танцевала она совсем неплохо.

Они уже полгода ходили на хастл и со снисходительностью старожилов оценивали новичков. За это время пришли и прошли отсев снегом, дождем и градом несколько пар и одиночек.

Вот маленькая пышка с фигурой послеживающей за собой разведенки, воспитательницы детсада. Вот кнопка с косичками, милая, неприметная и хорошая, — танцует с дылдой на две головы выше, с острым, как носок туфли, лицом. Миниатюрный мужик в годах с платиновыми волосами и кошачьей чувственностью движений — либо ловелас, либо педик; разговорчивый беззубый люмпен, добродушный и забавный, как большая дворняга, прыгающая за колбасной шкуркой...

— Вон те хороши, да? — кивнула Люба, делая «от партнера — к партнеру». — На голову лучше всех.

У окна танцевала семейная пара — длинная девка с плоской, словно шлепком размазанной задницей и ее муж — самодовольный жизнерадостный очкарик.

— Даже лучше Игаши и Анечки? — спросил Павел с улыбкой.

— «Пашечка!» Не делай, пожалуйста, такое лицо, когда говоришь «Анечка»! Может, она недостаточно глубокая для тебя, но она хороший человек.

Слабость Любы к Анне вызывала у Павла иронию. «Может, вам уже жить вместе?» — спрашивал он. «Может. Женщина женщину всегда поймет и не будет морозить, как ты», — не терялась жена. Анна нравилась ей той гармонией, тем внутренним светом, которым лучились ее глаза, и Люба хотела бы еще больше сблизиться с подругой, но Анна держала вежливую улыбчивую дистанцию, окончательно влюбляя в себя. Павел делал вид, что ревнует, и этим обосновывал внешнюю легкую неприязнь к Анне, — что, в свою очередь, маскировало его истинные чувства к ней и отводило подозрения от них обоих.

— Что она недалеко — вообще ни при чем, — сказал Павел, пропуская Любу под руку. — Каждому свое. Это нормально. Просто я не верю, что она искренне такая, эта Аня. Говоришь — «простая». Ты видела, как она разговаривает с незнакомыми? Вот это вот: «Что?» — он холодно приподнял брови. Он умел смешно показать, подловить.

— Есть маленько, — улыбулась жена. — Игорь говорит: «Ой, ой, Рюрики проснулись!» Смешно так... Он вообще не такой поверхностный. Он просто веселый.

— И красивый, что важно. Ей важно.

— Всем важно.

— Ей особенно. Чтобы передать ее красоту дворянским детям. Чтоб не испортить.

— Мне бы такую красоту, и я бы думала об этом.

Разворот, наконец-то освоенный. «Лодочка». Верхняя смена рук.

— Ой, не знаю. Скрытная она какая-то и непростая, — сказал он, помолчав. — Тебе только кажется, что ты ее знаешь. И что у них все так хорошо. Может, она вообще Аня Каренина.

Люба повернулась, будто вот сейчас готовилась увидеть на Анне вуалетку.

— Ну нет, они явно любят друг друга.

— А я только что слышал, как Игорь сказал «твои фигушки». И она ему залепила по щеке.

— Это не значит же, что он ее не любит! Так посмотреть, так и ты меня не любишь.

— Не знаю. По-моему, это все просто видимость, что там все так здорово, — сказал Павел упрямо. — Это как Леша, который всем рассказывает про свое сердце, а сам такой румяный и подвижный, что я не верю.

— Дурак. Зачем так шутить? У него реально порок сердца.

— Да нет, Люб... Он просто толстяк, который привык так получать любовь. «Я классный, а еще я могу умереть». Понаблюдай. Понаблюдай.

Какое-то время она смотрела, как беззаботно кружится и жизнерадостно хохочет Снеговик, переминаясь от одной девушки к другой, будто переходящий приз.

— Ну, может... не знаю. Но зато он добрый. И если он врет, потому что боится одиночества, — это тоже уважительная причина.

— А может, пусть бы он был добрый, но не врал?

— Не знаю, как лучше, — вздохнула Люба. — Тебе легко других судить. Ты такой бесстрастный... непогрешимый... Все тебе плохие.

## 6

Чего не было, так это бесстрастия. Отношения с Анной вызвали к жизни все дремлющие в нем глубинные эмоции, взорвали его упорядоченный мир, подарапали, как линзу, холодный, с рациональным прищуром взгляд. Он видел уже в другом диапазоне, выхватывал мельчайшие детали, связанные с Анной, и не замечал многого, не имеющего отношения к ней.

К лету, забыв договоренности, он ревновал ее к Игорю. Оказалось, что втайне он не уверен в себе и ему нужны постоянные подтверждения своей значимости для нее. Он уже не мог представить существования без их встреч, хотя и не думал о разрыве с женой.

Мысли о неправильности такого положения покрутились, как мальки на мелководье в первые месяцы, и, вильнув хвостами, ушли в бездонные глубины его научного мозга, постоянно возбужденного, с перебегающими нервными молниями. Видеть ее, даже не имея возможности перекинуться словом и дотронуться, было его потребностью, и он жадно искал и находил любые поводы для этого.

В июне они с Любой пошли в парк, чтобы встретиться и погулять с Анной и Игорем, который держал там точку по стрельбе.

Погода была пасмурной. Облака, то темнея, то осветляясь, без остановки текли транзитом с самого утра, взбрызгивая землю дождичками, а в промежутках пригревало солнце и осушало лужи.

У парковых ворот они встретили знакомую с танцев, Таню, — невзрачную девушку-женщину с мелкими чертами лица и несколькими подбородками. Она катила коляску, в которой сидел двухлетний Митька, такой кучерявый, что невозможно было смотреть на него и не улыбаться. Таня громко смеялась их шуткам, заискивала, смущалась и в итоге увязалась с ними.

Игоря они отыскивали в тени деревьев, на огороженной, метров двадцати, площадке. Возле его складного стула располагалась переносная стойка с парой луков. У противоположного края лужайки пестрели концентрическими кругами две круглые мишени.

— Я Татьяна, помните меня? — спросила Таня несмело, и он сказал, что конечно помнит, и с интересом заглянул в коляску.

— Это Митька, — защебетала Таня. — Помаши дяде, как махал паровозу?

— Могу повозить его. Задница вспотела, — пояснил Игорь и поддернул штаны в промежности.

— Конечно! Он будет только рад. А можно я пока займу ваш стульчик? Моя задница бы маленько попотела, — сказала она не без игривости. — У меня смертельно устали ноги. Роды...

Стрельба из лука оказалась нелегким делом — Павлу никак не удавалось попасть в десятку. Тетива обжигала запястье. Таня, из которой было не выдавить слова на курсах, здесь болтала не переставая, в манере заискивающей и при этом странно давящей; сначала ее неуверенность и застенчивость вызы-

вали симпатию, однако вскоре ее смех, вездесущсть и неостановимый поток слов начали утомлять.

Вскоре подошла Анна. Поздоровавшись со всеми своей красивой улыбкой, помахав и крикнув «Привет!», она приблизилась к мужу и обвила его руками. Зачем? — подумал Павел страдальчески. У него сразу испортилось настроение.

— Какой милый у вас малыш, — сказала Анна издали.

Она смотрела на ребенка любопытно, не приближаясь. А когда Таня со смехом вытащила Митьку из коляски, поставила на землю и он пошел к Игорю, Анна склонилась над ним, упершись руками в колени, и, видимо, хотела и не решалась взять его; Игорь подхватил Митьку и осторожно подбросил.

— Почему вы не заводите детей? — спросила Люба. — У вас получится красивый ребенок.

— Пока не чувствую, что мы готовы, — ответила Анна.

— А мне кажется... — начала Люба.

— О, не торопитесь, еще успеете, — перебила Таня с материнской важностью. — Вы сейчас можете делать то, что мы уже не можем. Наслаждайтесь свободой, ездите везде. Мы с мужем были и в Ницце, и в Париже, и в Праге... Хотя, руку на сердце, сейчас я бы не хотела в то время, несмотря на то, что оно веселое! Просто не представляю, что бы мы делали без него и как бы мы жили, — и Таня с любовью посмотрела на сына.

— Вы, когда смотрите на него, такая красивая, — сказала Анна.

— Ой, спасибо, я так рада, что мы все тут встретились! Игорь дает нам мастер-класс!

Отделаться от нее не было никакой возможности, пока за ней не приехал муж. При прощании на лице Тани было столько благодарности за проведенное вместе время, что им на мгновение стало неловко, но стоило ей уйти, и все вздохнули с облегчением.

— Хорошая девушка, — сказала Анна со смеющимися глазами, когда Таня скрылась из виду.

— Хорошая, только немножко навязчивая, — откликнулась Люба. — Я думаю, муж с радостью отправляет ее на танцы. А ребенок милый.

— Да, ребенок очень милый. А я хотела предложить вам поесть сладкой ваты. С детства люблю ее, хоть она и ужасно липкая! Пойдемте?

Они отнесли инвентарь в машину, однако добраться до аппарата со сладкой ватой не успели. Полился сильный дождь, застучав крупными каплями по листьям, и они вскочили под коническую крышу карусели. На деревянном круге замерли лошадки, машинки и мотоциклы. Находиться под крышей и смотреть, как обильный дождь мочит все вокруг, было радостно.

Загромыхал поезд по детской железной дороге, идущей по периметру всего парка. По узеньким рельсам катились маленькие вагончики, в них сидели дети с родителями. Приблизившись, пассажиры замахали тем, кто был на карусели, и они тоже помахали им вслед, чувствуя в сердцах что-то хорошее и немного грустное, когда паровозик, свернув за ряд кленов, укатился и исчез из поля видимости.

— А мы очень хотим детей, — вздохнув, сказала Люба.

— Да и мы не против, просто всему свое время, — ответила Анна.

Игорь сел на игрушечную лошадку и с серьезным лицом стал подсакивать.

— Тыгыдыц-тыгыдыц! — говорил он. — Тыгыдыц-тыгыдыц!

То, что выглядело бы глупо у другого, у него получалось обаятельно и смешно.

— Вот видите? — сказала Анна с укоризной. — Один уже есть. Да, Игорь?

— Да, ваше высочество, — поклонился Игорь.

— При чем здесь высочество...

Подошла под дождем, держа над собой сломанный зонтик, работница парка и сказала с улыбкой:

— Здесь не положено находиться, если вы не собираетесь кататься. Только детям.

— Знаем, — блеснул зубами Игорь, отбрасывая со лба мокрую челку, и встал с лошадки. — Раз такой дождина, что сделаешь! Давайте зачетом? Я отсюда, ваш коллега. Приходите завтра, поучу вас стрелять.

Женщина, усмехнувшись, посмотрела на Игоря, отошла и скрылась в павильоне.

На лицо Анны напозла тень и пропала, и оно снова стало матовым, красивым и холодным.

7

Дождь быстро кончился, солнечные лучи высветлили посвежевшую зелень с повисшими прозрачными каплями, и выделились своей неуместной чернильной мощью тучи за деревьями. Над мокрым асфальтом чуть заметно стался клубами и уходил в кусты жидкий, прозрачный дым.

— Что это за дым? — спросил Павел.

— Это и есть дым от сладкой ваты, — объяснила Анна, оглянувшись. — Мы идем туда, откуда он идет. Чувствуете, как пахнет?

— Пойдемте. А то сейчас опять хлынет, — сказала Люба, посмотрев на небо.

Они покинули свое убежище и снова пошли к аппарату по производству ваты — мимо изукрашенных пони и лошадей, смиренно и пессимистично замерших на местах в ожидании, мимо длинного зубастого парня с игуаной и смуглой девушки, улыбочиво предложившей сфотографироваться с ее питомицей — большой пятнистой змеей, висевшей у нее на шее. Павел постарался пройти подальше от змей; Игорь с улыбкой склонился к Анне и сказал ей что-то на ухо, и она цокнула и высвободилась с шутливым холодком.

Солнце резко скрылось, и снова зашумел дождь и припустил в полную силу, и снова пришлось искать спасения.

Они спрятались под крышей старой эстрады, которая ветшала у самого выхода парка в окружении развесистых кленов. Эстрада была просторной, примерно восемь на восемь, с дощатым полом, гулко звучащим под шагами. Они бродили по ней из конца в конец, как заключенные.

Вокруг было пустынно и тихо, не считая шума дождя. Никто не проходил мимо, только вдалеке промокшие до нитки юноша и девушка — он с голой спиной, она с широкими, как у мужчины, плечами, оголенными майкой, — упрямо и безнадежно расправляли какой-то слутый батут, и из складок на них обрушивались щедрые запасы воды.

Вскипали пузыри на бурых вспененных лужах.

— Жалко. Не поесть нам ваты, — сказала Анна во всеуслышание.

— Ты! Сластолюбивая кошка! — сказал Игорь, грабастая ее в объятия.

Сонно шлепали по листьям кленов капли, было свежо, тепло и укромно, несмотря на фигуры, возящиеся вдалеке с батутом.

Отбросив свою снисходительную лень, Игорь забрал лицо Анны мокрыми руками и глубоко вцеловывался в губы. Она стыдливо отвечала ему.

Люба тихонько засмеялась.

— Как им хорошо, — сказала она родным, мягким голосом, доверчиво обнимая Павла. — Ну, ну? Поцелуй меня?

Он одарил ее мелкими поцелуями, глядя краем глаза, как Игорь, опустив голову и зарывшись носом между грудей Анны, ее балетных «фигушек», скользит рукой по спине вниз, на ягодицу, на бедро, и приподнимает ногу под колено, вжимаясь...

— Не напрягайся. Всем наплевать, — Люба закрыла глаза и приблизила лицо.



Возбужденная, освеженная водой, она была очень хороша, но он был как истукан, как туземное злое божество, начиненное молниями, — он злился, злился на Анну, которая обнимается с Игорем, и злился на жену, и злился на себя. Так в гневе пинают верную собаку, только эта собака была его ревнивая, несчастная душа.

— Ну и ладно, — сказала Люба, открыв глаза, поняв, что он не хочет.

— Дома, все дома, — пробормотал он, крепко обнимая ее, чтобы не обидеть. — Как захочешь, сколько захочешь...

— Знаете, Игорь, а мой муж любит вашу жену, — сказала Люба громким голосом, весело и невинно.

— Да ради бога, — откликнулся Игорь, улыбнувшись.

— Это шутка, — сказал Павел со смехом, поворачивая голову и посылая голос через эстраду. — Шутка моей жены, которая любит Лешу Красина. Человека-Снеговика. Он всем врет про свою болезнь, потому что похож на Снеговика. Иначе ему даст только снежная баба.

Они там, с той стороны, сплетшиеся, слившиеся телами, повернули головы и посмотрели на него.

— Ай-яй, — сказала Анна, укоризненно улыбаясь, и погрозила пальцем. — Нехорошо, Павел.

Игорь смотрел на него весело, с пониманием того, что иногда мужчина может и должен вспылить, «строая» свою женщину, и в этом нет ничего предосудительного.

Павел замолчал и отвернулся. Ему стало стыдно и захотелось уйти.

— Дождь почти кончился, пойдем, — сказал он и потянул Любу к лестнице, хотя дождь и не думал заканчиваться. Теперь он сеял мелко, воздушно; выступило солнце, и прямо в воздухе, в этих капельках, заиграло маленькой, игрушечной радугой, но вот снова зашло, и капли, утяжелившись, участвовавшие, падали стрелами в расходящиеся кругами лужи и шлепали по кивающим листьям кленов. Но он все равно шел к лестнице.

Она вздохнула, без особой, впрочем, тяжести. Она взбесила его — специально, чтобы наказать за дурацкую стеснительность, а когда он выходил из себя, она успокаивалась и приходила в настроение.

— Мужу надо выпустить пар, — сказала Люба, поворачиваясь к тому краю эстрады. — Народ, мы уходим. Увидимся на танцах.

Она помахала им. Он тоже, не глядя, выставил руку — скорее не в жесте прощания, а загораживаясь от них, чтобы Анна не могла поймать его взгляд и извиниться глазами и чтобы у нее на несколько дней осталось чувство вины и тревоги из-за того, что она что-то сделала не так и что нет никаких способов это выяснить, пока они не встретятся на танцах, — а на СМС он не ответит и потом скажет, что не видел.

Необидчивый и добродушный, за полгода он стал уязвим и полюбил мучить, мстить за свое страдание молчанием и мириться в постели.

Они накинули капюшоны и поэтому не мокли, вокруг было серо и сыро. А когда они вывернули из парка и пошли вдоль ограды к остановке, то с нависающих лап сосен их бомбардировали целые гроздья крупных капель, только и ждущих прохожего, чтобы пролиться за шиворот, и это могло быть весело, если бы не безнадежно испорченное настроение.

Через несколько минут дождь резко кончился и сразу за этим снова показалось солнце, делая все приветливым. Стало тепло и запахло карасями.

— Вот и солнышко опять... Ну почему ты так злишься? — сказала Люба просительно, беря его под руку и утыкаясь на ходу головой в его сердитый висок. — Просто иногда так хочется немного ласки.

Он угрюмо молчал, думая, что ответить, и вдруг резко остановился, глядя под ноги.

На яркой брусчатке, освещенной солнцем, в метре перед ними извивалось множество вымытых из своих подземных парковых убежищ червей с розо-

выми кольчатыми телами, слепо ищущими землю, чтобы скрыться в ней от солнца.

Их были десятки, а может, и сотни. Сокращаясь, они нащупывали острыми, прободающими головами промежутки между фрагментами брусчатки и на глазах ввинчивались; медленно и упорно тыкаясь, как вялые члены, уходили в землю, уродливо шевеля остающимися на поверхности телами.

Он представил себя лежащим в земле, мертвым, беспомощным и недвижимым, настойчиво и мягко атакуемым со всех сторон вкрадчивыми мучительными прикосновениями... его передернуло.

Тщательно избегая наступать на червей, они преодолели подвергнувшийся нашествию участок, снова сблизилась и пошли рядом. Жена взяла его за руку и несколько раз показательно вздохнула, поглядывая искоса.

Он знал, что у нее наготове самая виноватая и детская улыбка, которой он не сможет противиться, стоит лишь взглянуть, и он не давал себе попасться, нахмурившись и смотря перед собой.

8

— Ну, чего ты хочешь? — спросила Анна с усталой улыбкой, когда они сидели на диване. — Я же не могу при нем и твоей жене расточать тебе ласки. Что я могу? Ничего не могу.

— Можешь, — ответил он. — Ты могла бы сказать ему, что целоваться так вот, при нас, это неудобно.

— Согласна. Но у Игоря на этот счет другое мнение. Когда вы ушли, он собирался бегать без штанов под дождем. Не потому, что стеснялся при вас, а просто потому, что придумал позже. Просто такой человек. И у меня не было причин отказывать ему... В последнее время он ведет себя хорошо.

— А по-моему, тебе самой нравилось. Ты сама хотела. Я видел. Мне было очень, очень больно. Я тебе нужен, только когда он ведет себя плохо.

Она вздохнула.

— Ну, что ты как ребенок. Я бы тоже хотела по-другому... Но ты что, готов расстаться с женой?

Он помолчал. Она была права. Он не был к этому готов.

— Вот видишь. Но это чтоб ты понял... Давай не будем, давай зажем себя. И вообще, пора бы с этим кончать.

— Да, — сказал он сердито. — Давай покончим. Одним махом. Сегодня же.

— Пора привыкать, что однажды ты не позвонишь, — сказала она, вставая, подходя к окну и по привычке вглядываясь в отражение, ожидая, когда он подойдет и станет сзади. Так было у них принято; но он сидел и мучил ее. — И как меня угораздило? Думала, по-быстренькому отомщу и назад... Мне совершенно не присуще... А теперь не могу представить, что мы будем просто друзьями.

Он понурился.

— Ну не грусти. А? — сказала она, снова подходя и бодая его головой, как кошка, а потом оскалилась и зарычала: — Р-р-р!

— Нет, — воскликнул он, дурашливо отбиваясь. — Только не тигры!

— Я тигр! Я хочу есть! — повергнув его на спину, она уселась на него, приблизила лицо и зарычала, улыбаясь сквозь упавшие волосы-заросли.

Что бы ни случилось между ними, он все прощал ей за то животное наслаждение, которое она дарила ему.

В сексе Анна была талантлива — очень гибкая, красивая везде, с кожей нежной, шелковистой, тонкой, словно совершенно другой ткани, чем у Любы и всех, кого он знал до нее.

Сначала, как бы заряжаясь от Анны, он нашел новый вкус в сексе с женой, — так, поиграв на дорогом инструменте, музыкант приходит домой и

достает свой старый, разбитый, пытаясь повторить ощущение полета, вдохновения; но вскоре эффект живости впечатлений проходит. Однажды эйфория от встреч с Анной, которую у него получалось распространить на отношения с женой, прошла, и он почувствовал смутное недовольство семейной жизнью.

Он по-прежнему нисколько не жалел, что женился на Любе, считал это правильным шагом, хотел детей именно от Любы, понимая, что она будет отличной матерью, — но быть с ней стало пресно.

Приходя домой, он с головой нырял в работу, бормоча, что ему нужно обчитать срочный проект. Люба прикрывала дверь, но вскоре игриво скреблась, прося внимания. Он наскоро ласкал ее и снова уходил в компьютер, в себя, в свой внутренний мир, где они постоянно находились с Анной — гуляли, занимались любовью, смотрели в темное стекло на свои отражения, прильнувшие друг к другу в хрустальной тишине, красоте и неподвижности.

Люба огорчалась, недоумевала, страдала и к осени начала подрывновывать.

Это почему-то совершенно вывело его из себя, буквально взорвало. Раньше ее шутливую ревность к коллегам-женщинам он встречал улыбкой, сейчас же моментально приходил в ярость, а когда она начинала жаловаться на его холодность, он чувствовал себя глубоко несчастным, и что-то трещало в ухе.

Вечерами она подолгу вздыхала и кидала на него взгляды из угла под торшером, где читала в кресле книжку. Он угадывал ее мысли и намерения, и внутри глухо ворочалось раздражение; он старался затупить его, — в конце концов, он понимал, что не прав. Потом она закрывала обложку, волочила ноги через комнату и опускалась на стул, который стоял рядом со столом, как ставят в официальных заведениях для посетителей и просителей, — немного сбоку, с торца. Снова душераздирающе вздыхала и задумчиво смотрела на него, подперев челюсть ладонью, опершись локтем о столешницу, и на ее лице мелькали, как в калейдоскопе, непонимание, подозрение, страх, затравленная любовь. Он выбивал дробь по клавишам и шевелил губами, давая понять, как экстренно, срочно и безотложно он занят.

— Почему ты так изменился? — спрашивала она тихо затем, и у него от этой сбывшейся, ожидаемой фразы начинался тик.

— Я совершенно не изменился, — говорил он спокойно, щелкая по клавиатуре. Она пыталась поймать его взгляд, но в его глазах мелькали цифры с экрана, и больше ничего. Он был непроницаем для нее, словно черный ящик, ее любимый муж, ее панда-копанда, амеба, коала, толстая и добрая плюша.

— Изменился... Мы совсем перестали говорить.

— Назначай тему, поговорим. Только не сейчас, я очень спешу.

— У тебя есть? — спрашивала она со значением после паузы.

— Что «есть»?

— Сам знаешь что. И кто.

— Ай, Любаша, не говори ерунды! У меня есть работа на дому, очень много расчетов, которые никто не сделает за меня.

— Просто расскажи мне, — просила она со страданием на лице. — Я не буду ругаться, плакать, вешаться. Все лучше, чем так. Тебе, наверное, тоже не сладко. Поговори со мной об этом? — тянула она испуганно, робко касаясь его, желая всем сердцем, чтобы он развеял ее страхи, обнял, засмеялся, как раньше.

— Не говори ерунды, Любаша, — вспыхивал он. — Почему ты меня достаешь? — кричал он на нее, отодвигая стул, вставая, приближая к ней лицо, и собака в его душе забивалась в конуру, скулит от боли. — Почему я не могу час побыть один? Всего лишь, блин, один час?!

Она поднималась и покидала комнату, бесшумно прикрывая дверь, и тогда его охватывала жгучая вина, он ощущал в душе воронку в том месте, где раньше за идиллическим заборчиком пестовалось его самодельное чувство к ней, прививалось бережно, как дичок, чтобы со временем выросло большое,

раскидистое дерево любви, в тени которого будут играть их дети и дети их детей.

Он вставал, брел на кухню, избранную ею как ее сиротскую каморку, укромное место для обид и слез, и выдавливал: «Извини... Ну, дай мне немного времени... Дай я маленько разгребусь... Ну, не обижайся... Ну, прости...» Она сидела спиной к нему за столом, глядя в окно, и ела — при расстройстве на нее всегда «нападал жор». Она жевала и плакала, а он маячил за спиной, слоняясь от стены к стене, посвистывая, иногда касаясь ее рукой и отдергиваясь, будто от включенной плиты. В конце концов, побормотав все свое жалкое, лживое, беспомощное достаточное количество раз, он уныло говорил:

— Ну, как хочешь, — уходил и закрывался.

Примирения, холодные дневные и жаркие по ночам, становились все реже. Весь их уклад как-то постепенно, незаметно изменился. Она стала больше читать, уходить в какие-то свои насильно притянутые интересы, сидеть в соцсетях. Он вытекал из комнаты, любопытствовал, что она делает, и она объясняла, но все это как-то не держалось в его голове — голова постоянно пылала, и там был сквозняк.

«Как дела?» — спрашивал он, встречая ее на пороге после работы. «Почитай мой Фейсбук», — отвечала она. Он читал, и ему было неловко за то, что она там пишет.

Днями, неделями, месяцами — матрица семейного быта транспонировалась в положение, отвечающее ситуации, и только танцы оставались незабываемым, тем, что они неизменно делали как раньше — вместе и вдвоем.

Он делал вид, что танцы вообще-то тяготят его, но он исправно ходит, чтобы доставить ей удовольствие и как-то компенсировать то, что в данный момент он действительно довольно сомнительный муж.

Там она отчаянно пыталась вызвать его ревность. Флиртowała с мужчинами, провожать ее на остановку звала Снеговика Лешу, и шла с ним под руку, и хохотала надрывно, нервно. Павел шагал в стороне, сунув руки в карманы, глядя вниз, и Снеговик, вертясь по сторонам, кажется, все понимал, и ему было неловко и страшно.

В одну из суббот они пропустили занятие — когда он вошел в ее комнату одетый, она молча сидела за компьютером и клацала мышкой пасьянс.

Следующее занятие пропустили тоже. И то, которое за ним, и остальные.

Однажды от всего этого, что между ними происходило, ему стало так больно, так плохо... Он лежал в постели, уже проснулся, а она ходила мимо в колготках, надевала бюстгалтер, стараясь двигаться потише, чтобы не разбудить его, — он работал в свободном графике дома, поэтому ложился и вставал гораздо позже. Он смотрел, как под тканью платья, надвигаемой через голову, исчезает ее худенькая спина в темных родинках, и вдруг почувствовал такую невыносимую жалость к этой бедной спине.

Когда она ушла на кухню, он сбросил покрывало, прошлепал через коридор в кухню, точно ребенок за матерью в детстве, и, приблизившись сзади (она пила воду у раковины), обнял, вжал в себя, чтобы защитить от черной дыры в его душе, куда ее неудержимо влекло турбулентным потоком.

— Прости меня! — взмолился он. — Ну, прости!

Она насторожилась, словно в ожидании признания, и он струсил, и продолжил уже более мелко, по светлому песочку пошел босиком:

— Я вчера был не прав. Я часто не прав... Этот проект... Скоро я закончу, и мы поедом куда-нибудь.

Он ощутил, как напряжение, чуткое сосредоточение вещества и поля, разочарованно покинуло ее тело.

— Пусти, мне больно, — сказала она, страхивая его объятия.

— Где больно? — встревожился он.

— Везде, — она поставила кружку и пошла в коридор одеваться. — И жарко. Ты горячий.

Это не было попыткой выказать обиду, попыткой причинить боль в ответ на боль, понял он. Она не злилась, не обижалась, — она действительно больше не нуждалась в его прикосновениях; перестала нуждаться, отвыкла. Он стал физически чужим, некомфортным для нее. Она транспонировала свою матрицу в соответствии с изменением его матрицы. В тот день, когда Павел понял это, он решил все прекратить.

## 9

— У меня есть некоторые признаки, — сказал он хмуро Анне в четверг. — Жена подозревает... И все как-то разладилось.

— Ну вот, когда-то это должно было случиться, — ответила она, вставая, с улыбкой подходя к солнечному окну — было начало осени, и вечерние окна еще не отражали их образов.

— Зачем только я начала это? — сказала она добрым, страдающим голосом. Она стояла против света, теряя четкость, — в последнее время у него немного ослабло зрение. — Все же зависело от меня, — и он увидел, что она уже не улыбается, а плачет, просто в плаче у нее поднимаются уголки губ: у всех опускаются, а у нее поднимаются.

— Зачем я вывихнул ногу? — сказал он дрогнувшим голосом.

Она подошла и стала рядом, обняв его за плечи; он, как теленок, боднул головой ее живот и до боли прижал к себе — ее бедра, ноги, те балетные ноги, без возможности обнимать которые он не имел сил жить и не кричать от бессмысленности жизни. Мог ли он подумать еще полгода назад, что все так изменится, что он предаст все свои принципы, свой циничный смехок, свое «делать нечего»?

— Ну все, все, — сказала она, опускаясь на колени, чтобы оказаться вровень с ним. — Ну вот, — сказала она, вытирая ему глаза, и он тоже поднял руку и стер блестящие дорожки с ее мягких, размокших щек. — Ну вот. У тебя лопнул сосуд. Нужно капнуть альбунид. Есть у тебя дома? Я куплю. Все равно же будем видиться... не другой же город... и танцы...

Он начал покрывать поцелуями ее лицо, щеки, губы.

— Все, все, — сказала Анна, и ее губы отвердели и сомкнулись. Она взяла его за тянущиеся к ее лицу ладони, стык в стык.

— Обещай, что не встанешь, пока не скажу.

— Аня, слушай...

— Слушай, это же тебе не шуточки, — она с силой сжала его пальцы. — Ты во мне такую муть взбудоражил, все, что лежало, поднялось... Я виновата, я начала, я вру, плохая, но ты-то ведь тоже же виноват, — говорила она бесвязно, взволнованно, вглядываясь в его глаза.

— Хорошо, хорошо, — ответил он, испуганный ее реакцией, дрожанием ее лица, как тогда, в кафе, на грани срыва.

— Вот и ладно, и молчи... Молчи и закрой глаза.

Она толкнула его в лежачее положение, оставив ноги на полу. Распустила его ремень, расстегнула молнию. Он ощутил ее пальцы и губы, смыкающиеся вокруг его физического и внешнего, которое было выражением его бесплотного, внутреннего стремления к ней. Она нежно ласкала его движениями «от партнера — к партнеру», и он чувствовал, как где-то в теплой райской стране, под красной кроной дерева вверх ствола, трепещет кончик ее язычка, — так щекочут губы пузырьки шампанского.

Через несколько секунд то бывшее в нем, закупоренное, стремящееся вверх, как соки, гонимые деревом по стволу по весне, вдруг прорвалось, и ему стало невыносимо, мучительно и невозможно, а потом грустно, спокойно и пусто.

Короткий, невесомый поцелуй остывал на его щеке, а он лежал с закрытыми глазами, не вставая, как условились, слушая шелест ее одежды в коридоре.

Стучала кровь в сердце и голове, постепенно замедляясь. Было солнце сквозь сомкнутые веки, и он думал, что это все еще ничего, еще посмотрим, думал он, — в конце концов, один город и танцы... Он был опустошен душой и телом. Он лежал. Ему было все равно.

## 10

Дома быстро, словно по волшебству, словно бы зная, что все закончилось, наступили перемены. Те пластины брони, которые Люба отковала за последнее время, обнаружили уязвимость, дали слабинку, чуть разомкнувшись, и из них повяло живым теплом. Он наслаждался и грелся этой переменой, как маленьким угольком в ветреный осенний день, осознавая, что готов начать все заново, что ничего не потеряно, а Анна, в конце концов, всегда была только идеалом, только отражением в стекле, картинкой, голограммой.

Они снова гуляли, и Люба смеялась его шуткам, впрочем, давая понять, что пока еще ничего не забыто и она не позволит уже так легко вернуть свое расположение. Но все же она приоткрывалась, и он видел, что дичок его возвращенной любви, слабенький росточек, очень слаб, но жив. Больше уж я не дам тебе погибнуть, не поставлю под удар, — думал он.

В конце декабря они провели две недели на горнолыжной базе в Ергаках. Они приехали туда еще немного чужие, смущенные, точно только что познакомившиеся люди или двоюродные брат и сестра, не видавшиеся с детства.

Жили в коттедже с хрустящим хлебной корочкой паркетом. Днем катались по пухляку на сноубордах, вечер проводили в зале дома. Зал был примерно четыре на четыре, пустой, гулкий. Для чего он им? — думали они и вдруг стали учиться танцевать вальс.

Павел никогда не танцевал вальс, постоянно путал ноги, оттапывал Любе пальцы. Она смеялась и морщилась, терпеливо обучая его. И постепенно у него начало получаться. Тогда он и решил, что в будущем им обязательно нужно танцевать вдвоем, для себя.

Они снова занимались любовью несколько раз в неделю, и, бывая в ней, он говорил себе мысленно, что тело есть тело, женское тело, одно или другое...

Постепенно безразличность от разрыва с Анной полностью прошла. Ему нравилось то, что поселилось в нем взамен. Тот самый покой, который замещал счастье вкупе с волей, который и был самим счастьем.

Вернувшись домой, выехали на зимний пикник за город, к реке, жарили шашлык, кормили уток. Было прохладно и солнечно. Запускали «блинчики» по водной глади. Люба отошла поговорить по телефону и вернулась с бледным лицом.

— Это Анна, — сказала она. — Которая «Анечка». Умер Леша. Леша Красин.

## 11

В невзрачный январский денек под целлофановым небом хоронили Лешу Красина. Перед отправкой на кладбище гроб с телом был выставлен в прощальном зале. Народу, пожелавшего прийти, было много, но среди них оказалось мало знакомых по студии танцев. «Я приду, я приду, обязательно надо сходить», — говорили все, но, сойдя на остановке, они встретили только Анну.

Приглушив обычную спокойную жизнерадостность, она выглядела суровой, печально несуетливой и вместе с тем скрыто возбужденной. Это выразилось в том, как у нее раздувались ноздри и потемнели глаза.

— Где ты купила гвоздики? — спросила Люба. — Мы не догадались.

— Вон там. Еще есть время, — сказала Анна, избегая взгляда Павла.

Они купили цветы в павильоне, а потом направились к залу прощания. Перед ним толпился народ. Люди стояли кучками, кружками, мужчины держали венки с темно-зеленой хвоей как щиты. Павел, наклонив голову, читал надписи на траурных лентах, пытаясь понять, где собрались пришедшие проститься с Лешей. Рядом замерло на стоянке несколько черных «газелей» с открытыми задними дверцами.

Анна скрылась внутри и, выйдя, махнула им. Оказалось, что отпевание Леши уже идет. Они проскользнули в забитый зал, озаренный лампами и свечами, и стали за спинами. Тут же заплаканная Инна, партнерша Леши по хастлу, сунула им в руки свечи и зажгла от своей.

Свечи приходилось держать под наклоном, когда же Павел забывался, воск, падая, обжигал и стягивал кожу руки. Павел опускал голову, а потом переводил взгляд на руку Анны и видел такие же застывшие капли. Анна задумчиво катала свечку в длинных пальцах. Он хотел, чтобы она посмотрела на него, но она смотрела в зал.

Народ стоял так плотно, что гроба не было видно. Иногда мелькало одеяние священника, ходящего внутри по кругу и читающего молитвы гулким голосом. Два парня находились в центре, выполняя какую-то функцию. Один, молчаливый и задумчивый, накладывал крест уверенно, со знанием дела; второй, с помятым и мокрым от слез лицом, с кривящимися губами, крестился бессвязно, мелко, испуганно. По их замершим в одной точке взглядам было видно, что они смотрят на покойника и что на них возложена особая миссия, для которой они выведены и поставлены так значительно и симметрично.

Была атмосфера слез, мягкая влага в густом, пахнущем воском и ладаном воздухе, только раздражал кто-то невысокий, суестьющийся слева; он беспрестанно вставал на цыпочки, поднимал руку с телефоном поверх голов и щелкал с навязчивым фотоаппаратным звуком, а потом смотрел на экран.

Минут через двадцать церемония окончилась. Священник объяснил, что теперь все могут подойти и проститься с усопшим.

— Можно поцеловать венчик на лбу. Или прикоснуться к руке. Кто верующий, помолитесь дома или зайдите в церковь поставить свечку за упокой. Либо можете положить свечи, которые у вас в руках, вот сюда, рядом с гробом.

После того как он вышел, все зашевелились и начали продвигаться к гробу. Слышалось шушуканье, гул и шорканье переставляемых ног.

— Как много народу, — сказала Люба. — А наших, кроме Инны, никого.

— Может, затерялись в толпе, — предположила Анна.

Двигались медленно. Вот малиновый бархат гроба и укрытые саваном ступни Леши. Он открывался взгляду постепенно, по мере приближения, и вот уже было видно все укутанное тело с выправленными наружу руками, соединенными на груди, и восковое лицо. На него словно нанесли искусственный румянец. Щеки опали, губы почернели и лежали на лице как пиявки. Глаза провалились глубоко внутрь, будто их не было вовсе, а были только сморщенные веки.

— Совсем не похож, — прошептала Люба потрясенно, покачав головой. Анна вздохнула. Инна держалась в стороне, отдельно.

Люди, подходившие к гробу, прикасались к рукам или к голеням покойника. К венчику прикладывались немногие. Павел решил приложиться к венчику, но, когда приблизился к гробу, понял, что не сможет. Он поглядел на беспомощно связанные руки Леши, подумал и подержался за ступню.

Вслед за ним подошли проститься с Лешей Люба, Анна и Инна, он не видел — смогли ли они сделать то, чего не смог он.

От головы покойного движение резко ускорилось к выходу. Там стояли два постаревших и уменьшившихся от горя человека, мать и отец Леши. Павел пожал руку отцу и прикоснулся ладонью к плечу матери, как делали все, и с облегчением вышел.

Он редко бывал на похоронах, церемония произвела на него тягостное впечатление, и, когда они втроем шли назад, больше всего помнились связанные руки Леши и неестественный, словно актерствующий, голос священника. А еще его угнетало, что Анна не смотрит на него.

— Вот и нет нашего Снеговика, — промолвил Павел, чтобы как-то встряхнуться.

— Какого Снеговика? — сказала Люба с укоризной, глянув на него. — Его звали... его зовут Леша Красин.

— Нашего, — откликнулась Анна, впервые встречаясь взглядом с Павлом.

— Все равно, — сказала Люба, глотая комок в горле. — Все равно неудобно так.

— Да, я знаю, — ответил Павел смущенно, ободренный взглядом Анны. — Леша. Леша Красин. Не стало Леши Красина. А я такое сказал в парке...

Когда они перестроились гуськом, переходя светофор, он украдкой протянул ладонь и робко пожал руку Анне. Это было благодарностью за то, что она поняла его. В ответ пришло сдержанное пожатие: «да, я поняла, что это была не фамиллярность».

— Знаете, я не смогла приложиться к венчику, — проговорила Анна. — Все время, как батюшка сказал: «вы можете приложиться к венчику», думала, как подойду и сделаю это. Но мне стало...

— Противно? — спросила Люба тихо. Анна кивнула, закусив губу, и посмотрела на них. Глаза ее сверкнули наливающейся влагой.

— Мне тоже, — сказала Люба так же тихо, виновато. — Потому что ну совсем не похож. Я сказала себе: «это не Леша, это манекен». Я поцеловала. То есть поцеловала не его. Только потому и смогла поцеловать, что подумала: «он не живой», то есть: «он не мертвый», то есть... — она запуталась, и две слезы сбежали блестящими дорожками по щекам. — Странно, что все его любил, а приехали только мы.

Анна тоже плакала, на ходу отыскивая в сумке платок. Уголки губ ее приподнимались, словно она через силу улыбается сквозь слезы.

— Прости нас, Леша, что нас пришло так мало. Наверное, остальные не смогли. Все тебя любили, — сказала Анна. — Прости, Леша, нас.

— И Инна так плакала, — произнесла Люба, вздохнув.

— Она хорошая. Очень хорошая, — быстро сказала Анна.

Странно, что вот я иду с похорон, думал Павел на ходу. Иду со всеми с похорон человека. Я осознаю, что физически ничем не отличаюсь от Леши и завтра тоже буду лежать в гробу, и ничего не подумаю, не скажу, и вместо меня будет бесконечное ничто. А я иду и трогаю за руку бывшую любовницу, когда отворачивается жена. Как будто Леша только и жил, чтобы потом умереть и создать повод для нашей встречи. И она тоже, кажется, рада и отвечает мне — жмет мне руку — как бы с укоризной, строго улыбаясь за спиной моей жены, которая в этот момент становится снова обманываемой нами, и хоть идет рядом, но снова уже как бы удаляется от нас, прозрачнеет и блекнет, и вот я своими действиями окончательно прогоняю что-то хорошее, что было в домике, и мы снова идем и живем так, будто не было всего этого. Когда я собирался на похороны, я знал, что будет сначала тягостно, а потом как всегда, но не знал, что уже через несколько минут будет как всегда и даже лучше, потому что — Анна. Как это остро — брать ее за руку. И стыдно перед родителями Снеговика.

На остановке они разошлись в разные стороны. Анна пересекла дорогу — ей надо было в город, Павел с Любой вошли в автобус. И когда Анна исчезла из виду, а он, сев с женой на двойное сиденье, смотрел в окно на гнетущее небо, на идущих людей, ему стало неудобно и тоскливо. Он заволновался, как животное, которому сунули в кольцо веревку и куда-то повели.

Я не готов умирать, подумал он вдруг и потряс головой, прогоняя эту невозможную мысль. Я совершенно не готов умирать.

— Что с тобой? Опять болит зуб? — спросила Люба, склоняясь.



Ее звонок пробил брешь в стене установленной ими тишины. На следующее утро, когда Люба ушла на работу, он снова позвонил ей. Они встретились в центре, на квартире, как старые супруги, которым знаком каждый взгляд, поворот тела, каждое движение, каждое желание друг друга, и после этого приняли как данность то, что им надлежит быть вместе. Это было их проклятие и радость, радость отчаянного полета, разгона по трассе, заканчивающейся пропастью, темнотой и ветром с другой стороны хрупкого стекла.

В их отношения пришла будничность, которая позволяла обоим снять остроту ощущений, слишком быстро истрачивающую их, слишком стремительно ведущую к финалу, который оба смутно осознали и которого боялись. Они перестали смотреть в свои отражения в стекле, теперь кажущиеся пойманными в зеркала погибшими душами. Не замечали знаков, свидетельствующих о неслучайности их встречи, не видели подмигиваний иной, их личной реальности, которые раньше встречали с восторгом.

Идя на квартиру, Павел чувствовал приливы глубинной тоски, будто был уже мертв, недвижим и смотрел на прокручиваемой пленке историю своей жизни, где он был только безвольным персонажем недоброго автора, безжалостного энтомолога, коллекционера мертвых бабочек, книги которого обожала жена, — и не было никакой возможности сорваться с цепких крючков, выбраться из поворотов придуманного сюжета, как из лабиринта, не имеющего выхода.

Они притупили остроту совместного бытия введением прозаических деталей. Купили лампу с абажуром, повесили шторы, принесли домашние тапки, иногда гоношили что-то на кухне после постельной схватки. Анна не очень любила готовить; в основном они ели полуфабрикаты —пельмени, котлеты. Она обильно перчила блюдо, со вкусом чихала и, повернув к нему улыбающееся лицо, говорила: «Ух, перец-батюшка», а потом, сливая воду через дуршлаг, делала такое растеряннo-напряженное лицо, словно смертельно боится обварить руки.

Он улыбался с еканьем в сердце от предсказуемости, изученности этих действий, от изученности им всей этой девушки, от ее понятности и при этом от роковой неспособности развязаться с ней. Его лодыжка подвернулась слишком сильно.

Он не думал о том, чтобы расстаться с Любой и начать жить с Анной, — втайне Анна пугала его, потому что влекла к некоей явно ощущаемой им бездне, — и вспыхивали перед глазами черные пиявки на белом лице Снеговика.

То, от чего он не мог отказаться, — это ее кожа, ее тело, несмотря на внешнюю балетную наструненность, мягкое и податливое, само просящееся в руки, предугадывающее все его желания настолько, что в постели никогда не нужно слов. Как ни старался он уравнять и подвести под один знаменатель ощущения от секса с Анной и с женой, сокращая и упрощая дробь, зачеркивая, вынося за скобки, — уравнение не имело решений.

Он старался теперь уделять повышенное внимание Любе, упреждать все ее желания, — он не собирался снова терять ее. И когда в феврале они собрались парами в новое злачное место — юрту и Люба почувствовала себя плохо, он решил остаться. Но она практически выставила его за дверь: «Оторвешься за двоих».

Они шли впятером, растянувшись по улице. Павел, Анна с Игорем и еще одна пара с танцев — длинноволосый бородатый Слава, жгучий брюнет с порывистыми движениями и мистической экзальтированностью в глазах (все знали, что он участвует в каких-то сеансах спиритизма), и его подруга Вика,

одевающаяся в славянском стиле, что с ее полнотой и грубоватостью ей совсем не шло.

— Я вот думаю, бог-то тоже под какими-то санкциями, — сказал Игорь. — Я не верю в эту байдю, что он дал порулить дьяволу. Как можно сталкивать людей с заведомо более хитрой тварью? Понятно, что он испортит всех людей. Дьявол как-то оттеснил бога. И теперь бог помогает только в самых критических случаях, как бы нелегально.

— Я не верю, что бог создал людей, — сказал Слава, берясь за бороду у основания и соскальзывая к ее низу с улыбкой эзотерика — приятной и вместе с тем холодной. — Нас создал дьявол, чтоб питать ад. Поэтому он и правит миром. Никакая жизнь невозможна без него. Ни искусство, ни любовь, ни счастье. Все лежит на сладости греха.

— Вы правда так думаете? — спросила Анна.

— Он правда так думает, — сказала Вика булькающим, жирным голосом. — Мне было б страшно с ним жить, если б он не работал слесарем. Просто подумаешь: какой он сатанист? — он же слесарь!

Все засмеялись.

— Просто ад — это не так ужасно, как его представляют, — улыбнулся Слава. — Там вполне можно существовать. Мы здесь — в одном из его измерений.

— Ну а ты, профессор? — спросил Игорь, повернувшись к Павлу.

— В общепринятом понятии я атеист, — сказал Павел, украдкой беспокойно трогая мизинец Анны. — На данный момент мое представление о вселенной несколько упрощенное. Миров множество, как вверх, так и вниз. Для обитателей низших миров мы в раю, а для высших — в аду. Иногда возникают коллизии... чем мы и обязаны всякого рода полтергейстам и прочим непонятным явлениям.

— И это атеистичное сознание? — хмыкнул Игорь.

— Это не противоречит научным концепциям.

Это действительно была настоящая юрта — шатер метров пятнадцати в диаметре. Вход в нее помимо кустарно сбитой дощатой двери отгораживал войлок, сберегающий тепло. Электрические лампочки у стойки и тлеющие лампадки у низких столиков разбавляли тьму, создавая полумрак. Стены украшали восточные ковры.

Народу набилось битком. Пространство у входа было плотно заставлено обувью, груды полушубков и курток на вешалках мешали пробраться, словно лапы елей в лесу. Люди разувались и проходили по коврам, наполняя помещение ароматами ног; новички хитрили с носками, пряча дырки.

Фишкой юрты была игра на тамтамах. Похожий на бразильца волосатик с собранным на затылке пышным хвостом, полуголый, в обрезанных до колен штанах, заправски молотил по зажатому между колен тамтаму. Рядом на полу стояли другие экзотические барабаны вытянутой формы, которые можно было брать и присоединяться к музицированию. Посетителям предлагалось и несколько других инструментов: пара маракасов, варганы и бусы из засушенных плодов неизвестного растения, которыми полагалось трясти в такт.

Они сели на восточные подушки за один из низких столиков, расположенных по периметру, и сделали заказ. Павел пытался найти удобное положение, то подкладывая ноги под себя, то обнимая колени, то сползая спиной по стенке шатра в полулежачее состояние. Вокруг стоял гул голосов. Побулькивали разноцветные кальяны.

— Ого, народ! Теперь я предлагаю поджемовать, — возвестил бразилец от центра. — Не стесняйтесь брать барабаны, пробовать их. Есть маракасы и трещотки. Есть рог буйвола и рог козы, — в его поднятых руках оказалось два рога — побольше и поменьше.

Рог буйвола взяла Вика. Ее волнистые распущенные волосы были стянуты ободком, длинная одежда при полноте форм роднила ее с оперной дивой.

Игорь заполучил рог козы. Усевшись по-турецки, он выпучил глаза и дунул, но звука не получилось. Он сконфуженно отнял изогнутую костяную трубку и принялся отыскивать брак.

— Не так дуешь, — сказал Слава и, приложив к губам рог, исторгнул высокий жиденький переж, пародию на музыкальность, подходящую скорее для сопровождения каких-то сатанинских игриш.

— Хочешь? — предложил он Павлу.

— Нет. Я не уверен, что он стерильный.

Рогом снова завладел Игорь. Вика, поглядывая на него с превосходством, трубила гораздо полновзвучнее и успешнее. Видимо, она пришла сюда не в первый раз, и у нее была возможность попрактиковаться.

Бразилец раздал все шумовые инструменты и объяснил, как правильно держать тамтамы. Десяток человек, в том числе Слава и Игорь, шагнули к центру и уселись в круг, зажав их между колен. На пятке Игоря открылась огромная дырень. Анна и Павел полулежали, привалившись к стене и незаметно соединив руки под низким столиком.

— Сначала объясню на словах, — крикнул бразилец. — Играем бум — така-така-бум. Повторяем за мной!

— Бум! Така-така-бум! — послушно повторила толпа. — Бум! Така-така-бум!

— Хорошо. Теперь берем барабан. «Бум» — удар в центр, «така-така» — ближе к краю. Кто может — играет в ритм со мной, кто не может — играет соло.

Юрту наполнил гул. Подключились трещотки и маракасы, пространство наводнили таинственные, потусторонние звуки варганов. Рог козы куда-то исчез и обнаружился на другом конце помещения, и кривляющееся сатанинское веселье разбавило угрюмую дикарскую атмосферу, создаваемую барабанным боем.

— Теперь мы начнем понемногу ускоряться, — скомандовал бразилец, убыстряя ритм. — Те, кто играют, — играют. Остальные могут танцевать.

К центру, как бы крадучись, начали стекаться несмелые фигуры. Они смущенно подбирали подходящие движения для этой музыки. От боя тамтамов, казалось, вздрагивает воздух в юрте, упруго, натянуто, как тяжелая ткань или барабанная перепонка; он становился осязаем, он проявлялся в этом ритме.

Более всего подходили дикие, угловатые движения, которые, вскочив с места, начал выполнять Слава.

Он был босиком, в белой полурасстегнутой рубаше с закатанными рукавами. Черной бородой, смуглостью и общим ведьмовским обликом он напоминал Распутина.

Он резко сгибал туловище, подпрыгивал, кружился по юрте, воздев руки, топя голыми пятками, сверкал белками и зубами и гортанно вскрикивал.

Ближе к центру из толпы выделилась девушка; движения ее были неуверенными, недостаточно плавными, но в целом грациозными, приятными.

Павел вспомнил, как Люба в начале знакомства строгала его на симфонический концерт Рахманинова. Ярь духовых и полировка рояля, зеркально отражающая руки пианиста («а у Рахманинова был очень вытянутый рояль», — комментировала она), длинные фалды фраков, делающие мужчин похожими на ученых насекомых, вечерние платья скрипачки, строгие правила, согласно которым не хлопают по окончании сыгранной части, резкая, как бритва, сакральная отделенность сцены от зала...

Как это далеко ушло и провалилось во мрак, и теперь он был тут, где зрители полулежали человеческими развалинами, выдувая разноцветный дым, и сами могли перейти в разряд плохих музыкантов, где, как каннибалы, немusикально трубили в рог, где нужно было дергаться вместо танца, — и делали все это образованные люди, у многих в сумках книги или читалки... Бум — така-така-бум!

На нас влияет то же самое, что и на жителей каменного века, думал Павел. Те же примитивные страсти, ритмы. Мы добровольно, легко и охотно опьяняемся ими, отказываясь от разума и воли...

Он смотрел на змеистые движения девушки. Она клубилась в мареве, волнисто поводя руками в трансе, словно ей овладело сознание змеи, и девушке это нравилось. Ее руки и туловище извивались как змеи.

Игорь оставил барабан, выскочил в центр, к девушке, и начал яростно подергиваться перед ней, воздевая руки и тряско опуская их вдоль ее туловища. Девушка, кокетливо опустив тяжелые веки, вся струилась, волнами разливая тело в упруго подрагивающем от барабанного боя воздухе.

Бум! Така-така-бум! Бум-такатакабум! Бумтакатакабум, такатакабум! — все более ускоряясь, пульсировало в голове.

Вика грозно трубила и, как заведенная, поворачивалась направо-налево в такт бою. Парочки возбужденно обжимались за столиками. Только девушки за освещенной стойкой сохраняли бесстрашие.

Слава упал на пол и стал конвульсивно подергиваться. Игорь тоже лег на пол и начал ползти на спине, вытаращив глаза и оскалившись. Он опьянялся не только боем тамтамов, но и своим безумным напоказ поведением подзаводил себя. От стен, из углов послышались одобрительные крики, множество глаз сверкало в темноте, множество рук блуждало по телам сидящих рядом.

В темноте Павел держал Анну за руку, теребя ее пальцы, играя с кольцами, бессознательно пытаясь снять их. Она взглядывала на него с загадочной улыбкой и снова смотрела, как выгибается Игорь на полу, и в ее глазах был интерес.

## 14

— Все-таки это все отвратно, — сказал он Анне при встрече. — Как все пытаются скинуть цивилизованность и окунуться во что-то темное, что мы давно оставили позади. Слава был как бесноватый. Игорь тоже. Они все как-то... змеились.

— Ты же видишь, что все они играют. Это как бы танец, — объясняла Анна грудным материнским голосом, как ребенку, прижимаясь к нему. — А танец это как бы обряд. Они символически сходят с ума и так сбрасывают напряжение. Если б ты попробовал, ты бы так не говорил. Только со стороны кажется страшно, а попробуешь — весело.

— Не знаю. Все это как опийный притон, — сказал Павел. — Примитивная забава.

Ей стало неприятно от его слов. Она хорошо провела несколько часов в этом месте.

— Даже не ожидала, что это может на тебя так подействовать. По-моему, все там нормально. И никакой не притон... Да и вообще. Ты же вроде не религиозный моралист, — сказала она прохладно.

— Это не религиозность. Это органическое неприятие. Неприятие к змею как к склизкому, ползучему... К червям тоже. К пиявкам...

— Ты трогал змей? — перебила Анна.

— Еще бы я их трогал.

— Они не склизкие. Мне однажды повесили змею на шею. Это было в парке. Там был знакомый Игоря со змеей. Игорь взял меня за плечи, прижал к скамейке и сказал: «давай, это кайфово!» Ему было так весело, что я боюсь. Я едва сдерживалась, чтоб не завизжать. А потом мне стало все равно. Я думала даже — пусть она меня задушит или укусит, то-то будет ему хлопот со мной! Фотограф поднес змею. И я ощутила ее, — сказала она, помолчав. — На шею. Она была теплая и приятная. И когда она слегка двинулась на мне, я почувствовала какое-то возбуждение... Гадко и вместе с тем будоражит. Вот такая я развратная, — завершила она, отворачиваясь.

— Ну что ты, — сказал Павел, смутившись, осозная, что весь гадливо переморщился, чувствуя неестественное, искривленное, собранное в гримасу положение лицевых мышц и поняв, что это обидно для нее. — Ну не люблю я змей. Тут мы разные.

— Мы очень разные, — сказала она, сидя прямой балетной спиной к нему. — Нам давно пора из этого сделать выводы.

Он вздохнул и, привлекая ее к себе, сжал ее руки выше локтей. Он понимал, что это — еще один повод все закончить, раздуть клобуком упрямство или обиду, но этих поводов каждый день было предостаточно, и он, как всегда, не имел сил воспользоваться ими, даже сегодня.

Он провел от локтей к оголенным плечам, что всегда заводило его, и вдруг ему пришла мысль об изгибающихся руках танцовщицы, о гладкости змеи. Он крепко обнял Анну со спины, заключив в чашечки ладоней маленькие холмики ее груди, ткнувшись губами в ямочку над ключицей, зажмурился... В багровой тьме поплыли розовые черви на тротуаре, черные пиявки губ на лице Леши, змея на смуглой шее.

Она, глубоко задышав, завела руку за спину в поисках той его твердости, которую привыкла находить, и тогда, помедлив, подняла локти рывком, высвобождаясь из замка его объятий, подошла к зеркалу и стала молча собирать волосы и чиститься, как делала всегда перед уходом. Он остался сидеть на диване.

— Ну, что ты, — сказал он, следя за ее действиями побитым взглядом. — Я просто устал. Давай просто полежим?

Она зло рассмеялась, вправляя серьги в уши, поворачиваясь то одной стороной лица, то другой, безупречной, твердой и гладкой, как камень.

— Полежишь дома. С женой.

— Зачем ты так.

— Не нравится? И мне не нравится, что я, нормальная, не с улицы, не уродина, — противна.

— При чем тут «противна», — пробормотал он, совсем сникнув, садясь в поверженную, сутулую позу, спустив ноги на пол и свесив с колен кисти рук.

— Ты видел свое лицо? Ты не замечаешь. И это не первый раз так. Ты очень изменился. Очень изменился.

Закончив, она подхватила сумочку и устремила в прихожую. Он встал и вяло, засунув руки в тесные карманы джинсов, двинулся за ней.

— Пожалуйста, больше не звони и не приходи близко, — сказала она, надевая полусапожки, поднимая страдающее лицо в слезах. — Я очень тебя прошу. Очень прошу.

Она сняла с вешалки плащ, сунула руки в рукава, застегнулась, нашла сзади пояс и стянула на талии.

— Аня... Аня! — сказал он, трогаясь к ней.

— Стой там, — она с ужасом вытянула вперед ладонь, надевая на плечо сумочку. — Тихо! Стой! Мы оба этого хотели. Я тоже хотела. Я не собиралась разбивать твою семью. Да и ты бы не смог.

Он замер, опустив голову. Заклопнулась дверь. По лестнице сбивчиво, отчаянно загрохотали каблук.

Он умолчал о том, что жена ждет ребенка. Он все думал, как сказать, и все тянул, опасаясь, что после этого Анна изменится к нему или бросит его. Но теперь ему стремительно легчало.

Люба собиралась возобновить занятия хастлом, но с первых недель беременности у нее начался страшный токсикоз, — она целыми днями лежала в лежку, и вопрос снялся сам собой. Павел был рад этому. Встретиться глазами с Анной после всего казалось выше его сил. Сквозь боль от разрыва,

от которой он уже был привит прошлым расставанием, быстро проступила радость от внятности и непреступности своего положения, появилось чувство внутренней свободы и легкости. Он словно спасся с острова сирен. Он с удовольствием работал и занимался спортом, каждый день выходил на пробежку и сохранял спокойствие и довольство жизнью все девять месяцев.

Роды были легкими. На свет появилась девочка. Лена.

Жизнь началась — как на дне теплого водоема: колышутся растения, с их поверхности стартуют вверх и побулькивают пузыри, отдавая воде углекислый газ, днем озаряет, пронизывает толщу воды луч света снаружи — не мешает внутреннему бытию, не отвлекает от себя и дома, а потом снова темнота и мерное волнообразное колыхание внутренней жизни...

Павел полюбил гулять с коляской. Раньше он не понимал родительской гордости мужчин, сейчас же был рад встрече со старыми знакомыми в своем новом качестве.

Однажды у магазина он увидел краснолицего пузана с хастла — мужа графиньки. На танцах пузан всегда был как бы эрегирован, устремлен, в застывшем рывке, к любому, к кому по законам хастла переходила его жена, и был неприятен Павлу — но сейчас с танцами было покончено, и Павел подошел поздороваться и спросить, продолжают ли они с женой ходить на занятия.

— Не, — ответил пузан одышливо, с принятием в обществе одобрением глядя на коляску. — Не мое. Отстрадал. Танцую дома. Не мое. Я бы еще танцевал в тишине и темноте, чтоб никто не видел. А лучше бы вообще не танцевал. Ну его. Не мое.

Из магазина вышли графинька и подросток лет двенадцати, видимо, сын. Графинька была в джемпере и джинсах, именно в том виде, в котором почему-то Павел никогда не мог ее представить. Они кивнули и улыбнулись друг другу.

Через полгода состоялась еще одна встреча, связанная с прошлой жизнью.

На «зебре» в ожидании зеленого сигнала светофора рядом с коляской Павла остановился парень — бритый, с бородкой, в темных очках. На животе у него была кожаная сумка на заплочных лямках, в которой спал белесый младенец. Павел смотрел на профиль парня и думал, не ошибся ли он, и стоит ли привлечь к себе внимание. Красный сменился зеленым, и они быстро двинулись через дорогу, а потом разошлись в разные стороны.

Павел вел коляску, взволнованный этой встречей, оборачиваясь и глядя, как Игорь удаляется своей изломанной, модной, ворчливой походкой и исчезает в толпе. Он чувствовал небольшую, как темное облачко, ревность, но и одновременно огромное светлое облегчение, — все это была давняя, удачно для всех них законченная история, — хотя иногда он вспоминал Анну. Обрывки, детали, моменты. То, как смотрели в глубину синего зимнего стекла и видели словно бы Павла-мужа и Анну-жену, как танцевали, как пахло сладкой ватой и как стелился дым по мокрому асфальту.

Он не рассказывал Любе об этой встрече и хранил ее в уголке памяти — последнее, что связывало его с Анной, тонкую ниточку, которая вот-вот, истончившись от времени, прервется и рассыплется без следа.

## 16

Люба на удивление быстро пришла в форму. Страстно мечтающая о ребенке, после рождения Лены она не так охотно занималась девочкой, не так растворялась в ней, как он ожидал, и часто уходила по делам, прося его побыть с ней. Она поставила себе цель быстро вернуться на работу, — стремилась поскорее выйти из этого уютного подводного покачивания втроем, которое он так ценил и старался продлить, ловя мгновения вместе.

Она стала очерченнее, взрослее, интереснее в постели, но вместе с тем стремительно теряла то, что он ценил в ней изначально, — юность, доверчи-

вость, детское милое дурачество. У него щемило в груди, когда он замечал эти изменения. Он скучал по ней, когда ее не было рядом, и продолжал скучать, когда они были вместе.

— Мне хочется быть с... тобой... хочется быть... тобой, — бормотал он в иступлении, раскачиваясь, гремя диваном в ритме «от партнера — к партнеру».

Лежа навзничь, она вонзала ногти в его плечи, резко мотая головой, рассыпая волосы по подушке.

— Ты слышала, что я сказал? — спросил он, когда иссяк и отвалился набок. — Я хочу быть тобой.

Ему показалось это так значимо — он был обрадован этим, как ребенок, сочинивший первое стихотворение.

— Ты и так сейчас я, ты во мне, — ответила она с улыбкой и облачком недовольства, приоткрыв глаза, «не мешай», двигая пальцами вниз. Он хотел помочь; она не далась.

— Мне хватит тебя на всю жизнь. Мне больше никого не нужно.

— Да...

— Прости, что не поцеловал на эстраде.

— Что?..

— Помнишь, на эстраде... Два года назад. Прости, что ты просила, а я не поцеловал.

— А... Ударь меня по щеке, — вдруг сказала она.

— Что?

— Скорее. Влепи мне пощечину, — она начала задыхаться и всхлипывать.

Он помнил ее девочкой, любил ту, кем она была когда-то, когда он не мог ее любить, потому что был отвлечен на другую, и медлил, не мог ударить ту девочку.

— У меня все пройдет сейчас, — сказала она, открыв глаза с неожиданной злостью. — А потом опять будешь извиняться.

Зависнув над холмами ее крупных грудей, он звонко дал ей по щеке.

Она дернулась, стиснула зубы и вдруг засмеялась: «аха, аха, ха, ха», словно бесноватая, закинув голову, — и ему на миг стало страшно, потому что он не знал, что за человек с ним рядом.

## 17

Когда Лене исполнился год, жена сказала, что хочет снова пойти на хастл. Это слово ударило тараном в ворота его крепости, само его звучание было для него невыносимо. Она уже все продумала. «Сидеть с дочкой может дед».

— Зачем ходить? — спросил он, держа дочку на руках как щит. — Давай просто танцевать с собой. Как в домике. Танец — это вообще для двоих.

— Ай! Ну что ты говоришь! Сам говорил — «мы не должны замыкаться в себе»... А теперь назад?

— Но я же не отказываюсь танцевать с тобой! Зачем ходить куда-то?

— Ну, я очень хочу! Если хочешь, дома мы тоже будем танцевать, для себя. Но я хочу там! Пожалуйста! — она тоже была упряма, ей, видимо, было необходимо свидетельство своего успеха, признание своего нового статуса успешной, взрослой, расцветшей женщины.

Попрепившись, он предложил ей ходить на хастл одной, в надежде, что она откажется. Но она легко согласилась.

— Это самый лучший вариант. Я знаю, что для тебя это неприятная обязанность.

— Рад, что ты рада, — сказал он. Теперь он уже не мог пойти на попятный.

— Ладно тебе. Зато у меня будет резон быть в форме.

— А ради меня тебе не хочется быть в форме?

— Ну, не дуйся. Если хочешь, дома мы тоже будем танцевать, для себя, — повторила она.

Танцевать дома они не начали. Он сидел с ребенком, а она уходила. Возвращалась усталая, веселая, с румяным лицом и блестящими глазами. Говорила, что постоянного партнера у нее нет; он и верил, и не верил. Он старался не думать лишнего.

— Танцы помогают мне быть красивой для тебя. Помогают не толстеть, держать тонус. Тебе же нравится, какая твоя жена на фоне других? — и она кружилась по комнате, взметая юбку, а он сдержанно улыбался, глядя, как высоко оголяются ноги.

— Вот! А ты не хотел, чтобы я танцевала!

Когда дочке исполнилось полтора, Люба отлучила ее от груди и вышла из декрета. Ее повысили до начальника отдела, а в его КБ началась реструктуризация, слетело несколько заказов, доходы упали. Она стала основной добытчицей, а он сидел дома с дочерью. Он переживал по этому поводу, но она сказала: «ничего, ты очень стараешься быть хорошим мужем, но ты еще лучший отец». Эти приятные слова хлестнули его.

Она еще больше расцвела, налилась соком. Модно одевалась, благоухала дорогими духами, возвращалась домой на чужих машинах — с увлечением окунувшись в жизнь замужней деловой вумы, тогда как раньше, при всей формальной взрослости, была его девочкой, почти ребенком. Как он скучал по той, другой Любе!

Приходя домой, она ложилась, закидывала на стену свои длинные ноги и утомленно рассказывала, как устала от работы, и под этим как-то еще проглядывало, что и от семьи тоже. Иногда от нее пахло дамскими сигаретами и сладким вином.

— Тебе кажется, не говори ерунды, — отмахивалась она, когда он спрашивал о поводе возлияний. Теперь она могла прикрикнуть на него, а у него не было моральных сил оборвать ее; он успокаивал себя тем, что вспышка объясняется ее усталостью, и часто оставлял ее грубость без ответа.

## 18

— У тебя кто-то есть? — спросил он ее однажды, садясь рядом.

Она искося посмотрела на него — уверенная, красивая, чужая — и засмеялась: «ха... ха... ха...» Посмотрела и снова засмеялась.

— Ну ты и дурак, — сказала веселым голосом, усвоенным для подбадривания подчиненных, обнимая его за шею, словно добрый приятель. — Ты знаешь, как я занята? Какой у нас интенсив на дню? Эх ты. Нет, милый, я люблю только вас двоих и больше ни-ко-го.

— Я просто как бы что-то чувствую, — сказал он, исподлобья глядя на нее.

— Я тоже много чего чувствовала, — парировала она. — И что? Разве это было правдой?

— Нет, но...

— Ну вот!

Она увидела, как сломанно он поник, и смягчилась.

— У тебя что, депрессия? — спросила, садясь рядом.

— Ты отдалилась, — сказал он сухо, пожав плечами. — И эти танцы. Я встретил как-то пузана, мужа графиньки, ну, с хастла... он сказал — танцевать лучше в тишине и темноте. Это правильно. Танец — это для двоих. Больше не надо. Зачем ты ходишь туда?

— Паш, ну, это глупо, — сказала жена, улыбнувшись. — Танцы — это танцы. Можно поменяться за час с десятью партнерами. И этим они хороши. И еще. Послушай. Я хочу, чтобы ты ревновал.

— Я и ревную.



— Я хочу, чтоб ты ревновал, — повторила она. — И сама хочу ревновать. Тихо, тихо, дай досказать! Мы никогда не будем одним целым и всем, что себе напридумали в домике. Я думала, что смогу. Но я не смогу, это прошло. Это было детство. Там было одно, сейчас другое. У нас дочка, и вообще все поменялось... И у нас на самом деле все очень хорошо! Ты идеальный муж и идеальный отец, я сама себе завидую. Ты умный, заботливый, дочке повезло с тобой...

Он, скрепив руки на груди, саркастично кивал.

— ...У тебя сейчас просто кризис да эти проблемы с работой. Тебе тяжело. Но нас учили — чтобы было хорошо, надо, чтобы сначала стало невыносимо. Невыносимо, — повторила она. — Хотя на самом деле я считаю, я говорю: у нас все очень хорошо. Квартира, машина, достаток — в такое время...

Она говорила все очень правильные слова, убежденно, эмоционально, и ей, видимо, нравилось, что она говорит так хорошо, и она даже немного любовалась собой сейчас, он видел это... и одновременно чем правильнее и убежденнее она говорила, тем ему становилось тоскливее на душе и тем сильнее жимало сердце.

— ...Ты просто давно не выходил, у тебя депрессия из-за работы, но это временно. Тебе надо просто заново посмотреть вокруг! Надо выходить, развешиваться, смотреть на женщин... Ты ж не видишь никого, кроме меня! День через день, в четырех стенах, совсем не гуляешь, так нельзя.

— Я гуляю с Леной, — сказал он с тихим упреком. — Два раза. Каждый день.

— Это не то! Я тоже люблю Лену, но надо отдыхать, надо время на себя. Надо расшевелить себя! Нельзя просто сидеть и киснуть. Если хочешь, можем сходить к психологу. Здесь тоже ничего такого. У меня есть один знакомый, — закончила она и посмотрела на него с легким нетерпением, сжав губы в полоску.

— Нет, лучше уж погуляю, — сказал он с улыбкой, сконструированной для нее.

Во дворе было зелено, свежо, деревья нежно светились в вечерней бирюзе. Он не знал, куда пойти, поэтому завернул за дом и сел на перила.

Вид был открытый, распахнутый — окраина, пустырь и железная дорога между купами деревьев по бокам. Он посмотрел вокруг. Прислушался к себе. Ну вот, уже совсем «невыносимо». Наверное, скоро должно начаться «хорошо».

Перед ним был мост, и к нему издали приближался поезд, ревя гудком. Поезд был длинный-длинный мрачный товарняк. Павел загадал, что, когда пройдет этот поезд, все наладится. Ведь действительно все нормально — весна, липнут тополиные почки к подошвам и везде сережки берез, все оживает, молодеет.

Он вспомнил, как все было недавно и как давно, и ушло куда-то и растаяло, как дым от сладкой ваты, до которой так и не дошли... Как сияли Любины глаза, и как сам он смотрел на Анну, и как гуляли вместе, стояли на эстраде и видели маленькую радугу, но тогда было не до нее... Можно ли было по-другому, или все было прописано за них — от и до? И почему сережки, милые березовые сережки под ногами так похожи на червей?

Свистнуло, накатило что-то неуловимое, неподуманное — последним вагоном, последней вспышкой, — отшумело и умчалось; он долго провожал взглядом хвост поезда, поворачивая голову и щурясь. Он стал близорук, но не любил носить очки.

Когда вагон скрылся из виду, он еще посидел, посидел, а потом встал и пошел куда-то.

## Елена Зейферт

### Метафоры на пуантах

\*\*\*

он морщится от боли  
будто карлик живущий внутри него  
начал расти

маленькие руки  
массируют ему изнутри спину  
унимая боль

\*\*\*

её дрожащий пальчик  
удаляющий в телефоне его номер  
отражается согбенной фигуркой  
осиротевшей матери  
растерявшимся ангелом

она тычется личиком в его стеклянную рубашку

\*\*\*

она уже большая  
не видел её первого шага  
не слышал её первого слова  
и не получит хлебную карточку  
на корочку с дочкиной коленки

\*\*\*

загибает пальцы  
считая победы над женщинами

между пальцами перепонки

---

Елена Зейферт — родилась в Караганде (Казахстан). С 2008 г. живёт в Москве. Профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор филологических наук. Победитель I Международного Волошинского конкурса в номинации «Стихотворение, посвященное М. Волошину и Дому Поэта» (Коктебель, 2003). Лауреат главной литературной премии федеральной земли Баден-Вюртемберг (Штутгарт, 2010). Стихи публиковались в журналах «Октябрь», «Волга», «Новая Юность», «Урал» и др.

\*\*\*

на могильном камне напишут

ловец мяча

таков ждущий

не прячущий руки за спиной

собирающий слёзы вечнозелёных яблонь

\*\*\*

я кусаю губы

верхняя — караганда

нижняя — москва

на нижней кровеносное деревце метро

на верхней кровные сёстры и братья

города соединяются на долю секунды

когда я произношу слово люблю

\*\*\*

ручной мужчина

ручная кладь

ручная граната

\*\*\*

он думает что он ангел

он ложится на землю

и трётся о неё лопатками

на земле остаются

чешуя

или шерсть

\*\*\*

ночной зимний аэропорт

отложенный сон

блуждает по лицу и телу

тепло дремотно

кажется что на моих веках монеты

\*\*\*

москва —

яйцо

внутри которого

сухая глина и капля воды

мои глиняные губы  
не хотят пить

вместе с другими  
я дую на воду  
на берегу уставшей мутной слезы

\*\*\*

теперь никому не создать  
муляж твоих органов речи  
собирающихся окликнуть меня

\*\*\*

знаю ли я боль

когда я вспоминаю тебя  
тысячи балерин под моей кожей резко встают на пуанты  
в былых точках прикосновений твоих пальцев

много раз  
я видела  
их гладкие причёски

\*\*\*

четыре часа в воздухе  
и оставленный мною ласковый город  
станет уже не глотком  
а глотательным движением

\*\*\*

блуждать  
между полюсами  
ван гог и муций сцевола

\*\*\*

твои пальцы рисуют  
на моих щеках и затылке  
крохотный город  
и крупным планом  
разводные мосты  
наших с тобой языков

\*\*\*

ещё целую меня  
ты встаёшь и уходишь  
оставляя меня одну  
в жёлобе безопасности  
между рельсами в метро

### На кончике языка

ощущая в себе новорождённое чувство  
бесконечно долго  
нащупывал края  
той доли секунды  
когда родившая самка  
начинает  
вылизывать или поедать  
своего детёныша

\*\*\*

хочу улететь одна  
но при входе в аэропорт  
звенят  
крышки  
канализационных люков  
города  
поселившегося  
в лёгкой складочке  
в уголочке  
моего рта

\*\*\*

пока ты спишь  
я созерцаю восход  
десяти солнц  
твоих ногтевых лунок

\*\*\*

мы разные

ты часовая стрелка  
я минутная

но каждому из нас достается бокал вина  
которым нас обносит суетливая секундная стрелка

\*\*\*

и не нужно было этой встречи

ты закуливаешь подпаливая ресницы  
я пью через соломинку жидкое мыло

\*\*\*

ты перестал улыбаться  
словно боишься разбудить  
младенцев  
моих чувств  
спящих  
в твоих мимических морщинках

\*\*\*

что мы с тобой только не делали  
писали гвоздями и молотком слово angeln на языке брайля  
раскрашивали ночной ветер  
ходили по заросшему грибком киллю движущегося корабля  
но так и не додумались обнять друг друга

\*\*\*

смотрит на него  
засыпающим взглядом  
обезглавленной розы

\*\*\*

прикасаюсь пальцами к твоей руке  
и родинка у прожилки на твоём запястье  
оказывается  
крохотной живой офелией  
с рассыпавшимися по плечам ещё влажными волосами

\*\*\*

у всех дочкиных кукол вырваны ресницы  
но зеркальце предательски молчит

\*\*\*

дочка быстро бежит ко мне сквозь снегопад  
оставляя за собой тысячи  
воздушных человечков в нелепых позах  
которых сразу убивает снег

### У тебя чужие глаза

на карте твоих радужек  
появляется ещё одна  
европейская страна  
видны её театры могилы кафе адюльтеры  
есть женщина  
мозаика глаз которой  
похожа на твою

\*\*\*

правда порой похожа  
на золотую застёжку  
иокасты  
входящую в глаз эдипа

\*\*\*

проснувшись  
мысленными руками  
ощупываю  
пространство вокруг себя  
и радостно нахожу  
лаковое тело звучащей скрипки  
твоего общения со мной

\*\*\*

схема московского метро  
похожа  
на танцующее многорукое существо  
в цветных перьях

оно бьёт в бубен  
и поклоняется киту

\*\*\*

она слой за слоем счищает его лицо с холста  
под ним лицо другого  
светлые ресницы  
настойчивые губы  
запах сигарет  
они похожи  
только слушают разную музыку  
и один носит рубашки  
а другой свитеры и футболки

детский окулист  
тыча указкой в нарисованную пирамидку  
спрашивала  
девочка что это  
девочка плохо видела и отвечала это снег  
ваша девочка умственно отсталая — сокрушалась окулист

на самом дне холста лежит снег

**Елена Бердникова**

## **Милость**

*Рассказ*

В середине декабря на площадь привозили снег. Гигантские развалы белой сухой пудры стояли между типовым недопарфеноном кинотеатра (высокая лестница к портику, симметричные колонны, алый неон «Россия» под фронтоном) и кофейно-палевым домом, на углу которого мерцал — также алым неон — магазин политической книги «Прометей». Дом был творением послевоенного триумфального ампира. Впрочем, в наполеоновском стиле империи была выдержана вся площадь, вкруговую, с запада на запад. Полукруглый фасад телеграфа (его брать первым в случае новой революции) — «Россия» — кофейно-палевый дом, рядом с которым грузовики и вывалили столбы снега, — обком партии с его голубыми номенклатурными елями — еще один палевый дом, симметричный первому, — уставленный колоннами коринфского ордера куб Госбанка — приземистый дворец драмтеатра — смотрящее строго в глаза обкому партии бывшее духовное училище, перелицованное в облисполком, — и наконец Дворец пионеров с тремя пионерами на фронтоне.

Барабанщик, горнист и, на высшей точке, знаменосец — смотрели на детей, игравших в горах снега. Высоких гипсовых наблюдающих отделяла от детей дорога, пересекавшая площадь с запада на восток. Машины ехали по своим надобностям, под идеально черным ясным небом без луны. Лишь тонкое сияние подымалось из городского сада за спинами белых неживых детей.

Они договорились прийти на площадь играть, когда прощались у телеграфа после школы: три одноклассницы жили в кофейном доме или рядом, а четвертая делала большой круг, чтобы пройти вместе с ними мимо горсада и вернуться домой, за телеграф, окольным путем.

— Приходи!

Они бросили портфели, пообедали, дождались, пока начало смеркаться, и пошли.

Снег привезли в середине недели, и дети, пришедшие раньше них, уже успели построить круговую снежную крепость: но дети, приходившие позже первых, но раньше них, разбили неровные фортификационные ходы и ухищрения предшественников: в двух местах в крепостной стене были проломы. В эту субботу у них был, наверное, последний шанс играть: в понедельник вновь придут машины, и начнется то, ради чего и привезли снег: строительство большой, интересной и для взрослых горки. К снегу прибавят свежее душистое де-

---

Елена Бердникова — родилась в Кургане. Окончила факультет журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Лондонский Колледж Коммуникаций (2001–2002). Магистр искусств. Автор романа «Que Viva Mexico!» и поэтических книг «Азийский луг» и «Rap & Chanson». Стихи публиковались в журналах «Урал», «Юность»; повесть «Могила Есенина» — в журнале «Дальний Восток». Программное эссе «От Северной Пальмиры к Северной Азии» вышло в журнале «Юность». Живет в Зауралье, занимается литературным трудом.



рево, длиннейшие пласты, и воздвигнут пирамиду горки: высокий крутой спуск и лестницу к площадке наверху. Снегом укрепят покатый склон, чтобы — когда по нему, смеясь и гикая, понесется длинная вереница ребят с оборонного завода (парни и девки, взявшиеся за талии друг друга), — он не рухнет.

Часть снега пойдет на скульптуры снежного городка: сначала россыпи возмунт в деревянные, из высоких лесин, коробки, а когда снег уплотнится и слежится — ему еще и помогут добросовестным утапливанием сверху, — придет скульптор и вырежет из крепкого снежного гипса фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Скульптор, видимо, татарин: снежные бабы неизменно получаются у него с узкими, степными глазами. Деревья — за исключением священных партийных елей — опутают синими, розовыми, зелеными и желтыми лампочками. Но вспыхнут они ближе к Новому году. До него еще далеко. Все еще только начинается.

Бывают зимой жаркие дни и вечера, и это именно такой вечер, когда совершенно не чувствуется зима, а бремя шуб и пальто, так давящее иногда в ясный весенний день, не ощущается подвижным, вдохновенным телом. Ясный, светлый до черноты, прозрачный воздух наполняет не легкие, а душу, и они в самом деле отрываются от земли, взлетают на стены крепости, прячутся за ними от летящих, небрежно слепленных, неопасных снежков, и сами лепят, лепят и мечут, мечут такие же снежки.

Пришли другие десятилетки из двора, вынырнули из арки, разделяющей дом с «Прометеем», и теперь — галдя, смеясь и гикая, как взрослые, — они носятся вокруг развалин снежной крепости.

Необыкновенно светло — потому что горят все окна в доме рядом, горят все фонари центральной площади им. В.И. Ленина, и только он сам теряет голову в черноте неба: он всегда исчезает на время Нового года. Его гасит своим сиянием огромная елка — не настоящая ель, а мохнатое множество ветвей, посаженных в железный пирамидальный каркас цвета хаки. Зеленое нечто стоит на постаменте из разноцветного льда, из округлых, как галька, льдинок. Ими бросаться нельзя. Но их пока и нет. Елки нет. А света все больше: сияние из-за голов гипсовых пионеров расходится по небу, и ясно, что там, на востоке, восходит луна.

Снег пахнет цветами, а ночь напоминает чудище, склонившееся над альеньким цветочком. Сам этот нимб непонятного сияния напоминает о страшном, непонятном, о лесе и тайне.

Как тень проносится перед девочкой, живущей за телеграфом (не забыть взять в случае революции эту цитадель пахучего сургуча и шумных молотков), другая девочка, чьи окна смотрят на пионеров и небывалую, космическую луну.

— Ура-а-а! — проносится над разбомбленной крепостью, и они идут в атаку — бегут на умирающих от смеха и ужаса «врагов», катаются в снегу, обнявшись не на жизнь, а на смерть.

В самых старых шубах, в изредившихся перчатках и варежках, в шапках, которые не жаль потерять. Из арки вышел в синем пальто с заплатами единственный мальчик из их компании, поляк Молик. Покидал снег и ушел. Мальчишки играют во дворе.

А они лежат в снегу на спине и смотрят в небо: огромное, черное, с отблеском, как у саржи. Отблеск — дань свечения звезд и уже поднявшейся над их головами луны. Только им не видно, они-то лежат лицом на запад.

— Вставай! — рука друга в серой рыцарской перчатке поднимает ее, и они долго отряхиваются от снега.

— Ну что, наигрались? Не пора домой?

Голос бабушки доходит издалека. Она пришла незаметно и стоит неподвижно у края крепости, чуть поодаль. Время прощаться. Двое машут друг другу рукой, потом, подумав, подают друг другу руки со всей серьезностью людей, вместе выигравших сражение, и, не оборачиваясь, идут по домам.

В киоске у телеграфа бабушка покупает пломбир, и дома они с отцом пьют кофе-гляссе. В черной дымящейся пене плавает осколок сладкого снега, который только что попадал, случалось, в рот, — первая сладость жизни, вечная память.

Она тихо поднялась с нар: у нее были нижние у окна, свет помогал ей просыпаться. Тихо пошла «в туалет»: как давносидящая, она уже пользовалась привилегией подхода к «узлу» в любое время. Она давно научилась делать все тихо, чтобы те, кому ее спорт и так поперек горла, не просыпались и не корили. Бесшумная, гибкая, выходящая во тьме — такой она себя ощущала. А первые дни после того, как она отвоевала право на занятия до подъема у предыдущей старшей по камере («здоровье в порядке — спасибо зарядке!»), она казалась себе слоном. Занавеска, отгораживающая унитаз, шуршала под ее плечом, вся она, не производя сильного шума, напрягалась так сильно ради своей бесшумности, что сам воздух, зараженный ее топорным напрягом, казалось, вибрировал и шелестел вокруг нее.

Она встала в единственную точку пространства в камере, где могла сделать махи, не задев ничего. Она эту точку знала наощупь. И потихоньку начала: разминку шей, рук, спины, замоченной железным лежбищем, гибелью осанки. Тянула хребет, наклоняясь, чувствуя прилив крови к голове. Это хорошо, полезно. Пусть льет. Растекается по самым малым капиллярам, веточкам сосудов, по игольчатому мельчайшим отросткам мыслящей сети. Кровь ведь мыслит, кожа вспоминает. Она поворачала руки в плечах, потянулась набок, доставая пятки. Суставы пару раз тихо шелкнули; мерзкий неспортивный звук. Неизбежный.

— Щелкаешь? — спросила шепотливо.

Она кивнула старшей в темноте, не сомневаясь, что та ее видит. Зрение у Клотильды — 120 процентов. Видит последнюю строку на листе «ШБ МНК» в больнице. Но шить без очков не может — дальзоркость. Она садится на своих нарах и начинает разбирать косу: вынимает из нее марлевую косоплетку, чтобы сделать прическу: глянцевый каштановый узел на затылке. Уши Клотильда также закрывает гладкими, с посредью волосами и изредка на ощупь проверяет, не вылезло ли острое, как у зверя, ухо сквозь негустую прядь.

Ей самой проще: она состригает все волосы, которые могут лезть ей в глаза при выполнении ее спортивной рутины. Она начала так делать, впрочем, не в неволе, а в Екатеринбурге — городе на горе с жесткими, ледяными ветрами всех направлений, которые так же, во всех направлениях шерстили ее лохмы. Зашла там в парикмахерскую и сбрила, почти как Рошин из «Хождения по мукам», всю эту мочалу. Получилось гораздо аккуратнее, как у Жанны д'Арк из кино.

Майка уже увлажнилась слегка. Она пробила себе право с самого начала стирать спортивную майку как белье, по мере надобности, то есть через день. Один день — ладно. Вообще день стирки выдают каждому свой, один в неделю, а в другие дни стирается только белье. Она приобщила длиннорукавую спортивную майку к белью. Доказала, что нужно.

Наступал момент для самого важного, а времени до подъема оставалось уже немного. Теперь это влажное, давшее соки тело надо растянуть как следует: главный столб, крупные мышцы и сухожилия. Спешить при этом как раз не нужно.

В крайнем углу у двери зашептались две новенькие: свесив голову, одна что-то наговаривала младшей, уже севшей и поднявшей к ней лицо. Через несколько минут 18 тел должны были дернуться по сигналу (включение света и слово «подъем») и начать «жить»: двигаться, умываться, говорить. Жить, короче.

Она легла на свою еще не застеленную, небрежно закинутую постель, закрыла глаза. Она видела сегодня зиму во сне, видела пломбир в кофе, бабушку, снеговой город. Беату видела. Даже не видела, нет; так, ощутила. Пожатие руки в серой пуховой перчатке, запах яблочного шампуня от волос, похожих по цвету на ее собственные, только на три тона темней. Да, это она.

Вот теперь и встанем.

\*\*\*

— Серпуховская, к тебе это не относится, что ли? — Двое, Чернецкая и Варанова, стояли напротив них двоих. Чернецкая моложе всех в классе, ей только еще в конце сентября исполнится 12, но она крупнее всех: звезда пионербола, «актив». — Все по очереди моют пол. Твоя очередь. Ты что, особенная?

— Идем, что их слушать? — Окна второго этажа школы открыты. Под ними отцветают трубки белого душистого табака; это запах начала учебного года. Пласты сумеречных облаков над деревьями горсада. — Что привязались к ней? Сказала: не будет она мыть пол. Идем.

Но она не шла.

— Почему мы должны его мыть? Пусть уборщицы моют. Они живут ведь здесь, при школе.

— Мы все мыли, и ты должна.

— Ничего мы вам не должны.

— Мы объявляем тебе, Серпуховская, бойкот.

— Кто это «вы»?

Они засмеялись и ушли. Когда вышли на крыльцо школы, дух всех многолетних растений, которые они высаживали здесь прошлым летом на ботанической практике, сгустился до желе, только это было не морозное, а знойное желе: последний жар среднеазиатского лета выдыхался из земли, чтобы не было никаких сожалений при встрече с полугодовой зимой. Но пока была осень. Они шли, размахивая портфелями, мимо городского сада, в сторону телеграфа.

— Что такое бойкот?

— Узнаем.

Им предстоял целый год учебы во вторую смену, так что теплыми вечерами надо было пользоваться. Как и два года назад, когда они бомбили снежный городок, они вновь учились почти по ночам, но сентябрьские вечера, казавшиеся им реальными ночами, проводили вместе. Лера Батбулатова и Беата Серпуховская.

Вот только переодеться в спортивное и бежать.

\*\*\*

Бежевая щегольская куртка, вот что она тогда носила. А теперь шьет тоже куртки, только темно-синие форменные спецухи на заказ. Ее дело — набить мелкую фурнитуру, сделать обстрочку-оверлок прорезей для пуговиц и главное — вышить машинной названии организации. Белые буквы. Мрак. За ними — буровые вышки, драги, дороги. Севера. Блатная работа у них — и отчасти у нее. Тонкая, но по сути — самая занудная: в ее руках — готовая вещь. После нее уже никто не касается. Сделано.

Она только перекинула синее пальто, внутренним зрением держа перед собой совсем другую, тонкую и легкую куртку своих занятий по самбо (собачья площадка, запах мочи). Эти большие девки и в самом деле устроили Беате бойкот, а когда это не сработало, — она продолжала говорить с другом — пообещали «бить». Партийно-хозяйственный актив и научная интеллигенция. Отец Варановой, произнесшей это «бить», видел пожар Бадаевских продуктовых складов, и это было последнее впечатление его ленинградской жизни: вскоре его вывезли — среди других детей — в Сибирь, и здесь развернулась его научно-организационная карьера. Первая жертва перестройки — во второй половине 1980-х его сняли с директорства оборонного завода. Он тоже собирался «бить» приезжего варяга, первого секретаря обкома партии, но свалили с ног его самого.

Той сентябрьской ночью ясно было только то, что надо готовиться к нападению. Голыми руками их не возьмут. Они до изнеможения катались в сухой траве, ставили бросок через бедро: рыхлая Варанова была обречена слететь, как куль. Из верности она так старательно училась защищать ее, мой бог, что ей самой бросила мощный удар по голове.

Она совершенно не помнит, но верит: так оно и было.

— Что, замечталась?

Она действительно подняла рабочий отсек машины и смотрела внутрь, как будто что-то ища там.

— Норму кто делать будет? — голос у Клотильды не злой. Врач все-таки, пусть и выбившаяся — тюрьма рано или поздно узнает все — из фельдшеров. Села за наркотики. Уверяет, что помогала пациентам, но большинство считает ее барыгой.

В цехе шумно, поэтому Клотильда подходит вплотную к столу:

— Ты Катю навестить не думаешь? Что решила?

За спиной Клотильды — законной власти, главной в отряде, прошла, бегло взглянув на остановившуюся, не строчащую машинку, черная, в красиво повязанной неустанной косынке Лиса. Лиса — ярославская блатная, насколько ей позволяет быть блатной давление «администрации». В «движение» она ушла в начале декады, почти сразу, как села в первый раз, еще бухгалтером крупного столичного кооператива. Взять должны были не ее, а хозяйина, но тот вовремя добежал до канадской границы, а Лисе не удалось. И она решила стать настоящей лисой. Не волк, но и не собака. Хищная, если кто-то ей не нра, но и ручная: женщина. Ей до конца никогда не «почернеть», в ней всегда останется прогибная, мерзкая, управляемая «краснуха». Вот и сейчас — идет, и слушает, и смотрит. И ей ли нужно, чтобы она вечером пошла в лазарет смотреть на вечную зэчку Катю, которая простыла из-за того, что она, Бекбулатова, позволила себе надеть — не по уставу — полугетры под кирзачи? Ей ли, Лисе, это надо?

— Старуха умирает. Доконал ее час под дождем. Из-за тебя.

— Я приду, она встанет, что ли? — Она перекусила нитку. Закинула на миг руки за голову, погоняла бицепсы — потому что Лиса неуловимо, краем глаза, смотрела из своего нерабочего угла. Клотильда Лисе ничего не говорит, хотя та работает практически по желанию: не то чтобы совсем «грубит», не садясь за машину, но раскидывает свой урок по своим и чужим, а сама «трудится» в охотку.

«Трудиться» — Лисье слово. Зеленые лучистые глаза смотрят из двадцатиметровой дали, как вблизи, поверх белой машинки. «Я тружусь» — так она говорит, пройдя две строчки кармана. Муж ее бросил в первую зиму: очень, говорит, любил, но нужно же было с кем-то встречать Новый год. Не с матерью же.

Сама Лиса встречала первый тюремный Новый год в карцере: начала драку, узнав, что свидания ей не дадут. Видимо, знала реакцию мужа. Первые дни после карцера — горячей бани — молчала, а когда загворила, никто сначала не узнал: вместо московской растяжки в голосе ее появилось мелодическое, как звон льда в фужере, и такое же нежилое блатное мяуканье. Старшей по движению тогда была гражданская жена одного славянского вора: в ее свиту для начала и встретила девушка с зелеными глазами. А когда та ушла на волю, уже никого не было тверже этой Клавы. Редкое для современности имя у нее — Клавдия. Она его ненавидит и добила, чтобы ее звали по-новому — Алисой, конечно.

— Ты что, думаешь, крутая, мышцу накачала, так всех сильнее, как Красная армия? — Клотильда цедит сквозь зубы. — Старуха умрет из-за тебя. Из-за тебя весь отряд держали на поверке лишний час.

— Ей так и так. От чего-то же умирать нужно. Я при чем?

В молчании Клотильда переворачивает, как чернозем, уже слышанные аргументы. Не она, Лера Бекбулатова по кличке Профессор, придумала эту круговую поруку наказаний: мужики держат их на ледяном ветру — если случится, и под дождем — время от времени, когда провинится какая-нибудь особо занозистая звезда. Кадры у них «молодые, в основном здоровые», как они выражаются, а старческий шлак и вообще полон сил.

Старухи похожи на лиственничные половинные бревна, из которых до революции в Сибири делали полы: разрезанные вдоль по центру бревна клали стороной среза вверх, а полукружьем — вниз. Когда пол «занашивался» так, что мытье и песок его уже не освежали, широчайшие плахи ровно стесывали, циклевали тонко-тонко, до нового светлого дерева. Лиственничные таежные плахи

пережили царей, этак от Александра I — точно. Так и старухи лагерей — прошедшие на первый срок в войну молодыми за мелкую кражу, а дальше со всеми остановками, — точно выдержат еще одну шлифовку. И еще одну. Они не политические, которых выпускают каждые 20 лет вчистую.

И вообще: если вычесть экссессы — а они все-таки не ежедневны — лагерь и тюрьма для них — якоря. Трудней неожиданным старухам-первоходкам: в зиму захсала одна — застрелила прошлым летом по случаю дефолта какую-то первую попавшуюся начальницу отделения банка. Та чем ей виновата? Но тоже освоилась. Только трудно все это. В 70 лет в этот университет не надо поступать, его уже пора заканчивать. Приходить лишь на защиты, время от времени. Готовить молодежь. Вон она как повалила, и вся без опыта.

Стариков само время делает, их уже рожать с нуля не надо. Это последний аргумент: сегодня Катя, а завтра, глядишь, и еще кто-нибудь. Во-первых, она не против Кати надела гетры, а это система козлиная; во-вторых, еще и не умрет она, крепкая же, сибирячка коренная; и третье — не надо давить на совесть ей. Она бессовестная.

И ей это уже сказали.

— И что прицепились ко мне? Где это понятие такое, что если ты виновата типа, то ты должна ходить прощаться? Где?

— Тебе кодекс, статью показат? — за спиной Клотильды встала еще одна дослужившаяся до доверия — Света Рюмина, заведующая телевизором. Что-то вроде культполитпросвета, на недавние мерки. Концерты к 8 Марта, песни о детях — это все ее. Чернецкая-2, только с поправкой на отсиженный долгий срок (бледная кожа, прозрачные глаза без блеска) и чуть более честный характер. Грамотная, многодетная мать. Сбила ночью студента, единственного сына какого-то туза. И ушла в бега. И нагубила: сопротивлялась при задержании. Отстреливалась! Очень не хотела рожать в тюрьме. Пришлось. Знайте правила дорожного движения. Она вообще очень правильная, очень. Дети — ведь это святое, они же не должны, даже в утробе, находиться в тюрьме. Теперь она умирает жжжаждет родить в неволе четвертого и наконец приблизиться к дому.

Она уже не смотрит на них, бросает им прямую неуважку, начав строчить очередную петлю.

— В отряде поговорим.

Разговор переносится на «после работы». Рюмина — «закосну́тая»: время от времени какая-то стихия проносится у нее в мозгу и как бы ставит ее на неотвратимый путь, в тоннель. Это и называется «закосну́ло»: как бы черная птица пролетает на чердаке, но явно не голубь Божий. Летучая мышь, смятение.

Пока ей самой до смятения далеко, а это главное. Все ясно: им Катя не важна. Им нужно сломить ее. За гребанные гетры. За то, что здоровье она свое бережет. За своеволие.

Не подымая головы, она строчит и оверлочит, ставит машинку-вышиванку на нужное место.

— Ссыкуха.

Это деревенская мать, пенсионерка. Зарубила мужа. Как в анекдоте. «Вот и слушала, говорит, маманю, что обух от топорика надо отдельно держать, и держала, но ведь иногда приходится и собрать. То-другое, мясо порубить». Ну и порубила. Склока вышла на старое 7 ноября, когда свинью резали. То есть 7 ноября, конечно, обычное, но народ еще празднует «Октябрь». Отметим, что ж.

Наташей Гавриловой рубицу зовут. Очень аккуратная, беспримерно веселая, порядливая. Есть такие бабы — хочется, как ступишь во двор, сразу разутся. Она и сейчас сидит в белейшем подсиненном платке под стандартной шалью, и сами движения ее белых, в старческой «гречке», рук до того уверенны, что лучше не смотреть. Не начинать. Красиво падает. И даже сыпь на руках благообразная, домашняя, как у прабабки, скажем. Ответить ей? Чем?

Забьют, как мамонта, если утратить свое презрение, или смирение, или что-то вроде этого. Но она разворачивается и говорит.

— Мне тридцать лет.

— И больше не будет, если так к людям относиться. — Гавриловна бросает это, остановив — строго по секундомеру — машинный строк, повернув работу и сразу включив его, даже не глядя в сторону.

Можно было бы сказать, что не ей, не ей учить здесь кого-то морали, но такие косвенные отсылки к статье не приветствуются. Она сама их не любит. А прямо ее упрекнуть не в чем. Что там было на воле — пусть черт разбирает. Важно лишь «здесь и сейчас», как выражаются философы. Хайдеггер, что ли. Ее зовут «професором», через одно «с», но она ничего почти толком не помнит.

Немного в этих стенах людей с университетским образованием, но есть. А «немного» — это почти то же самое, что и «немало». А все-таки — она начинает строчить быстрее — Московский университет имени М.В. Ломоносова способен приготовить и к такой школе. О, Грановский, Станкевич и волосатый Бакунин. Она была в его поместье в Прямухине.

В библиотеке надо поискать «Рудина». Хотя — фиг ли? Она всегда плакала на последних страницах. И сейчас заплачет. Такая тема не меняется. «И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам». В советских книгах всегда печатали «господь» с маленькой буквы. Скотство. Поэтому Гавриловна сейчас сидит — она проверила взглядом — с особо чистой совестью и строчит как проклятая, и полна самоуважения, и ни в чем не раскаивается. Это видно по ней. Настоящая, прирожденная убийца.

К ее столу подходит — молча, поправляя на утином носу старые, с перламутровой оправой и захватанными стеклами очки — Дора Николаевна. Еще одна интеллигенция. Сирота, беспризорщина военная, выбилась в люди. И обратно вбилась. Смотрящая по морали. Настоящая. Не самоназначенная вроде Лисы или Рюминой.

Говорит шипло, быстро.

— Послушай, Лера. Я все понимаю.

Это ее зачин. Интеллигенция всегда чувствует, что все понимает, во всяком случае, для начала декларирует понимание, чтобы потом уже провести свою линию, полностью отвергающую «всепонятую» позицию собеседника. Но она останавливает машину. Дора — не эти громыхалы. Сердце сжимается вдруг при взгляде на ее усталую спину, эти потные, с отпечатками пальцев очки. Редкие-редкие, совсем седые волосы аккуратно причесаны: она выглядит прекрасно для почти слепой, но это другой, не как у Натальи Гавриловны, извод чистоты. Вот только на очки не хватило: когда Дора нервничает, она начинает хватать их руками — снимать и надевать. Все равно гулькин хвост толку от этих телескопических диоптрий.

— Но тебя могут подколоть, — она говорит так тихо, что Лера сама не слышит ее, догадывается по губам. А те, кто смотрят Доре в спину — не подымая ресниц, одна Лиса выставила свои улыбающиеся «крыжовники» ей в спину, — догадываются по ушам. По слогам. По мелодии. Угадай мелодию!

Они не Пельш и не угадывают. Они знают. Это, конечно, не мужская зона, где бунты единиц в принципиальных вопросах нередко пожинаят крайние решения. Но если почему-то некий вопрос — тягомотина, муть, абсурд — вдруг стал принципиальным, такую вероятность надо иметь в виду.

Лиса переводит взгляд с затылка Доры на рабочее место своей новой... Нового. Родом с Урала, но приехал с Камчатки. Сидит потомственно. Крупный. Крупное недоразумение. На вторых ролях, но разбойница. Дальнотойщиков разгружала с товарищами. В женщины природе больше не навязывается. Качается по вечерам, в отличие от нее самой, например.

Мысль Лисы понятна — выраженная этим взглядом как намек. Кликуха у друга была — Бродокалмак. Земляков с Урала искала, вот и выяснились корни. Сократили до Калмыка, хотя совсем не похож. Скорее, на финна: лицо как северный камень. Косые руны — глаза, прямая черта — нос, еще одна, поперек, — рот. Повезло Лисе. Мужик.

Мрак.

Гудят лампы, люминесцентные фонари. Гудят над ними, гудят по чистилищам следственных коридоров и кабинетов, больниц и школьных столовых.

Низкий потолок, вечный пол, который нужно мыть, отражает блики вечно жужжащих, мигающих, перегорающих ламп. Свет приемного покоя в морге в зимний вечер, когда Крещение давно прошло, а до Сретения — охо-хо дожидать, и на стене — расценки за услугу мытья головы покойному — или покойной.

Здесь голову мыть не будут. Так зароят. Да и разницы? А все-таки Дора бы сказала, что есть.

Поэтому она смотрит в глаза Доре и отвечает уважительным, смиренным голосом, как своей:

— Я поняла.

Это лучше, чем «я все понимаю». Это правда.

\*\*\*

Волнами летящая навстречу дорога, предгорья Урала, увалистая бурая степь под апрельским солнцем. Три старухи и дети едут в такси за вербами мимо разлившейся реки и смеются заранее, что вот они побегут в резиновых разноцветных сапогах к знакомым — каждый год приезжают — кустам темно-алого цвета. Кусты затуманены пухом, которым они поведут по лицу, притворяясь, что это заячьи хвостики — мириады заячьих хвостиков. Сами зайцы рядом — и, спасаясь от разлива вплавать, они отбросили лишнее («хвост — навигационный прибор», говорит Игорь Нассар) на вербы.

Старухи с трудом выезжают из авто — самая старая из них всю дорогу ругалась с таксистом, не желавшим везти шесть человек. «Но ведь трое — дети!» Это неважно, орал таксист Голубев: его удостоверение было на виду справа от руля. «Я напишу на вас жалобу в ваш таксопарк, — говорила авторитетная старуха. — Я знаю правила перевозок детей. Я педагог с пятидесятилетним стажем». Пишите! Таксист орал, что он таксист с двадцатилетним стажем и знает правила, но продолжал везти, подчиняясь светлым крапчатым глазам и безапелляционному тону.

Старуха открыла несколько школ по всему Уралу до и во время войны, ни разу ни на кого не повысив голоса и добившись исполнения всех ее тихих просьб. Она почти закончила гимназию, а подкласс пришлось кончать при Временном правительстве, когда гимназию переименовали в школу.

Сапоги тонут в воде, под которой — кто мог ожидать? — белая скользкая плита льда. Не пройдя по ней, не подойти к самым крупным заячьим хвостам. Два мальчишеских диска звенят возле уха, и дальние голоса женщин наплывают — «Не поскользлись!». На горизонте клубится сизо-черная туча, свет меркнет, по желтому бурьяну в рост человека — он скрывает озеро — бежит блестящий ветер, и как бы вмиг становится открыто будущее всех. Старухи — смеющиеся и держащиеся за шелковые, модно повязанные платки, одна из них чуть в сторонке курит папиросу — зовут детей. Время идти — греться и пить чай у четвертой старухи, живущей в ближайшем селе. Белая снеговая туча бродит по небу, а они нарвали охапки верб, чтобы раздать всем.

\*\*\*

Она просыпается и лежит, не пытаясь понять, скоро ли подъем. В глазах — желтый бурьян, и хочется держать его подольше. Но нельзя. Надо вставать прямо сейчас, начинать разминку. Нет — воспоминаниям. Ничего нет. Нет этих детей, тех людей. Правда здесь, правда в том, что надо выскочить из этой ситуации с Катей.

Но она внезапно понимает, что не выскочит из нее, если не додумает мысль о желтом бурьяне. «Надо искать нестандартные решения, — говорила бабка Игоря, «репетировавшая» ее по математике. — Ищи. Напрячь мозги умеет каждый, а ты отвлекись от проблемы. Тогда ее решишь. Если это действительно сложная проблема». Другая ее мудрость.

Она начинает думать, что проблема с Катей действительно сложная проблема.

Почти два лишних часа они стояли под ноябрьским дождем — из-за ее, Бекбулатовой, гетр. На воле ее бы убили за это сразу — социально убили бы то есть. На воле у всех, не у одной Кати, уже было бы воспаление легких. Но величайшая сила ухода в глубину держит людей: они отучаются принимать любой труд, любое унижение, любую тягость как относящееся к ним, как нечто *касающееся* их. Личность уходит с поверхности лица, ныряет в глубину — для сохранения ядра. Берите периферию, жрите и сожрите ее. До души вам не добраться.

Так и тело: его силы ныряют от кожи вглубь. Все уходит вглубь. Люди редко поднимают глаза и голос. Говорят, вышедшим на волю трудно даже добиться, чтобы их в налоговой услышали. Тихо говорят, мямлят. А это голос не может выйти с уровня, на котором он отсиживался в тишине. И взгляд шарит где-то по талиям. Люди думают: вот воровка, кошельки высматривает. Или: мошенница, темнит опять что-то. А люди глаз не могут из пучины вызвать: как вперились в точку тяжести, так и живут. На первых порах точно. А потом возвращаются. Даже Лису — брось на волю, и не факт, что она встретит любой взгляд.

«Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх»<sup>1</sup>. Точно, в глаз. Тюремная истина. Помотало, видать, ее тоже по тюрьмам, хотя она и не сидела.

В этом ритме — «Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх» — она встает и начинает махаться. Этот день должен решить все.

Верность протесту обязывает ее не посещать Катю и не принимать коллективной вины. Но совесть — и чего уж там, страх за свое будущее — велят поискать вариант повидать ее. Страх, который из-под век выглядывает, ничему ее не научит, он всегда подает только самые гиблые советы. Надо всмотреться в совесть, порасплетать эту категорию.

Дора тихо спит на своих нарах: ее лица не видно, но потому, что у нее есть абсурдная детдомовская привычка засыпать в очках, на линзах бликуют какие-то малые кванты света. Эх, Дора! Содержала игорный притон — мало ей было, что они и так на всех улицах, так ей нужно было жить с картами в руках. Конкретно выключиться. У нее дочь сбил автобус. И что-то не то произошло у Доры дома за игрой. А она «по товариществу» все покрыла. Ведь нет уж святее товарищества, так?

Пока она сидит, мир за стенами рухнул, ушла под воду целая страна, остался незаконченным университет, и все те годы, когда там бурлило нечто непознаваемое, она «прострачивала и оверпочила», делала зарядку и читала в библиотеке одни и те же книги, прочитанные в юности, которую не хотелось — не было сил — покидать. Пока она сидела, умерла старуха с крапчатыми глазами, умерла курившая «Казбек» Нассар, умерла ее собственная бабушка, не вынеса — что темнить? — удара, горя и позора. Крушения надежд. Крушение мира она бы легко пережила, но уход «Лерочки» в эти стены разуверил ее в смысле верб. А надо было дожидаться!

Она вдруг думает об этом. Надо было дожидаться! Ей остается три года — всего-то перебраться через рубеж тысячелетия, и свобода. Что ж она, учившая ее добру, не подождала ее? Слезы накатывают внезапно, и она зло бьет себя кулаком в ладонь, но спохватывается, испуганная громким звуком.

Гадко утро началось: со страха и испуга, со слез, а день такой значительный. Решающий на самом деле. Хоть и не к кому возвращаться: бабушка в могиле, Беата за границей. Но вербы-то живы. К вербам надо прийти.

— Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей, — это в углу начинает шептать свою зарядку староверка Фекла, детоубийца. Дальше не слышно. Всегда слышно только этот зачин, а потом она уходит в себя и там, в тишине, сосредоточенная, полоумная, продолжает творить молитву.

<sup>1</sup> Строки из эпилога «Реквиема» А.А. Ахматовой.



По их двоеданским меркам, она уже полумирская, иначе бы «власть» до ее проделок не дозналась. В своем кругу было бы ей наказание, на их дальних заимках, в скитах. Полюбила мирского, не срослось; отомстила. Теперь молится.

Дело житейское, как повторяла Беата — повторяя, но не копируя Карлсона — в своем беспредельном, но ненавязчивом оптимизме. Она живет в Исландии, в стране чистоты и отсутствия войн.

— Пааадъемм!

Хотя бы она далека от этого, хотя бы она. Аминь.

\*\*\*

В столовой на второе был плов — любимое блюдо многих. На бараньих костях было мало мяса, но дух был правильный, и морковь знатно «супрела».

Грубая ткань зашуршала рядом о скамью.

Кто-то из соседнего отряда.

Она не поднимала глаз. Им что за дело?

— Ты молодец. Не ходи к ней, не прогибайся. Если тебя будут сильно пресовать, подойди к нашей старшей, Рослиной, тебя переведут. Она похлопочет.

— На фиг вам проблемы?

Грубая ткань молчит. Приходится поднять глаза.

Так. Продвинутая девка, захавшая сюда недавно в ботинках «Доктор Мартенс», ровесница ее самой при заезде. Но не удержалась на высоте, теперь приходится ей бегать по поручениям. Родители от нее отказались. Передач нет. Деньги только от друзей, но, похоже, друзья неверные. Все же ее уважают за хорошую жизнь в прошлом. За это всех уважают, кто сподобился. Хорошая жизнь лежит как ответ на лице человека, даже когда его уже почти совсем добила нужда, болезнь, край. Вот у Кати хорошей жизни не было. Ее недолюбливают. От нее вечно пахнет старым платьем. Собравшимися в гармошку хлопчатобумажными чулками на резинках. Еще несколько лет, и люди не будут знать, что это за предмет туалета. И ее забудут.

Чума получит назад свои лиловые ботинки через восемь лет. Послевоенные сталинские сроки начали навешивать за дурь. А Чума она потому, что вначале вечно приговаривала: «Ну я вхожу, а там — чума!». На вопросы: «Работы много? Очередь длинная?» — восклицала: «Да чума!» Сейчас бросила, а что толку? На воле люди не следят за речью, а здесь она выдает их суть, как говорливое письмо. Могла бы остаться Лизой — это ее настоящее имя.

— Тебе письмо пришло. Люди видели.

Начинается.

— Ну и отлично. Получу. — Она продолжает есть плов, родную восточную еду.

На что ее разводят? А если правда, кто мог писать ей?

— Зайди к куму, короче.

— Сам позовет... если есть письмо.

Она старается делать вид, что жует из всех сил, не думая. Смесь презрения и некоторой спортивной тупости — ее маска, и презрение ей прощают только ради тупости, понятной с учетом того, что она здесь 9 лет. Но это — маска. Годы заострили ее, только показывать это ни к чему. Даже самой это нужно знать, не признавать. Надо отступить серьезно и искренне, но лишь на определенную, пусть и большую глубину. Не до сердцевины. Сердцевину надо уменьшить, сжать в точку величиной с синий стеклянный шарик на кончике булавки — такие встречаются в упаковке мужских рубашек и потом долго сидят у хозяек в подушечках — на всякий случай и ради красоты темно-синего блеска. Вот в такой объем нужно сжать душу — твердо, как в бутон. На воле развернем, с годами. А пока — сжим. «Сколько ангелов умещается на кончике булавки?» — кажется, был такой схоластический вопрос в Средние века. То — ангелы. Значит, и человек вынесет такое уменьшение духа. Главное — и под спудом блюсти и хранить его.

За соседним столом Дора мучительно пытается справиться с жесткимкусом: зубы у бедняжки коротенькие, совсем съеденные. Ни волос, ни зубов. И ногти сильно обкусаны в нервном раздумье. Она вечно о чем-то раздумывает.

Она делает предназначенный лишь Доре жест, полупоклон: не то разминание шейной мышцы, не то кивок «ну как?». Признание ее существования. Блик в Дориных очках начинает дрожать.

— Спасибо тебе, — она на всякий случай говорит это Чуме. — За новости. От кого про письмо слышала?

Чума что-то высчитывает в голове.

— Кум сам сказал.

«Вот оно как»: она приподымает брови со смыслом и этим как бы отпускает Чуму. Рано или поздно та запутается в поручениях разных лиц, помогающих ей скоротать день то шоколадом, то табаком, то чем покрепче. Они уже сейчас разматывали ее нетрезвое нутро. Чумной она сюда зашла, и выйти хотя бы чумной ей будет непросто. Булавки в ней нет. Жаль.

Длинная, тонкая, с разболтанными в суставах, но необыкновенно изящными руками-ногами-жестами, с торчащими локтями и лопатками, она должна была быть в темном тонком свитере, черных джинсах. С намеренно неровно подстриженными темными волосами.  $19 + 8 = 27$ . Может, и дотянет. Может быть, повезет.

\*\*\*

Вызванная по всей форме, она сидит напротив «кума» вечером, когда, похорошему, тот должен уже сидеть напротив телевизора и слушать песни новой певицы Земфиры — у нее тоже восточная фамилия, Рамазанова, но с большими основаниями — или новости из несчастной Сербии. Сербия всегда несчастная, а они счастливые.

— У вас, Бекбулатова, конфликт опять с коллективом, — он всегда начинает — по крайней мере с ней, общение на «вы». У него теория, что с каждым нужно говорить на его языке. Поэтому одна армянка (взяточница, не поделившаяся с кем-то) дала ему бирку «апостол Павел». Образованных людей меньшинство, но они определяют те немногие имена, которые не дались людям просто умным. Общими усилиями народа имена оказываются у всех.

— Апостол Павел хотел говорить с каждым на его языке, — говорила армянка Армина Николаевна со своим клинописным акцентом.

— Ты врешь, — сказала вдруг двоюродная Фекла из своего угла. — Это Христос уполномочил апостолов проповедовать, а Святой Дух дал им дар языков.

Она проговорила это мерно, продолжая заплетать свою косу на ночь, держа шпильки в зубах.

Армянка — доброе лицо, мясистый нос, волосы с проседью — молча pokrутила пальцем у виска, и все поверили ей, а в сторону Феклы Клотильда махнула рукой. Армина давно освободилась.

Этого «кума», Владислава Павловича (вот еще откуда «апостол Павел»), она оплатала своим клинописным красноречием, как рыбу сетями, он был у нее в кармане и в кулаке. Не то чтобы «он от нее хорошо имел» (это была ее формула — «кто-то от кого-то хорошо имел»); она просто действовала на него как удав.

— Почему вы себя противопоставляете обществу? Как вам так удастся настронить некоторых людей против себя?

Она угромо, понуро, но всем видом отрицая упрек, молчит. Руки между коленами, по невольничьи, но на роже — забрало.

Нет смысла говорить, что это он сам послал Катю в лазарет.

Она начинает понимать: совесть подступила к нему. Внезапно понимает, что он позвал ее не ради нее. Он себя хочет сволочь с крючка.

— Как в больнице обстановка? Пора «призвать» священника?

Старухи говорят так: «Ох, призовите священника!» Но им говорят: «Хер». Только поп в дверях, как вы откидываетесь. Да, это замечено: явление черной рясы и исповедь развязывает узлы, и божья душа — обобравшая, погубившая

иногда не одного человека — улетает из больничной палаты, как бы унесенная сквозняком, чуть не на следующий день. А до этого кряхтела, стонала, цеплялась изуродованными руками с шишками на всех суставах — за жизнь.

Кум невольно усмехается: это «призовите» — действительно смешно.

— А вам смешно?

Он одергивает не себя, а ее. Привилегия власти. Она намеренно сидит с угрюмым, затравленным, но упертым лицом. Она молчит. Оправдываться бессмысленно: шуметь, как блатная — «а это я, начальник, ее под дождем держала?». Это проходит только у них. Она такими вещами не занимается. Она ищет других способов сообщить свою мысль. Она намеренно молчит. Ей кажется, что кожа намазана ментоловым гелем — от нее веет льдом.

Он вдруг отвечает на ее вопрос:

— Лечат. — И добавляет: — Смех смехом, а как бы вам самой не пришлось помереть без исповеди в наших стенах.

— Грозите? — она на миг подымает глаза и фиксирует его светлый взгляд. У «кума» животики, стол в царапинах, кресло потертое. И снова опускает глаза — теперь, что бы ни было, она долго не взглянет на него. Нельзя суетиться.

— Беспокоюсь. И так у вас жизнь — чего уж, Валерия Рудольфовна, — помолана, так вы еще и выправить ее не пытаетесь никак.

Она не подыгрывает ему: она хочет узнать его мысль.

— В обществе поучились бы, что ли, жить. Из-за своего удобства — ведь все равно же пришлось расстаться с чем там у вас было не по норме — человека страдать заставили. — Он садится к столу. — Так устроено уж общество. Один случайно страдает из-за прихотей другого.

Сейчас главное — угрюмо глядеть в точку где-то впереди себя, давя все попытки сказать: «это вы его, общество, устроили так». Не думать ни кожей, ни жиром. Только точкой внутри. Не убеждать, что теплые сухие ноги — не прихоть. Кончишь пушистыми щеками, интеллигентским «взволнованным» обличением, этим позорным тоном вечного самооправдания и обвинения.

Нет. Надо дать обвинять воздуху. Вещам. Жизни. Тело уже затекло от блокады всех соков в себе. Утаение, спасение души — почему, непонятно — требует замирания, лживости тела, всех его жестов и знаков.

Катя, Катя... Серо-коричневые, в рубчик чулки-«хэбэшки». Ждет ли она ее? Что говорят ей?

Катя — старая ээчка. Первый раз, сказали, сидела «за золото» в 1929-м, а потом сами посчитали «года» и поняли, что ей тогда было 12 лет. Изъятие ценностей у народа производили так: будешь сидеть, пока не отдашь на нужды индустриализации и колхозного строительства. И мировой революции, не забудь.

Ему нужно, чтобы она пришла к Кате и чтобы больше никто не смел надеть гетры под кирзу. Чтобы наказание было последовательно и доведено до точки: Катя попала под бензопилу, но в конце концов наказание должно пасть на истинно виноватую — В.Р. Бекбулатову, 1970 г.р. Нельзя передать ей воспаление легких, но публичное покаяние сойдет за него.

Вот в чем смысл. Если она это сделает, никакой перевод в другой отряд не поможет. Не будет уже у нее утренних зарядок, стирки майки не в очередь, никаких важных для нее, трудно взятых прав. Ей придется начинать ниже чем с нуля. И нечего говорить потом, что «надо было Катю навестить», «это по человечеству», и прочую чушь. Система нанесет ей удар неисцелимый. Доберется до шарика булавки.

Или она не права? Перед глазами появляются бежевые детсадовские чулки в рубчик. Люди не взрослеют, не стареют, они просто делаются безобразными, морщинистыми куклами разных размеров. Катя вроде Доры — маломерка.

«Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх». Только бы не выпянул.

Тупик. Она в тупике. Идти нельзя. И не идти — нельзя.

Самое главное — не подумать сейчас об универсальном выходе. О ноже, петле. Выходят здесь так из лабиринтов, когда очень долго длится тьма. Когда про-

странство тупика приедается и уже нет надежды увидеть вербы. Не думать об этом даже сейчас: мысль заперет все, отразится во всем теле и сдаст ее. Не сдаваться. И она усиливает воли давит сами образы мыслей. Самую сволочную рожу натягивает на себя — «кирпич». Она за ним отсидится, пока худшее пройдет.

— А у меня письмо для вас.

Она все же перемолчала его.

— Подруга пишет. Из-за границы.

Она резким рывком подымает голову и широкими глазами смотрит на подставленный под ее взгляд конверт. Синие чернила.

— Руку узнаете?

Он с презрением спрашивает ее: все они здесь, женщины, шалют, и старая отроческая дружба вдруг является, под напором беды, как любовь всей жизни.

— Да это не мне, — она безошибочно находит слова. — Та «я» на воле осталась. Напишите: «умерла», и дело в сейф.

Хочется встать, но надо сидеть. Может быть, письмо еще можно будет взять, не нарушая каких-то важных вещей... Но нет.

Ничего нельзя принять от него. Ничего. Пусть даже в этом письме слова, раскрывающие горизонт, — только она умела сказать такие, только она. Ими придется пренебречь. Потому что, протягивая руку за этим письмом, — единственным, чего она действительно хочет, — она раздробит свой внутренний булавочный шарик. Искра погаснет.

Танцевали они на дискотеках под музыку, мелодия называлась «Искра в ночи», и ничего нет ее нужнее.

— Идти могу?

Он молчит.

— Иди, дура, — в конце он всегда срывается так. Это известно.

Она встала со стула и, двигая затекшими ногами, «похилила» в коридор.

Из глубины к краснеющей коже продавливалось «Помилуй мя, Боже, по велицей милости».

\*\*\*

Вот она и отреклась от друга. И похоронила отчасти себя. Слова такие даром не даются. Но делать было нечего. Умрет она или нет из-за неосторожных слов — дело десятое. «Это военная хитрость, суеверные дурь», — говорила она кому-то. А брать письмо было нельзя. Еще когда Чума подвалила с новостью, было ясно, что нельзя. Она раскрыла, что оно ей дорого. А то бы он не знал? Кто пишет в тюрьму? Близкие. Тот, кто как сонная артерия, свой.

Проделав все рутины, она упала в сон. Не решающий день оказался. Люди со дня на день дела перекладывают, и судьба так же. Некуда ей спешить. Но судьба ее — в ее руках. Она — в тупике, нет у нее воли ни на грамм, но вся свобода решения — ее. Вся жизнь — все бытие. Владычествует она над ними, запертая в горизонталь-вертикаль-глубь самых скудных мерок. В ней самой — неисследимая вечная глубина.

Она уснула, выплыла в расширяющийся шум шуршащих камышей, в озаренный горизонт.

\*\*\*

— Вставай, убийца!

Давненько ее так, по статье, не называли. Она вышла из сна, не помня — такое бывало за весь срок два или три раза, — где она. В таких случаях реальность иногда поступала медленно, иногда рушилась разом, но всегда был момент удивления: надо же, в лагере. И не пионер.

— Катя умерла!

Внутри ее обварило варом, она взлетела над постелью и оделась за несколько секунд.

Фекла, прооравшая ей это в ухо, стояла рядом, заплетая косу, со шпильками в зубах.

— Паадьем!

Расталкивая всех, она ринулась в коридор, и никто не препятствовал ей. Она бежала в лазарет, не понимая зачем. Задав себе этот вопрос, она остановилась. Но поняв, что выказать своего смятения никому нельзя, двинулась вновь. С вышек смотрели на нее. И из окна «кум» — наверняка. Вошла в больницу.

— Где она?

Катя лежала в ближней палате: она сама лежала здесь разок после карцера в 1996-м.

Остренькое лицо, маленький нос. Гладко зачесанные каштановые волосы. Некоторые упорно не седеют. Катя открыла карие глаза и посмотрела на нее настороженно, неподвижно.

Жива. Жива.

Кашель вырвался сквозь синеватые от недостатка кислорода губы и тряс грудь под затертой белой блузой с завязками. Она вытерла губы сжатым в кулак платком.

— Садись, че стала.

Она села.

— Я думала, ты...

— Иначе бы не пришла: девки тебя с крючка сняли. Кто снял, им сейчас темную делают.

Она хотела встать и вернуться.

— Не спасешь. Всех не спасешь. Они там как стадо, каждая сунет по кулаку. Ну, не убьют. Посиди со мной покуда. Там воздух очистится.

Она снова закашлялась.

— У баб все так. Куда черт не поспеет, бабу пошлет. Это у мужиков — в стену.

Она спасла себя не сама. Она только помогла себе — тем, что за письмо не схватилась. Тем, что все дни сюда не шла.

— Сердишься? — она спросила у Кати.

Та сделала непонятное лицо. Но она его поняла.

Они и с Беатой понимали друг друга по движению бровей — поэтому письмом в крайнем случае можно было свободно пренебречь.

— Кто сказал?

— Фекла.

— Не знаю такую.

— Ну, староверка.

— А. — Катя поняла. — Шизгара-шоу.

Так ее звали в других отрядах некоторые. Но соседи по нарам не навораживали так детоубийцу. Непопулярная статья, что говорить, но «лучше сосед вблизи, чем брат вдаль». Такую аккредитацию еще поискать.

— Прилюбила, видать, тебя. Выдерут ей волос клоком. Самое меньшее. Не лезь!.. Подыми-ка меня. Сестры, суки, не поднимают, а у меня мокрота копится. Отек легких от лежания, и амба. — Она снова сплюнула в платок. — Ты вызов всем бросила, а они, староверы, это обожают. Они всю власть нашу и жизнь нашу бесовским домислом считают. Не ставят ее ни во что.

— Да что — она уж двоеданка ненастоящая. С мирскими — с кем поведешься, от того и наберешься. — Она неожиданно для себя расхохоталась. Опасная вещь — падающее напряжение. Поэтому она усилием воли собрала себя. Отрезвела.

Катя закивала.

— Это верно. Обе вы... душегубки.

— Да ладно. Стечение обстоятельств. Судебная ошибка.

— Я не прокурор. Мне что? Дай лягу. Дело швах, — она легла. — Я сама с властью не согласна была всю жизнь. С той, с советской. Как мужа арестовали и не дали мне учительницей работать, так все. Обида. Двоих сыновей воспитала,

чтоб они на власть эту не работали. Один спился, другой в тюрьме. По моим следам.

— И что, правильно?

— Правильно — неправильно, подавать назад не приходится. Поздно эта власть с резьбы слетела... поздно. А все же я дожила. А какой был сильный, ядреный народ. Не дождались.

Она дышала все трудней.

— Ты иди. Завтракать, работать пора. Повидались.

Закрyla глаза.

— Больше не приходи. А то скажут: одолели мы ее. Не поддавайся.

Она встала и ушла.

\*\*\*

В столовой доедали.

Фекла с затекшим левым глазом, с царапинами на щеках и руках — оставленными, она сразу определила, с ожесточением, но халатно, без умысла на членовредительство — пила чай и улыбнулась ей, с болью разведя опухшие губы.

Она говорит, что из-за бракованной москитной сетки ребенок выпал в окно, а люди говорят, что она, помрачившись во время ссоры с сожителем, выкинула его, как вещь. Ищи правды. И в ее собственном случае правды не нашли. Но она свободы дождется. Дойдет и выйдет.

— Садись со мной, — Дора кивнула ей. Спросила тихо: — Ну, как?

Не всегда кстати она шутит, но любит пошутить.

Это придумала она. Только у нее самой уже совсем нет волос и зубов, чтобы исполнить задуманное. И трудно ей потерять реноме на старости лет.

Они пили чай плечо к плечу и понимали друг друга. И все в столовой понимали их. Только сделать ничего не могли.

## Михаил Окунь

### Февральская вода

\*\*\*

А над Славянкой<sup>1</sup> стрекоза  
у берега играла в прятки.  
Ее раскосые глаза,  
лукавство азиатки.

Еще не зная, что почем,  
я хлопотал — билеты, виза...  
И бормотал мне ни о чем  
лобастый телевизор.

\*\*\*

*С. Подгоркову*

Нас ли страшать всякой ерундой  
типа глаза, мать его, Батая?  
У нас по весне такое выгаивает,  
Бог ты мой!

В нашем многоканальном проходном дворе  
двигаться можно только по карте.  
И то, что еще дышало и двигалось в декабре,  
стало лиловым «подснежником»<sup>2</sup> в марте.

\*\*\*

Ведьма-бессонница спать не дает,  
или дает, но при том намекает,  
что затонул твоей памяти флот,  
точного места никто не узнает.

Михаил Окунь (1951) — автор семи сборников стихов и двух книг прозы. Публикуется в журналах и антологиях России, США, Германии, Финляндии. Лауреат премии журнала «Урал» (2006).

<sup>1</sup> Река в Павловске.

<sup>2</sup> «Подснежники» — трупы выгаивающих весной из-под снега бомжей (из лексикона работников морга судмедэкспертизы).

С сыном ныряли, и он подтвердит:  
на Адриатике ящик железный  
в донной расселине криво торчит,  
илом заполненный и бесполезный.

Не Адриатика, впрочем, — река  
видится — там, в Ярославской, Орловской...  
Утлой лодчонки худые бока,  
вёсел в уключинах выверт неловкий.

### Февральская вода

*Александр Леонтьеву*

Кому поведаем, как жизнь проводим...  
*И. Бродский*

Не с кем и не о чем — не стоит и начинать...  
Стою, склоняясь, — речка будто пошла вспять.  
Из берегов торчат трубы, свисают языки льда.  
Припай душит, еле пробивается вода.

Так и не нашлось веселого места для меня,  
Граппы виноградной, замшелого пня.  
Лишь у запруды вкрадчиво журчит.  
Холодает. К ночи замолчит.

\*\*\*

Снилось: сел в тюрьму.  
За что, господи боже?!  
Что делать, с кем говорить, —  
Никак не пойму...  
А вокруг этикие рожи!

Вот повели баланду хлебать,  
За окнами барака уже вечерет.  
Чужого места не занимать!  
После ужина бошки бреют.

Вертолет над зоной не устает кружить,  
Воздух разгоня волглый.  
Проснусь ли, нет? —  
Делать нечего, надо дальше жить.  
Речка Параша впадает в Волгу.

\*\*\*

Правдолюбие — только не в веке этом.  
Надену тунику и сандалии,  
Зделаюсь эллинским поэтом.  
Скажу не убоюсь, открыто:  
Свойство есть, что роднит банщика и девку, —  
Плох ли, хорош, — без разницы, всех в одно корыто.



\*\*\*

Подсел бойкий старичок в парке —  
в поисках разговора.  
Погоду, говорит, нынче заказывают олигархи,  
они же воры.

В буквальном смысле —  
вот вчера какого-то посадили,  
а потом весь день без просвету хлестал ливень.

Или наоборот — когда выпускают кого-то,  
погодка стоит зашибись — это что-то!

Кроме того, известно, что Владимир Ильич Ленин  
встает по ночам в мавзолее,  
затем его тщательно бреют,  
и он идет в храм Христа Спасителя  
замаливать грехи...

Всё это мне чрезвычайно понравилось,  
и я сказал старичку,  
что его ценнейшие сведения  
просятся в стихи.

\*\*\*

Деревня, осень, самовар... —  
Уютный ряд винтажный.  
И к небесам восходит пар  
Почти многоэтажный.

Живи подольше, не болей,  
Не оскудеет пайка!  
На свой столетний юбилей  
Квартирная хозяйка

Пропустит рюмку... Что ж тужить?  
Что нам указ московский?  
«В России надо долго жить!» —  
Велел Корней Чуковский.

\*\*\*

«Тебе не холодно?» —  
Спросила мама.  
Мне *этим* холодом  
Не холодно давно...

## Вячеслав Петухов

### Лучшая собака в мире

*Рассказы*

#### Говноеды

*Памяти тов. К. Маркса*

За 100% прибыли буржуй  
продаст мыло и верёвку,  
на которой его повесят.

В стране вовсю эпоха развитого социализма, а в пригородной тюменской деревне этого не скажешь. Иван Некуров, сорокалетний местный механизатор, возвращался домой после получки. Ноги мужика не хотели никуда шагать, но последними усилиями воли их удавалось направлять в нужную сторону. Иван пел модную песню про речку Бирюсу и комсомольцев в Сибири. На вой выглянула из-за ворот супруга, от её взгляда муж поскользнулся и грохнулся навзничь.

— Валя, всё нормально... — Иван устало откинулся и уснул.

— У, шары залил бесстыжие. — Супруга расстегнула, нагнувшись, карман спецовки, забрала кровные. — Спи тут, лето — не замёрзнешь.

И супруг остался у ворот. Ничего удивительного, бывает в наших краях. Мой папа тоже, случалось, под забором храпел.

С другой стороны улицы появились два углана лет по десять.

— Смотри, Валерка, твой батя опять нахрюкался.

Пацаны подошли к лежащему Ивану, огляделись по сторонам, присели. Из кармана широких рабочих штанов торчало горлышко бутылки, заткнутое газетой. Сын почесал вихры на затылке, зыркнул по сторонам и тихонько вытянул бутылку, ещё наполовину полную. Валерка читать умел:

— Вермут. Виноградное вино. 18 градусов. Сахар 8%. Ого! Колян, сладкое!

— Пошли отсюда! Пока мать твоя не засекала, — поторопил друг Колька.

— Щас. Только курева возьму. — Сын пошмонал папашу по карманам. Нашлась пачка «Памира» и спички. Забрав только пару сигарет, Валерка вернул пачку на место. Пацаны шмыгнули в кусты и припустили вверх на пригорок, в своё излюбленное место подросткового разврата — заброшенную водонапорную башню.

---

Вячеслав Петухов (1958) — родился в Перми. Окончил операторский факультет ВГИКа в 1981 году. С 1980 г. работал на Свердловской киностудии оператором-постановщиком художественных фильмов, режиссёром, сценаристом. Печатался в сборнике «Сказки нового Екатеринбурга». В журнале «Урал» печатается впервые.

В полумраке воняло многолетними испражнениями. Быстро преодолев три этажа, Колька с Валеркой залезли под крышу. На чердаке было суше и не так несло какашками.

— Из горла будешь? — солидно спросил Валерка.

— А чё? Стаканов всё равно нету, — согласился друг.

— Чё-то я очкую, Колян. Давай ты первый.

Друг Колька взял «бомбу» двумя руками за дно:

— Ну... Как там? За твоё здоровье! — Пацан хлебнул из горлышка, рассчитал плохо, бормотуха потекла по подбородку. — На, — закашлялся Колька, — твоя доля.

Валерка взял бутылку и так же смело опрокинул содержимое в себя. Дух перехватило, но он выдержал испытание мужества, не поперхнулся.

— Ух! Дрянь какая! Как её взрослые пьют! — икнул Валерка вермутовой воню.

— Привыкли. И мы привыкнем. Давай покурим, что ли? — успокоил Колян.

Валерка дал другу мятую сигарету, себе взял вторую. Прикурили, осторожно потянули дым.

— Чё, не в затыжку, что ли? — спросил Валерка.

— Давай затынемся, — предложил Колька.

Затянулись по-настоящему, глаза полезли на лоб. «Памир» — он не «Мальборо». Развратники закашлялись, слёзы хлынули из глаз, и они рванули по углам блевать. Вывернуло их по-взрослому: вермутом и никотином.

— Какое говно, Колян. Я курить не буду. Никогда, — сказал Валерка, утирая краем рубахи все, что мокро блестело на лице.

— Привыкнем, — успокоил друг.

Через полчаса, уже в сумерках, они в обнимку пьяно ковыляли по деревне. Колька пробовал материться. А чего? Гулять так гулять. Валерка всё падал, но Колька был покрепче, друга не бросал.

Из окна дома выглянула девчонка — одноклассница этих тимуровцев.

— Люська! — гордо крикнул ей Колька. — Мы вермут пили.

За дочерью появилась её мать:

— Что из вас вырастет, оглоеды! Вот я мамкам вашим завтра всё расскажу!

Пацаны похабно захохотали.

— Давай, тётя Нюра. Вот мы тебе все огурцы поворуюем, — крикнул Колька.

— Увижу тебя с ними — выпорю! — пообещала мать дочери.

Та с тоской посмотрела вслед друзьям.

\*\*\*

Бывают, конечно, буржуи по происхождению. Но Валерий Иванович Некуров был, что называется, «селфмэйдмэн». Родившись в сибирской деревне на заре эпохи Брежнева, он имел все шансы не дожить до капитализма. Чего только стоили афганская война, перестройка-катастрофа, спирт «Ройял», коллапс промышленности, развал Союза! Всего не перечислить. Но Валерий Иванович через кооператив, через тюремную решётку, через жадность свою и непомерный труд выбился в люди. На пятидесятом его юбилейном банкете гуляла вся областная администрация и плясали гопака солисты Марининского балета. Поэтому своё мнение он ценил выше всех прочих. Не надо думать, что только эти детали составляли весь его облик. Человек он был хороший и даже богобоязненный. Просто он был русский человек, что, по Достоевскому, значит — чудовищно разный с разных сторон своей сущности.

Поздним вечером в начале апреля даже в тюменских деревнях становится хорошо. Ещё ночной заморозок не стёр весенние ароматы, нагулянные под тёплым солнцепёком. На мокрых проталинах проклюнулась мать-и-мачеха, берёзовые почки ещё не набухли, но уже пахнут, пихта хоть и ритуальное дерево, но, опьянённая весной, залила мир вокруг своим тревожащим дурманом.

Валерий Иванович подъехал на огромном автомобиле к своей деревенской резиденции, хлопнул дверью и потянулся, глубоко вдыхая родной воздух, а вместе с ним всю силу пробужденной жизни.

— Господи! Как хорошо! — вырвалось из его широкой груди.

Было поздно. В доме уже все (жена и младшая дочь) спали. Хозяин прошёл на кухню, достал из бара пузатую рюмку, плеснул двадцатилетнего французского коньяка на три пальца, с удовольствием выпил. А чего не выпить крепкому мужику в конце рабочей недели у себя дома? Валерий Иванович закусил куском сырокопчёного окорока из холодильника, тяпнул ещё грамм сто. Сел в кресло, покачался. Из окна напахнуло весной, в крови заиграли «Мартель» и пробудившиеся гормоны. Настоящий коньяк может делать чудеса. Владимир Иванович потерял самообладание и направился в спальню жены, думая осчастливить благоверную, за 30 лет совместной жизни испытывшую с ним множество метаморфоз различного характера.

Жена спала или делала вид, что спит. На широкой дубовой постели она занимала едва ли четверть. На месте, где положено было лежать Владимиру Ивановичу, на большой пуховой подушке развалился огромный лохматый сибирский кот Шухер. Глаза его изумрудной ненавистью светились в темноте. Кот не уходил. Валерий Иванович снял штаны и рубашку. В белой майке и трусах он стал в два раза шире, чем одетый.

— Кыш! — тихо скомандовал он коту.

Шухер знал, кто на самом деле здесь альфа-самец, и тихо, будто на цыпочках, удалился через окно на улицу.

Валерий Иванович забрался под одеяло и принялся, как бывало, беспокоить супругу.

— Ну, Люся, чего ты? — шептал он, прижимаясь. — Ты же не спишь.

Жена поддельно сонно отнекивалась:

— Я только-только задремала, весь день голова болела. Таблеток наглоталась снотворных. А тут ты.... Фу, коньячищем воняешь!

Муж нетрезво захихикал и проявил настойчивость, Людмила же совсем не была настроена. Это не так важно почему, ведь Валерий Иванович никогда не отступал.

— Мать, ну чего ты? — обиделся хозяин. — Надо, понимаешь.

Людмила вдруг взъерепенилась:

— Надо ему! Пошёл вон, козёл!

Супруга упёрлась в грудь мужа слабыми своими коленями и вдруг резко столкнула его на пол. Валерий Иванович грохнулся всем центнером. Даже больно оказалось.

— Дура!

Он собрал свою одежду и пошёл спать вниз, на диван. Вслед ему понесли истеричные рыдания жены о лучших годах загубленной молодости.

— Чего ревьешь, идиотка? — громко зашипел Валерий Иванович. — Таньку разбудишь.

Так завершился прекрасный многообещающий вечер. Еще 200 грамм «Мартеля» (это уже снотворное), и хозяин забылся тяжёлым тревожным сном, сулящим дурное расположение духа к утру.

Так и случилось. Валерий Иванович всегда просыпался рано. В полседьмого он в рассветной мгле жарил шкварки, чистил картошку и вываливал её в выпитое сало. Вкус у него был с детства простой. И деньги тут не имели значения. Если вырос на чём — то потом не отвыкнешь: будешь вонять салом на весь царский дворец.

«Надо было в офис пойти», — подумал Валерий Иванович, поглядев на красную водонапорную башню, возвышающуюся неподалёку.

Эта башня — любовь и гордость Валерия Ивановича. Он приобрёл её так: лет семь назад его избрали депутатом местной думы — чтоб хоть откуда-нибудь деньги брать для бюджета. А главой администрации был его друг детства

Колян Сургин — бывший бандит, четыре раза судимый, теперь вот уважаемый чиновник и местный торговый монополист. По правде говоря, Колян являл собой бесстыдный пример самой низменной олигархии. С приходом к власти нового мэра в большой деревне все четыре магазина стали его. До города 20 километров — за хлебушком не наездишься. Вот Колян и ценообразовывал как хотел.

Да, о красной башне. Эта штука стояла в деревне с начала XX века, вознеслась на общественные деньги, а через сто лет стала не нужна, стала пристанищем разврата и наркомании. Местный совет решил избавиться от древнего вертепа. Но как её снести? Она же не таджиками строена — крепкая.

— Дай денег на тротил, Валера, — обратился мэр к старому другу. — И бригаду.

— Нет! У меня другое предложение: я сделаю из неё достопримечательность. Отдайте её мне, — предложил благодетель, подумав.

Мэр сам решать не стал. Месяца три обсуждали с думой, в конце концов постановили: продать по цене кирпичей. Поштучно. Кто-то даже посчитал, сколько в башне штук кирпичей.

— Вот ты бизнесмен, Колян! — обиделся Валерий Иванович. — То помоги безвозмездно снести — не нужна. То — купи. С говна сливки снимаете!

— В бюджете денег нету, хоть продадим чего-нибудь, — не моргнул глазом старый друг.

— Знаю я, где вечно не хватает, — закончил разговор Валерий Иванович и купил башню.

Вложил в неё ещё пару миллионов. Теперь там библиотека, общественная приёмная депутата Некурова и его офис на верхнем этаже. Он иногда и живёт в башне, если что.

Картошка хорошо поджарилась. Валерий Иванович поставил сковороду на стол. В этот момент к дому подкатил белый «Мерседес».

«Ого, принесла нелёгкая», — подумал Валерий Иванович, увидев приближающегося Коляна Сургина.

Тот был в костюме и даже при галстукe. Колян протянул татуированную пятерню:

— Здорово, Иваныч. Я тебя по запаху вычислил.

— Присоединяйся, на двоих хватит, — ответил хозяин.

Мужчины сели друг против друга и ложками принялись есть прямо со сковороды. А чего им выпендриваться, они же знали, кто есть кто.

Из окна выглянула Людмила, сверху оглядела происходящее, сморщилась и закрыла форточку, чтоб не воняло.

Валерий Иванович поднял глаза, увидел, как задёрнулась штора. Налил по 100 грамм крайне дефицитного в наших широтах «Питьевого спирта».

Выпили.

Помолчали.

— Послушай, Колян, хотел спросить: ты с бабой своей как?

— А чего такое? — не понял друг.

— Ну, если она чего не так?

— А-а-а! В глаз ей, суке, и она — шёлковая. Я её кормлю, а она кобениться, что ли, будет? Проблемы у тебя с Люськой?

Валерий Иванович почесал нос:

— Да не даёт, говорит, что голова болит.

Колян сильно удивился:

— На фиг тебе это надо, Валера? На баб денег не хватает?

— Дело принципа. Я ей муж, она должна. В церкви обещала. — Валерий Иванович завёлся, вспомнив своё падение с супружеского ложа.

— Тогда терпи, раз православный. Или разводишься. Это легче, чем из партии выйти. Ты вон во всех партиях был, в каких надо. И ещё будешь. А тут — баба! — ехидно хмыкнул гость.

«На хрена я его спросил? Разболтает ведь», — подумал Валерий Иванович. От спирта и своей оплошности ему стало противно на душе. Захотелось отыграться.

Мужчины закончили завтрак.

— Ты чего? Просто так зашёл? — спросил Валерий Иванович гостя.

— Да нет! Извини, конечно... — Колян мотнул головой в сторону «Мерседеса». — Вон, понимаешь, разорился, не утерпел. Красота такая...

— Не слишком круто для деревни? — Валерий Иванович любил поговорить о скромности. — А чего не у меня купил? Краденая, что ли?

Колян сконфузился:

— Нет, конечно! Чего ты? Почти чистая, за долги взял, за полцены.

— Опять за старое, рэкетирись?

— Зуб даю, за деньги. — Колян перекрестился. — Потому и пришёл. Машину купил, а торговать нечем. Дай лимон для оборота на месяцок, не больше.

Сильно хитрых Валерий Иванович не любил. Колян что-то оборзел совсем: башню за так не отдал, деревню вот ценами задушил, а денег ему дай на шару! В банк что-то не пошёл, жмот. Валерий Иванович задумался. Гость с надеждой заглянул ему в глаза: там было темно и непонятно.

— Чего, нету? — спросил Колян.

Валерий Иванович потянулся, зевнул и ласково улыбнулся:

— Для тебя всегда есть, Коля. — Хозяин похлопал гостя по плечу. — Какой базар, друг. Такая дрянь — деньги.

— Не скажи, Иваныч. Деньги решают всё. У тебя есть, а у меня нету. Народ без денег сидит — ко мне ползёт, халяву кланчит до получки. Я их жму. Вишь, какой кругооборот? Деньги — это всё.

Валерий Иванович по-доброму глянул на друга:

— Коля, а хочешь, я тебе миллион рублей подарю на полную халяву?

— Это как? — насторожился Колян.

— А вот: у тебя есть два пути. Первый — я щас принесу тридцать штук баксов и дам тебе под... э-э-э-э, скажем, десять процентов на месяц. Второй — это, если деньги, как ты говоришь, решают всё, бери вот этот гранёный стакан, иди к выгребной яме. Видишь, она под завязку полна, некому говновозку заказывать, дворянки одни кругом. Открываешь, зачерпываешь полный стакан и пейшь. Всё! Бабки твои, понял?

Колян нервно вскочил, бросился на выход, резко передумал — вернулся:

— Это ты мне?

— Тебе. Деньги ведь главное, — спокойно ответил Валерий Иванович. — Сам сказал.

— Я же сдохну! — возмутился старый друг.

— Это — вряд ли. Ты проглоти, а там — хоть блдой, хоть с собой уноси. Нет! Спиртом заполируй. Микроба, она спирт не любит, — засмеялся хозяин.

Колян задумался. Валерию Ивановичу даже показалось, что в голове старого жулика завертелись шарики, дым пошёл.

— Ну, нести бабки, что ли? — поторопил хозяин. — Мне тут некогда с тобой антимонии разводить.

— Давай! — махнул Колян рукой. — Только между нами, брат. Чтоб ни одна сука... Сам понимаешь.

Валерий Иванович дёрнул себя большим пальцем левой руки за зубы и провёл им же поперёк горла.

Наверху из детской выглянула дочь Танька:

— Мама, он дома?

Мать шёпотом ответила:

— Дома, в саду с дядей Колей сидит.

— Ну, ладно. Если что — я в город уехала, нет меня. — Танька закрыла дверь. Щёлкнул замок, и всё стихло.

Валерий Иванович принёс деньги:

— Вот они, зелёные. Тридцатка.

Колян отхлебнул из бутылки для куражу, занюхал. Пошёл к выгребной яме, открыл крышку.

— Тыфу ты, зараза какая!

— Брось, сейчас не лето. Ни мух, ни опарыша. Оно холодное с утра, свежак.

Мэр огляделся:

— О! Тут резиновые перчатки валяются. Я возьму, чтоб руки не испачкать?

— Это можно, — великодушно кивнул Валерий Иванович. — На костюме не набрызгай.

Колян нагнулся и зачерпнул по-честному полный стакан, выпрямился, поглядел на солнце через дерьмо. Из окон в узкие щели между штор за мужчинами наблюдали женщины. Колян с робкой надеждой бросил взгляд на друга детства.

— Слабо? — криво усмехнулся тот. — Деньги же решают всё.

Три пачки сотенных зеленели на столе. Гость, как ныряльщик, глубоко вдохнул-выдохнул и опрокинул жигу в широко разинутую пасть. Одним махом! Только чуть-чуть говна попало на золото зубов.

— Гы! — рывкнул могучий Колян, взял бутылку со стола, прополоскал рот спиртом. Допил бутылку на следующем вдохе и расслабился.

— Технично, — оценил Валерий Иванович. — Что да, то да.

Колян снял перчатки:

— Дай-ка мои баши. — Мэр сгрёб деньги привычным движением чиновника. Отхватил кусок сала побольше, закусил. — Что-то много я с тобой бухаю, Валера, а ещё и восьми нету. Привет семье. Я пошёл.

Колян вышел за ворота и уселся в свою новую игрушку. Немецкий мотор взревел всеми своими сотнями лошадей и вдруг дал задний ход — что-то там водила не туда переключил. Корма судна со всей Коляновой дури ударила в бетонный столб и, слегка покорёжившись, съехала в канаву. Раздосадованный Колян выпал из плохо закрытой двери, поднялся, покачался, обошёл вокруг машины.

— Зараза! — пнул он переднее колесо. — Руля ни хрена не слушается, брат. — Повернулся к другу: — Валера! Пусть «мерин» тут постоит. Я просо-хну — заберу.

И герой враскачку отправился восвояси.

— Настоящий русский богатырь! — вдогонку крикнул Валерий Иванович и захохотал. — Нас хрен чем напугаешь!

Колян опять упал, в этот раз, словно возмущился шуткой над своей персо-ной, с трудом поднялся, обернулся:

— Ржёшь, Валера? Эх, ты! Я-то тебя в 76-м не выдал: ты на своей водо-качке прятался, а я по малолетке загремел на два года. — Колян горестно мах-нул рукой и поплёлся дальше, выписывая замысловатые кренделя ватными ногами.

Вдруг Валерий Иванович почувствовал взгляд жены, полный ненависти. Ответил ей вопросительно и долго. Понял про себя всё — и сразу ему стало тоскливо и гадко, словно он сам только что выпил дерьма. Валерий Иванович бросил взгляд на безнадежно пустую бутылку.

— Хватит! — сказал сам себе мужчина и загрузил, уставившись на ещё голые, без листьев тополя и грачей на них. Вдали сквозь дождевые тучи, оза-рённый утренним солнцем, блестел купол старой церкви. Пошёл снег, круп-ный и сырой, вместо дождя. — Весна... — прошептал Валерий Иванович, запахивая полы старой телогрейки.

Он почему-то вспомнил, как в семнадцать лет отправился покорять Ямал с другом Андрюхой. Как там в пятидесятиградусный мороз таскал железо на буровой. Денег платили много, да разве в них было дело? Столько лет назад... Силы полно ещё, но где смысл?

«Эх, скотина я какая! — подумал про себя мужчина. — Выпендрился, а ещё в церковь хожу. Надо как-то меняться, что ли? Ладно... Попробую...»

На втором этаже дома Танька осторожно прокралась в спальню матери:

— Что он делает?

Людмила полулежала на постели и поправляла маникюр. Кивнула дочери в сторону окна:

— Плачет вон в саду. От умиления.

Дочь выглянула наружу, после нырнула на родительское ложе, прижалась к матери.

— Как ты знаешь, что плачет?

— Нагадил опять. Ты же видела — Коляна заставил говна выпить. Теперь совесть мучает.

— Ма, мне восемнадцать исполнится — я уйду от вас. Я сама хочу жить, одна.

— Куда ты уйдёшь?

— Пусть он мне квартиру купит в Тюмени, ты ему скажи.

— А кто тебя кормить будет? Работать, что ли, собираешься?

Дочь непонимающе уставилась на мать:

— Что он, на дочь денег не найдёт?

В саду муж и отец устал грустить (он привык всё делать быстро). Валерий Иванович утёр слезу — бизнес не ждёт.

— Реву, как баба. Шестой десяток — климакс, ядрёный корень, — решил он и пошёл в дом.

Закончив одеваться, позвал жену:

— Люся! Я уезжаю.

Людмила спустилась вниз с выражением «лучшая в мире жена» на лице:

— Валера, я домработницу уволила.

— Чего такое?

— Опять воровка оказалась. Ты там в Тюмени новую найди, почище.

— Ладно. Сама-то не можешь, что ли?

— Не хочу! А ты куда? Надолго?

Валерий Иванович поцеловал её в щёку.

— В Ханты, к Марку. На неделю, не больше. — Он вышел в прихожую, сунул ногу в туфлю, что-то чавкнуло и завоняло. — Тыфу, ты! Вот гад! — взревел хозяин. — Убью я твоего кота. Опять в ботинки навалил.

Разъяренный Валерий Иванович снял носки и босиком выскочил наружу. У двери стояло корыто с дождевой водой. Он потоптался в нем обеими ногами и так, оставляя мокрые следы на асфальте, зашлёпал к машине. По опыту он знал — вонь кошачью долго не отмыть.

Заботливая жена спросила вдогонку:

— Куда ты без обуви?

— А! В городе заеду, новые куплю. Эти ты выбрось.

Огромный автомобиль взревел и унёс его, так что он не услышал хохота и улюлюканья семьи. Женщина постепенно успокоилась, оглядела двор и сад, позвала нежным голоском, каким говорят только с кошками:

— Шухер, Шухер! Киска, иди домой, мой маленький, мой сладкий.

Верный кот выглянул из прошлогодней травы, коротко мявкнул и затрусил мелко в дом. Татьяна нарезала ему ровными кубиками отцовского окорока холодного копчения, налила полную миску сливок. Скоро кот спал на хозяйской подушке, оттопырив все свои четыре грязных лапы.

Людмила достала из сейфа шкатулку с драгоценностями и уселась у зеркала. Из шкатулки вынула шикарный бриллиантовый перстень, серьги и кольцо. Всё это она с любовью напялила на себя. Настроение пошло на поправку, как-никак муж отвалил минимум на неделю.

А муж ехал по родной деревне и думал. Нет, не про выброшенные на дерьмо деньги. Хрен с ними — миллионом больше, миллионом меньше. Думал



про себя: какой он ещё слабый человек! Низменные страсти ещё бушуют! Колян — дурак дураком, а за больное место ухватил. Есть два пути: развестись, конечно, можно. А как тогда жить дальше? Любовь, она разная бывает. Люська его тоже любит, что поделаешь, надо её терпеть. Кроме жены и верного друга, никто уже не помнит, кто он на самом деле.

Валерий Иванович ехал в Ханты-Мансийск. Там его основной нефтяной и прочий бизнес. Старый еврейский друг Марек был очень крутой банкир. Предстоял непростой разговор о кредите. Хотелось взять побольше и подешевле. Ну, да Марек — старый пройдоха, он не подведёт. Тут Валерий Иванович вспомнил, что в багажнике у него есть кроссовки, и остановился обуться. Машина затормозила как раз у церкви.

— Это хорошо, — решил бизнесмен, зашнуровав обувь. — Надо зайти.

Тем более что старый сельский храм он восстановил на свои кровные ещё шестнадцать лет назад, когда уверовал и воцерковился. В храме шла служба: молодой розовощёкий и почти безбородый отец Иоанн что-то сурово проповедовал. Увидев благодетеля, он приостановил свою речь и с широкой улыбкой закивал ему, кстати, построившему безвозмездно и каменный поповский дом.

Валерий Иванович поклонился батюшке, выпрямился величаво, расставив ноги, среди старушек. Как истинный православный, он очень боялся своего богатства, боялся, что оно погубит его бессмертную душу. И куда он тогда? Нормальные парни — те в рай, а он, как последний лох, к чертям, задницей по раскаленным сковородам елозить? Так не пойдёт! Валерий Иванович вздохнул, покрестился раз семь, вспомнил нехоти о предстоящей встрече с Марексом и пошёл на выход. Опять остановился весь в сомнениях. В конце концов, купил на 150 рублей толстую жёлтую свечку и поставил её за здравие Коляна у образа Николая-чудотворца, чтоб, не дай господь, не подох старый разбойник после сегодняшнего завтрака.

Людмила наскучило развлекаться с драгоценностями, захотелось чего-нибудь на завтрак:

— Танька, ты хоть яичницу сваргань, что ли.

— А чего опять я? — заныла дочь.

— Иди-иди, я вчера макароны готовила.

Танька нехотя отправилась вниз.

Людмила сняла с себя украшения и уложила в шкатулку. Попыталась закрыть. Не вышло — слишком много добра. Вздохнув, женщина высыпала всё на постель и принялась укладывать снова, теперь аккуратнее. Из кучи на простынях что-то упало на пол и укатилось под кровать. Людмила, чертыхнувшись, сползла вниз на поиски. Из пыли и какой-то забытой на полу одежды она наконец выудила вредное кольцо. Это оказалось почерневшее тоненькое серебряное колечко с искусственным рубином. Как такое могло находиться среди платины и бриллиантов? Но Людмила знала как. Когда-то один будущий миллионер заманил её (так он думал) на чердак водонапорной башни и с неимоверными усилиями соблазнил-таки, гад, её, невинную, среди окурков и пустых бутылок. После он ещё просил ждать его из армии и подарил ей это, тогда дорогое, кольцо с красной стекляшкой.

Людмила надела сей знак первой любви на мизинец, посмотрела в окно через выпуклый прозрачный камень и вдруг заплакала, сидя на полу.

— Ма! — донеслось снизу. — Ну, ты где?!

— Сейчас, сейчас. Только приберусь, — крикнула в ответ мать, пряча кольцо в шкатулку и утирая слёзы рукавом.

*P.S. Чего только не бывает в жизни!*

## Лучшая собака в мире

Это случилось давным-давно, ещё в старые добрые советские времена. Почему я записываю эту историю только сейчас — лет через тридцать после того, как я её узнал? Наверное, потому, что я стал старше и научился видеть чудеса в самых простых вещах, боюсь даже и сказать: угадывать Бога. Раньше не до того было.

Первая встреча случилась году в 81-м, зимой. Было обеденное время, рядом оказалась хорошая большая столовая с соцназванием «Комбинат питания». Я отправился в зал самообслуживания на первом этаже, набрал на целый рубль гору еды, такую, какую я съедал на обед в молодости, лет до тридцати пяти. Мест, не занятых рабочими и служащими, было немного, мне досталось местечко почти у двери. Ел я всегда быстро — это мне здорово пригодилось в армии, но испортило пищеварение в поздние годы. Тогда я об этом ещё и не думал. И вот, когда я съел половину своего обеда, в дверь зала вошёл большой, грузный дед в крытом тулупе. Он глянул на меня, на свободное место рядом, деловито скинул тулуп на стул у моего столика, сказал куда-то вниз:

— Зина, подожди здесь.

И ушёл за едой. Тут же появилась небольшая серая очень спокойная собачка. Она деловито прошла под стол и села, поглядывая по сторонам своими блестящими любопытными глазками.

Я собак вообще-то не очень... Я больше котов люблю. Но собачка была спокойная. Пусть сидит. Подошёл парень с подносом, оглядел свободное место рядом со мной, собрался сесть. Из-под стола негромко зарычала Зина.

— Занято, — кивнул я на тулуп, и парень ушёл в другое место.

Хозяин собаки вернулся через пять минут, устроился обедать рядом со мной. Следом пришла работница столовой — то ли уборщица, то ли посудомойка. Она принесла жестяную банку из-под селёдки, полную мясных обедков, поставила её под стол Зине. Дед и его собака стали неспешно кушать. Тётка недолго постояла рядом, переминаясь с ноги на ногу, и ушла — присесть-то было некуда. На прощание она сказала:

— Подходи, если что.

— Спасибо, — ответил дед, хлебая борщ.

Под столом негромко чавкала его собака. Я не мог сдержаться и поглядывал время от времени под стол. Старик перехватил мой взгляд, спросил с сильным татарским акцентом:

— Что, не мешает Зинаида?

— Нет-нет! Пусть. Она культурная собачка. Место знает.

Старик грустно улыбнулся:

— Конечно, знает. Жену мою покойницу тоже Зиной звали. Собачонка вот эта прибилудилась — я её и назвал так. Говорю с ней, как с человеком. Всё легче, — зачем-то объяснил старик.

Я закончил еду и ушёл в хорошем настроении. Из-за большого окна столовой с улицы я ещё раз поглядел на старика и его Зину под столом.

Прошло лет семь. Я ехал в трамвае. День был рабочий. В те годы в городе не былолюдно среди дня — народ ходил на производство. А я был свободен и ехал в центр. На очередной остановке неспешно и достойно в трамвай вошла пожилая дворняжка с седой умной мордой, села в хвосте вагона в уголок, чтобы никому не мешать.

Кондукторша — тётка тоже преклонных лет — поглядела на собаку:

— Здравствуй, Зина.

Собака, не вставая, повиляла, похоже, хвостом в знак ответного приветствия. Хвоста не было, конечно, видно, но можно было догадаться: виляла. Я сразу вспомнил собаку и деда.

— Я её знаю, Зину! — похвастался я кондукторше, улыбаясь.

— Кто ж её в 20-м маршруте не знает! Она каждый день в это время ездит, — улыбулась в ответ тётка.

Зина сидела в уголке, никому не мешая. Глазки её ярко блестели. Вся она была полна достоинства и спокойствия. Мы доехали до «Комбината питания», который уже назывался кафе «Рассвет». Я вышел из трамвая за Зиной. Мы подождали на перекрёстке, пока не загорится зелёный светофор, и пошли обедать.

В кафе работали официанты. Зина разместилась под столом у двери. Я сел на стул. У меня сразу взяли заказ, но раньше, чем мне, обед принесли собаке. Та же женщина, что и семь лет назад, принесла жестяную банку, полную недоеденных котлет.

— Здравствуй, Зина! — поздоровалась тетка.

Под столом Зина ответила хвостом, задев мою ногу.

— Я эту собачку давно знаю! — сказал я. — А где её хозяин?

Женщина села рядом, вытерла руки о фартук, глядя под стол:

— Помер Тимур Салимыч. Три года уже, как помер. Он у нас в подвале на Комсомольской жил, и она с ним. Дворник Тимур-то был. Вот помер. Она в дворницкой его одна живёт теперь — метлы караулит. Никто её не гонит — люди-то понимают. Они оба хорошие были. Теперь вот она одна осталась.

Собачка под столом перестала есть. Женщина наклонилась, погладила Зину по седой головой:

— Ешь, ешь, хорошая моя. Каждый день ходит, привыкла с хозяином-то.

Мне принесли мой обед. Так мы с Зиной и пообедали. Потом она ушла на свой 20-й трамвай. Я видел из окна, как она села и уехала обратно в подвал.

Я всегда вспоминал Зину, когда ездил на двадцатке в город, но больше не встречал её.

Как-то ещё года через три я опять попал в кафе «Рассвет». Времена были мрачные, ельцинские. Угрюмая, сырая осень. В зале малолюдно. Посетители выпивали, кто чего. Я взял пару чебуреков и пива, сел за столик у двери. Знакомая тётка лентяжкой затирала грязные следы на потёртом гранитном полу. Я окликнул её. Тётка подошла.

— Чего тебе, уважаемый? — спросила.

— Здравствуйте. Вы Зину помните?

Тётка грузно села рядом, близоручо прищуриваясь, разглядывая меня:

— Зину-то? Помню. Я и тебя помню. Мы с тобой тут виделись, про Тимура Салимыча говорили.

— Точно! Ну, как собачка-то?

Тётка пожала плечами:

— Как-как! Никак... Жизнь, дорогой, она ведь не вечная. Зина, по-собачьи-то, долго пожила. Самая лучшая собака на свете была. Я её пятнадцать лет знала. Слова плохого она не заслужила. Веришь, я её каждый божий день вспоминаю! Прошлой весной в марте, наверное, пришла Зина на обед. Она уже очень пожилая была, грузная. Я покормила её, котлеток дала. Мы маленько посидели, и она пошла. У неё же расписание: она точно знала, когда её двадцатка придёт. Наверное, совсем старая стала Зинаида, замешкалась на светофоре. Её большой машиной и задавило сразу насмерть. Не мучилась, слава богу. Господь хорошим собакам, значит, тоже лёгкую смерть даёт. Вот как оно бывает. — Тётка вытерла слезу фартуком. — Я её в парке похоронила на конечной двадцатки ейной. Она всю жизнь на этом маршруте проездила. Хожу иногда к ней.

Прошло ещё лет двадцать. Теперь, наверное, и тётки этой нет. Недавно ехал на трамвае. Там, на углу и кафе «Рассвет» снесли. Хорошо хоть, что я ещё есть и помню пока Зину, самую лучшую собаку в мире, и всех, кто с ней был.

## Анастасия Ваулина

### Сказка сбывается снегом...

\*\*\*

разоблачив в облаках лебедей выловить черных  
метель раскачивает колыбель укрывает ворона  
на другом конце коромысла плещется щука-дева  
стынет щека под слезой слезу слизывает королева  
под серебром копытца лед никакого чуда  
оттуда все кажется ветрами и изумрудами  
пруд не проломить не растопить руками  
и ласточка улета на юг не заметит тебя подо льдами  
в холоде пусто скреби не скреби по сусекам  
замерзая  
каждая сказка сбывается снегом

\*\*\*

На мигающий желтый успеем — увидим лето  
Выбежав на дорогу с сырой головой  
После заплыва на скорость с одной планеты  
К другой

Воздух с утра на ощупь — халва и масло  
Там, где нас видели, звучно упал дождь  
Фонари, разложившись на спектр, уже не гаснут  
Возьмешь

Мокрые кеды в руки, пойдешь по ветру  
Если стекло не порежет твоей ноги  
Приходи на Шарташ, пересчитаем к рассвету  
Круги

Так замирает время: звоночек птицы  
Перерастает в долгий, протяжный вой  
Душа улета к звездам, чтоб возвратиться  
С одной.

---

Анастасия Ваулина — выпускница факультета журналистики Уральского федерального университета. Стихи публиковались в журнале «Урал».

\*\*\*

на такой глубине тошнит,  
и глаза открываются сами,  
небо в горле стоит,  
сдавленное руками.

град по губам стучит,  
ветер в дыхание стонет,  
и цепенеют грачи  
стаей в твоей ладони.

остановись, дыша.  
так остаётся между  
нами одна душа  
величиной с подснежник.

и уплыви на звук  
слушать в тумане тайно,  
как при помощи рук  
сделать меня хрустальной.

\*\*\*

Тянутся провода,  
кардиограмма колес.  
Воздух вдохнешь — вода:  
облако порвалось.  
Не обожгись кипятком:  
ночью трясет вагон.  
Товарняк или гром —  
не разберешь сквозь сон.

Где твои волки, лес,  
их ледяная печаль?  
Вылей ее с небес  
в этот горячий чай.

\*\*\*

Птица, разверни меня на юг  
в ноябре, когда остынет небо.  
Не хватает рук —  
так много снега.

Сыплется оконное стекло:  
ягоды под кожей замерзают.  
Инеем на пальцах запеклось  
касание.

Выдох из последнего тепла —  
звон его расслышь в холодном свете  
и отлей в колокола  
медью

\*\*\*

Если небо падает,  
разбивается оземь —  
это осень  
рассыпается на кленовые листья,  
виснет  
песней, спетой внутри меня  
тишиной  
улетевших птиц,  
и огромной  
глаза в глаза  
смотрит в меня тоской.  
горечь  
впитывает в себя  
мякоть прозрачных губ,  
глаза  
растворяют  
в себе  
печаль,  
открываясь вглубь

\*\*\*

Мы редко танцуем до вкуса крови  
и дышим вровень  
перебегать на красный  
на ощупь  
в чужом кармане  
перебирать корни  
двери  
в чужих коридорах  
где-то между ребрами дома  
обглоданного сквозняками  
ищу руками  
скажите маме  
я отцепила ключ, чтоб уйти тихо  
я разбудила лихо  
и разгадала тайну  
но если мне не поверят  
я и сама не вспомню

\*\*\*

Сегодня я срежу волосы  
а завтра заплету волны в косы  
и намотаю  
их на запястье  
я золотая  
но мои стеклянные кости  
словно лопасти  
вертолета — такая страшная карусель  
каждый кисель  
пролитый мимо рта

пьет не та  
женщина, что полетит с тобой  
вечная мерзлота  
проступает между ладоней  
дорогой  
ты — след моего зрачка  
потусторонний

\*\*\*

Снег  
тает под языком  
у людей, которые могут ходить босиком  
по льдам  
У них  
вместо зрачков — вода  
И поэтому, наливаясь весной,  
сердце стучит мной  
Они называют это явление дрожь  
а я — любовь  
Небо играет само с собой  
в дождь  
Ветер играет сам с собой  
в свист  
Душа умеет летать оттого,  
что не умеет смотреть  
вниз

\*\*\*

Открыты глаза или закрыты  
от пустоты  
все свои сломанные зонты  
открыв, закрыть  
быть  
частью грозы  
которой захлебываются цветы —  
небо  
отнимает их у земли.  
порты  
целуют свои корабли  
никого не любя.  
небо  
отнимает меня  
у самого себя

**Павел Карякин**

## **Мастер чайной церемонии**

*Рассказ*

### **Действующие лица:**

Такасуги Арихито — самурай и мастер чайной церемонии.

Куроки Макиро — ронин, ищущий работу.

Каваками Сигэмаса — самурай, близкий друг мастера чайной церемонии.

Симадзу Нариакира — даймё княжества Сацума.

Другие самураи.

### **Краткий глоссарий:**

Самураи — японская воинская аристократия, сродни европейским рыцарям.

Ронин — самурай, оставшийся без хозяина.

Даймё — крупные японские феодалы, сродни князю.

Чайная церемония — специфическая ритуализованная форма совместного чаепития. Появившись первоначально как одна из форм практики медитации монахов-буддистов, включающая в себя ярко выраженный созерцательный компонент, отвечающий общему духу дзэн-буддизма, стала неотъемлемым элементом японской культуры.

### **Краткая историческая справка**

В конце XVIII — начале XIX веков в Стране восходящего солнца наблюдалось относительное затишье: кровавые междоусобицы находились в прошлом, вертикаль власти была укреплена так, что поколебать всесильного сёгуна не представлялось возможным. Многие самураи уже не учились военному мастерству и обращению с холодным оружием, как некогда. Большое количество этих воинов стали обыкновенными чиновниками, хотя и по-прежнему опоясанные двумя мечами. Самурайская эпоха была ещё жива, но уже не сияла былой доблестью.

...мы смиренно прислушиваемся к звуку кипящей в чайнике воды и чувствуем, как нас оставляют все суеты и заботы. Мы наливаем в ковш кипящую воду, шумящую, как горный поток, и она смывает пыль бранных мыслей...

*Такуан Сохо, дзэнский наставник*

---

**Павел Карякин** (1976) — родился в Челябинске. Окончил Челябинскую государственную медицинскую академию. Работал экспедитором, грузчиком, врачом, торговым представителем, водителем такси, строителем-отделочником. Прозаик, публицист. Публиковался в журнал-газете «Большая медведица», альманахах «Чаша круговая», «Вдохновение». В журнале «Урал» печатается впервые.



## Два самурая

Замшелая, усыпанная ветками и сосновой хвоей родзи — выложенная камнем дорожка — наконец упёрлась в тясичу — чайный домик. Крайне аскетичный, с неотёсанными подпорками, он даже был покрыт соломенной крышей — известный мастер чайной церемонии не желал отходить от традиций ни в чём. Неяркий свет торо — старых каменных фонарей, тускло освещавших дорожку, — выхватывал смутные очертания лишь самых близких кипарисов и сосен тянива — особенного сада, созданного вокруг тясичу. Остальные деревья таинственно шептались с ночным ветром в абсолютной тени. Такасуги Арихито — тот самый мастер чайной церемонии — почтительно приветствовал своего гостя Каваками Сигэмаса. Сигэмаса разоружился и совершил обряд омовения. После снял обувь и через намеренно низкий, словно призванный всех уравнивать вход пробрался в тясичу.

— «Тя-но ю<sup>1</sup> — есть не что иное, как поклонение красоте в сером свете будней (Сэн-но Рикю)», — прочитал Сигэмаса каллиграфическую надпись на токонома<sup>2</sup>. — Время неотвратно, — восхищённо изрёк он, — но гений Сэн-но Рикю, сумел создать изречение, не подвластное самой вечности, — он сумел в одну фразу уложить всю сущность искусства чайной церемонии!

Сигэмаса устроился на циновке, а вошедший следом Арихито почтительно поклонился и в полном молчании под поющую, закипающую воду принялся растирать листья чая каменным пестиком. Гость же угощался рисом.

Закипающая вода, сотворив удивительный дуэт с музыкой шумящих сосен и кипарисов, под мерный и тихий стук пестика договорилась с самим временем, и оно — время — исчезло. Исчезло, уступив место торжеству наслаждения сколькой высшей, столь и простой красотой. Красотой без малейших искусственных излишеств и потому самой изысканной в своей почти обыденности.

Наконец чай был растёрт до состояния пудры. Тогда Арихито залил полученное горячей водой и взбил до пены тясэном — специально предназначенным для этого бамбуковым венчиком. Вышедшую густую малахитово-зелёную пеннистую массу — очень густой чай — по традиции, предстояло первым отвратить гостю. Сигэмаса отпил несколько глотков из шершавого, грубой выделки, с неровными краями, но безукоризненно чистого глиняного тьявана — специальной чаши для крепкого чая маття. Безупречность чистоты не только тьявана, но и всех остальных атрибутов церемонии была словно призвана подчеркнуть девственную невинность так называемой изначальной гармонии, давшей начало всему сущему.

— Воистину говорил великий Сюю, что прекрасное не должно обнаруживаться в полную силу, — для его проявления необходимо сокрытие, — умиротворённо, чуть щурясь от терпкого, крепкого вкуса, промолвил мастер. — Разве можно короче выразить сущность дзэн?

— Как если сильное и грубое, стремящееся к господству, когда-нибудь постигает глубину дзэн и уже не может устоять перед хрупким и прекрасным!

При этих словах Сигэмаса восторженно разглядывал икебану, филигранная незатейливость которой была по силам только Такасуги Арихито. В простой и естественной композиции крупная сосновая ветка с кое-где пожелтевшей хвоей нависала, словно с угрозой и в то же время как бы защищая, над хрупкой орхидеей. В это время шишка отделилась от ветки и упала на татами, чуть прокатившись с характерным тихим звуком.

— Большое даёт начало малому, чтобы малое впоследствии дало начало большому, — глядя на шишку, произнёс Сигэмаса, — и так круг за кругом.

<sup>1</sup> Тя-но ю — искусство чайной церемонии.

<sup>2</sup> Токонома — важнейший элемент чайной комнаты, ниша, куда помещается свиток с живописью или каллиграфической надписью, а также икебана. Все эти элементы в немалой степени задают общую тему и настрой чаепития.

Арихито подавал сладости и простой, так называемый «жидкий» чай — гораздо менее густой и крепкий, нежели маття, — когда снаружи раздалась волшебная трель угусу<sup>3</sup>. Ночное пение этой прекрасной птицы редкость.

Когда б улетели прочь,  
Покинув старые гнезда,  
Долины мой соловьи,  
Тогда бы я сам вместо них  
Слезы выплакал в песне, —

прочитал Сигэмаса.

— Приятно видеть знатоком старинной поэзии лучшего друга, — поклонился Арихито. — Кто как не Норикиё Сато, прошедший столько часов в уединении и медитации, мог достичь такой глубины лиризма обыденного!

Сигэмаса улыбнулся.

— Боюсь, друг мой, ты ошибаешься. Это лирическое упражнение принадлежит Сайгё — знаменитому странствующему монаху.

— Правда твоя, — с достоинством снова поклонился Арихито, — как и то, что прежде, чем постричься в монахи, Сайгё в мире носил имя Норикиё Сато и состоял на службе у самого Тоба<sup>4</sup>.

Сигэмаса немного смутился.

— В своей гордыне обойти скудными знаниями поэзии великого мастера чайной церемонии я снова так жалок! Прости меня, Арихито, — солдатский ум сколь горделив и надменен, столь же узок и груб!

— Однако не всякий солдат свободно цитирует лучшие танка.

Сигэмаса благодарно кивнул, а мастер воспользовался своей очередью:

На холме, сквозь зеленой рощи,  
При блеске светлого ручья,  
Под кровом тихой майской ночи  
Вдали я слышу соловья.  
По ветрам лёгким, благовонным  
То свист его, то звон летит,  
То, шумом заглушаем водным,  
Вздыханьем сладостным томит.

Произошла некоторая пауза, которую наконец нарушил Сигэмаса.

— Какая странная танка! — произнёс он. — Да и танка ли? Очень похоже на то, что делают рыжеволосые варвары из Португалии!

— На сей раз друг мой прав! — ответил Арихито. — Эти иностранные стихи принадлежат прогрессивному западному дворянину и поэту Гавриилу Державину. Ошибка лишь в стране — он из России.

Сигэмаса рассмеялся.

— Неужто разница столь велика! Но несмотря ни на что, тончайший ценитель чая вновь потряс меня своей глубочайшей эрудицией — кроме тебя, мне не известен ни один знаток западной культуры и философии. Хотя ума не приложу — о чём могут рассуждать так называемые мыслители из варварской Европы? — нечаянно продемонстрировал своё грубоватое воинское невежество Сигэмаса.

— Прошу меня извинить, но ты несправедлив, дорогой друг. Запад обладает чрезвычайно выдающимися умами: Кант, Гегель, Вольтер.

— Мне очень жаль, но никогда не слышал о таких! — усмехнулся Сигэмаса. Мастер же продолжал.

<sup>3</sup> Угусу — камышевка, лучшая певчая птица Японии, так называемый «японский соловей».

<sup>4</sup> Тоба — японский император (XII век).

— Их философия во многом противоречит привычному восточному, а выводы зачастую парадоксальны для нас. Но я часто думаю о том, какие удивительные плоды принесло бы соединение передовых восточных и западных мыслей! Сигэмаса засмеялся:

— Не могу поверить — ты толкуешь об идее взаимооплодотворения двух радикальных по отношению друг к другу культур?! Брось, Арихито! Чему, прошу простить, могут научить нас эти варвары, отставшие от Востока в культурном отношении лет на двести!

Арихито лишь тонко улыбнулся.

Они ещё долго говорили о восточной и западной поэзии и философии, наслаждаясь чаем и пением угуису и гармонией единения с вечным и простым. Время прошло незаметно, и наступило четыре часа утра. Чайная церемония завершилась.

Друзья вышли из тасицу, тут же охваченные зябким и бодрящим утренним воздухом. В полнейшем молчании они прошли сквозь тянущуюся и лишь за пределами его Сигэмаса сделался мрачен и хмур.

— Друг мой, — произнёс он, — наши края посетил один ронин — некто Куроки Макиро. Это очень опытный мастер клинка и, кроме того, человек без совести и без чести. Редкий негодяй и мерзавец. Он безработный и вечно пьян, а следовательно, скорее всего, живёт грабежом. Но поговаривают, что он ищет службу у какого-нибудь даймё.

Арихито вопросительно посмотрел на говорившего. Сигэмаса, знавший о простодушии мастера чая в некоторых вопросах того, что касается канонов чести, продолжал:

— Чтобы добиться благосклонности даймё, ронин этот будет искать ссоры с каким-либо самураем. Одолев его в поединке и таким образом доказав свои способности, он сможет претендовать на вакансию. Тебе имеет смысл затаить-ся, дабы не быть вызванным на поединок!

Арихито всё понял.

— У одного знаменитого воина с Запада, — сказал мастер, — был излюбленный девиз: «Делай, что должен, и будь, что будет!» Это очень созвучно нашему дзэн. Если я буду прятаться, то уже не буду самураем и знатоком дзэн. Буду ли я иметь право считаться и истинным знатоком чайного мастерства?! Предав дело в малом, предашь и в большом!

Сигэмаса стал очень серьёзен и принялся говорить прямо:

— Прости, друг, ты величайший мастер чая, но ты никогда не воевал и не сражался! Ты проиграешь поединок!

— Прошу меня извинить, но ты позоришь меня своей жалостью, Сигэмаса, — с укором произнёс Арихито. — Помни, прежде всего я самурай и уж потом мастер чайной церемонии.

— Как же ты поступишь? — упавшим голосом спросил самурай.

— Так, словно ты ничего мне не говорил.

Сердце мужественного Каваками Сигэмаса, горячо любившее величайшего ценителя чая, облилось ледяной кровью.

— Благодарю за прекрасную беседу! — с улыбкой и поклоном попрощался мастер.

Таким был Такасуги Арихито — певец философии дзэн и, вероятно, последний столь глубокий знаток чая. И хотя кровь на полях сражений и в поединках более не лилась так обильно, как столетия назад, Арихито был всё же потомственным самураем, профессией которых на протяжении тысячи лет была война. А значит, и убийство. В этом содержалась драма — Арихито пришёл в этот мир словно не в свой час и не в той ипостаси. Чайную церемонию практиковали многие самураи. Ритуал этот помогал прояснить разум и способствовал постижению скрытого смысла многого. Основанное на философии дзэн-буддизма, действие это в созерцательной силе своей открывало особое вдохновение и решимость совершенствоваться на пути воина. Арихито, достигнув крайних вы-

сот в древнейшем искусстве чайного мастерства, пошёл ещё дальше — отказался от пути меча, полностью посвятив себя дзэн. Тонкий ценитель прекрасного, молодой уже человек никогда и никого не убивал, несмотря на пару мечей за поясом — это своеобразное сословное удостоверение.

Его друг Каваками Сигэма, принадлежа к классу сихаку — прямых васалов Симадзу Нариакира, — напротив, был действующим тюр, то есть имел офицерское звание и принимал активное участие в ликвидации беспорядков, вспыхивавших время от времени в провинции своего сюзерена. Жёстко следовавший кодексу бусидо, он тем не менее от природы трепетно относился к прекрасному. Арихито же для него был олицетворением особой гармонии, служа неким проводником в мир безупречного совершенства и высокой красоты.

Часто люди, подобные нашему мастеру чая, беззащитны и почти постоянно попадают под удар беспощадного молота невежества и грубой силы. Однако, говоря «часто», мы не подразумеваем «всегда» и вполне можем сказать, что не всё тонкое и прекрасное столь уж уязвимо, не так ли?

## Оскорбление ронина

Акатётин — большой красный бумажный фонарь — ярко освещал вывеску идзакая<sup>5</sup> «Странствующий монах». Заведение было недорогим и потому чрезвычайно оживлённым и людным. В лучшем его зале расположилась громкая компания из десятка самураев. Поводом для большого количества сакэ было продвижение по службе одного из них — самого шумного и весёлого. Явление карьерного роста в те дни было делом исключительно редким и потому значительным. Среди приглашённых были и наши герои: Такасути Арихито и Каваками Сигэма — известные и очень почитаемые в своей провинции люди.

— ...А она отвечает: «Извините, господин, но и следующим днём я буду ни на что не годна — ночи слишком холодны для хорошего отдыха!»

Раздались взрывы хохота.

— Пойди разбери этих глупых юдзё<sup>6</sup> — работают как собаки, а потом ни рукой, ни ногой пошевелить не могут, — сквозь смех проговорил другой самурай. — Ты что, Накамаро, не можешь сходить к нормальной гейше?

— Прошу меня извинить, но о чём с ней говорить? — пьяновато протянул Накамаро.

— Может, быть честным и прямо сказать, что денег жаль на гейшу? — сочуврившись, поддел третий самурай, обнажая в улыбке недостаток двух передних зубов, выбитых в поединке.

Вновь раздался смех и пуше остальных густой хохот самого Накамаро.

— Правильно, Накамаро, — пустым разговором плоть не накормишь! Лучше бери пример с ненасытного Синсаку.

— А что Синсаку? — икнув, спросил Накамаро.

— Что-что? Не вылезит из Ёсивара<sup>7</sup> — торчит там ночи напролёт!

Все снова, включая Синсаку, от души расхохотались. Под весёлым гомон разливалось сакэ и подавалась незатейливая, но обильная закуска. Виновника торжества поздравляли и желали дальнейшего продвижения по службе.

В это время появилась ещё одна компания. Во главе её был не очень опрятный, хмельной, но весьма крепкого сложения самурай. Пятеро сопровождавших его собутыльников были неблагородного происхождения. Вновь прибывшая компания громко и непочтительно потребовала сакэ.

Выпив, самурай принялся пристально и вызывающе оглядывать компанию празднующих. Ему потребовалось лишь несколько мгновений, чтобы понять, кто из гостей мастер чайной церемонии.

<sup>5</sup> Идзакая — японский трактир.

<sup>6</sup> Юдзё — японская проститутка (не путать с гейшей).

<sup>7</sup> Ёсивара — весёлые кварталы в Токио.

— Путь чая — истинный путь самурая! — вдруг очень громко, так, чтобы заглушить общий шум, произнёс вновь прибывший. — Новое слово в бусидо!

Спутники его разразились пьяным смехом, в то время как компания празднующих непроизвольно притихла, дивясь подобной наглости. Самурай же выпил ещё сакэ и продолжал:

— Одни монахи говорят, что если перед боем полить клинок чаем, то обладатель его становится-де непобедимым! Судя по возрасту знаменитого мастера чайной церемонии, это так!

Прихлебатели грянули издевательским хохотом ещё пуше прежнего.

— Как ты смеешь, негодяй! — первым пришёл в себя Сигэмаса. — Я зарублю тебя прямо на месте!

Лицо его покраснело от гнева, и он уже готов был выхватить клинок, но его властным жестом остановил мастер чая.

— Не нужно, Сигэмаса. Если молодой человек ищет ссоры, то непременно её найдёт.

Лицо Арихито оставалось ровным и спокойным, словно речь шла об отвлечённых пустяках. Ни одна чёрточка на лице не искажилась и не нарушила хладнокровного его выражения. Голос же мастера чая в наступившей тишине — прислушивались даже из самых отдалённых комнаток заведения — звучал глубоко и чисто.

— Послезавтра, в полдень, у монастыря Энрякудзи<sup>8</sup> мне будет удобно дать вам удовлетворение. — Мастер отпил чай, после чего с достоинством поднялся и всё так же хладнокровно и смело глядя в глаза обидчика, произнёс: — Я, самурай Такасуги Арихито из рода Такасуги клана Симадзу, вызываю тебя на поединок! Ты принимаешь вызов?

Прошелестели взволнованные голоса. Наглый самурай-обидчик на мгновение растерялся такой выдержке — он предполагал более длительное развлечение в своих издевательствах, надеясь таким образом смутить, вывести из душевного равновесия малоопытного в поединках мастера чая. Однако мимолётная растерянность ронина вновь сменилась нахальной усмешкой — всё-таки основной своей цели он достиг.

— Что ж!.. Это по мне! — развязно протянул он, вставая. — Это по-мужски! Я, самурай Куроки Макиро из рода Куроки...

— «Клана ронинов»! — вполголоса ядовито добавил Сигэмаса.

При этих словах Куроки Макиро побагровел. Бешеный гнев вспышкой молнии охватил его лицо, и он схватился за рукоять меча, едва не погубив всё дело. Но в следующее мгновение вернул себе прежнее хладнокровие, криво усмехнулся, бросив высокомерный взгляд на Сигэмаса, и довершил, по-прежнему обращаясь к Такасуги Арихито:

— ...принимаю твой вызов!

Шатаясь от выпитого, он развернулся и зашагал было прочь, но, словно что-то забыв, небрежно полуобернулся и нанёс последнее оскорбление.

— Когда послезавтра будешь вооружаться, не перепутай меч с чайником!

Грянул очередной приступ непотребного, почти конского ржания собутыльников.

— Мерзавец! — проревел Сигэмаса под возмущённые возгласы друзей и, едва владея собой, резко подался навстречу хаму.

Однако Арихито вскочил и практически вцепился в руку заступника, изо всех сил сдерживая его гневный порыв.

— Побереги свой пыл, храбрый самурай! — с оскорбительной нотой процедил ронин, насмешливо глядя на Сигэмаса. — Твоя очередь ещё придёт!

После решительно вышел вон в сопровождении подхалимов, подобострастно рванувшихся следом. Все до единого посетители и работники идзакая, знав-

<sup>8</sup> Энрякудзи — буддийский монастырь около г. Киото, основан в конце VIII в. монахом Сайтё.

шие известного мастера чайной церемонии, растерянно толпились вокруг, о чём-то тихонько переговариваясь.

Через некоторое время самураи вновь шутили и веселились, пытаясь хоть как-то замаять происшедшее и таким образом приободрить одного из самых своих любимых друзей. Но вечер был безнадежно испорчен.

Когда праздник закончился, Арихито подошёл к Сигэماسа.

— Друг мой, — обратился Арихито, — я никогда не воевал и не дрался на дуэли. Меч в последний раз держал много лет назад, принимая как реликвию. Я прошу тебя дать несколько уроков фехтования завтра.

— Послушай, Арихито! Ты даже не умеешь держать меч! Куроки Макиро — опытный боец! О каком поединке можно говорить?! Я сделаю так, что он не доживёт до завтрашнего дня, — собаке собачья смерть! Никто ничего не узнает — всё будет устроено как несчастный случай!

Арихито ласково посмотрел на храброго самурая.

— А твоё отношение ко мне как к человеку, уклонившемуся от поединка и потерявшему честь?

— Ты не военный человек, Арихито! К тебе другое отношение!

— Даже если это и так, я самурай, Сигэماسа! И при всём твоём добром отношении я не смогу лгать сам себе — это противоречит истинному дзэн и истинному кодексу буси. Как после этого жить без чести?! Подобным предложением ты невольно оскорбляешь меня!

— Прости меня, друг, — Сигэмаса опустил глаза, — другого от тебя и быть не могло!

Арихито улыбнулся.

— Я не военный человек, но смерть не страшит меня, Сигэмаса! Гораздо страшнее смерти — бесчестье! До завтра! — попрощался мастер.

## Чайная церемония

Ночь Такасуги Арихито провёл в медитации.

До утра Каваками Сигэмаса не мог уснуть, обдумывая предстоящее обучение. Было совершенно очевидно, что Арихито не выживет. Собственно, Сигэмаса обдумывал вопрос не выживания, а сколько-нибудь достойного отпора, хотя бы нескольких выпадов. Сам он владел преимущественно техникой школы Мунэнмусо-рю, школой, предполагавшей отточенное, так называемое «рефлексивное» владение мечом, что называется, «не раздумывая». Техника эта подразумевала огромный опыт и тренировки и потому не подходила для Арихито. «Быть может, Нито-рю — техника боя двумя мечами?» — подумал Сигэмаса. Подобная техника расширяла оперативное пространство бойца и давала преимущество в виде второго меча. Но Арихито не знал, как толком держать хотя бы один меч. Постепенно всё более Сигэмаса склонялся к школе Итто-рю — школе, делавшей упор на одном первом и главном ударе. Ударе неожиданным, сокрушительным, наносимом мощно и молниеносно. Ударе, которого от худого, не наделённого физической силой Арихито никто не ждёт! «Примём этот требует огромного опыта, но что если посвятить ему весь тренировочный день — одному-единственному удару?» — думал Сигэмаса. — В случае с Арихито главной ставкой будет преимущество неожиданности».

Взошло солнце, и пришёл Арихито.

Друзья коротко приветствовали друг друга.

— Не будем тратить времени, — произнёс Сигэмаса, подавая Арихито бокзэн — деревянный тренировочный меч. — Прежде чем мы приступим к медитации и тренировке, ты должен усвоить принцип «Ки-кэн-тай но ити» — дух, меч и тело — всё едино. У тебя будет лишь один шанс, и ему мы уделим всё наше время. Результативный удар включает три составляющие: правильный

удар, правильная осанка при нанесении удара, «правильная» бодрость и энергичность духа при нанесении удара. Это возможно следующим образом...

Арихито поднял руку, останавливая речь сенсея.

— У меня иная просьба, Сигэмаса. Поединок безнадежен — это совершенно очевидно. Я не вижу смысла тратить время на бесполезное оттачивание мастерства, которого нет.

Сигэмаса внимательно смотрел на мастера чая.

— Ты убивал и сам не раз был на краю гибели, как и мой завтрашний противник. Научи меня, как правильно и достойно встретить смерть.

Сигэмаса побледнел.

— Ты даже не хочешь испытать шанс? Пусть единственный и маленький, но шанс?!

— Истинный путь самурая — в смерти. Лучший шанс постижения пути воина — достойно её встретить.

Сигэмаса был поражен спокойствием и благородством, с каким Арихито говорил о предстоящем испытании. Так безразлично относиться к смерти могли лишь самурай, истинно глубоко познавший дзэн! Сигэмаса был восхищен! Он более не посмел предлагать помощь, которая хоть косвенно могла оскорбить великого мастера. Он подумал мгновение и вдруг сказал:

— Угости меня чаем, друг мой!

Арихито удивленно приподнял брови.

— Но соверши чайную церемонию так, как бы ты это делал в последний раз в своей жизни!

— С большим удовольствием, — улыбнувшись, произнес Арихито. — Сегодня жду на ночной чай!

Сильные порывы ветра, неистово гудя, вступали в схватку с мощными вековыми соснами и кипарисами. Стройные, но могучие, они гнулись под натиском стихии, но не сдавались и стойко противостояли её бесчисленным атакам.

Мастер стоял у входа в тиасу и ждал гостя. Бушующий ветер яростно рвал его шелковое кимоно и пытался сбить с ног. Тщетный в своих усилиях, он кидал в Арихито сосновые и кипарисовые иголки, липшие к коже и волосам. Но лицо его оставалось безмятежным и отрешенным, словно судьба не готовила некоего рокового удара.

Небо ярко и нервно запульсировало огненными венами, выхватив из темноты приближающиеся к тиасу две человеческие фигуры, трудно преодолеваяющие гнущий к земле воздушный натиск. Первого человека Арихито признал сразу — это был Каваками Сигэмаса. Второго же лишь тогда, когда тот подошел совсем близко. Мастер был поражен. Это был не кто иной, как Симадзу Нариакira — его сюзерен! Только без фамильных знаков и без охраны!

Арихито почтительно склонился.

Нариакira приветствовал своего вассала. Любитель пышных чайных церемоний и всего чрезмерного, даймё этот, однако, обладал глубоким, склонным к анализу умом. Великолепно знавший жизнь и людей, он был пронзительно тонким, можно сказать, изощренным психологом. Симадзу Нариакira горячо любил Такасуги Арихито за особенный, уникальный рассудок, честность, а также бесподобное умение соединять прямогу высказываний и известную деликатность. Кроме того, Симадзу относился с огромным уважением к познаниям Арихито сущности дзэн и его приверженности к простоте и чистоте традиций. Нариакira с удовольствием посещал аскетичную тиасу великого мастера чая и вдобавок ко всему питал живейший интерес к европейской философии. Возможно, таким образом даймё внутренне уравновешивал свою неуёмную жажду к роскоши.

— Прошу извинить за переходящее границы приличия вторжение, — сказал он. — Мне стало известно о предстоящем завтра поединке. Я прибыл инкогнито, чтобы лично поддержать вас в предстоящем испытании и выразить глубокое уважение вашему мужеству! Мне известно о нарушении мною установленных

правил чайной традиции, но всё же прошу о снисхождении и некотором исключении из правил — позвольте быть вашим гостем, Арихито!

— Большая честь для меня, господин Симадзу! — почтительно поклонился мастер, приглашая гостей в тясичу.

Воины разоружились и совершили обряд омовения под оглушительный аккомпанемент барабанов Райдзин<sup>9</sup>. Едва они проникли в тясичу, как стихия достигла своего апогея и разразилась страшным ливнем.

— «Со смертью ничего не заканчивается. Смерть есть лишь продолжение следующего — иного бытия», — перебивая грозу, прочитал Сигэмаса надпись на токонома. — Действительно, противопоставление жизни и смерти — вернейшее заблуждение, поскольку и первое, и второе лишь проявления нашего рассудка. Рассудок же и реальность не имеют ничего общего, поскольку реальность существует вне возможности её описания!

Нарикира согласно кивнул и так же громко вступил в разговор:

— Только в совершенстве постигнув дзэн, можно освободиться от страха смерти! Но чтобы в совершенстве постичь дзэн, необходимо освободиться от страха смерти! Наш любимый мастер чая сумел и первое, и второе! Теперь я совершенно спокоен и ни в чём не сомневаюсь.

Сигэмаса вопросительно посмотрел на своего сюзерена, но тот не потрудился объяснить своё загадочное высказывание о спокойствии.

Тясичу сотрясала под натиском стихии, а бог огня и молнии, не слишком меняя характер нападения, теперь колотил потоками по крыше и по бокам маленькой тясичу. Но внутри было очень тепло, а хлопотавшая вода, как маленький рычащий зверёк, будто стремилась покинуть свои медные пределы — необходимый уют был подготовлен заранее.

Мастер принялся работать пестиком, готовя маття. Из-за дождя постукивание пестика было не слышно. Но гости любовались тем, как мастер совершает действо: движения его, отточенные и безупречные, совершались с непередаваемой грацией непринуждённости. Лицо же было спокойно, словно горное озеро в штить, — ни малейшей ряби, но скрывающее знание тайн и мощь водных глубин, — всё это завораживало, как завораживает самое прекрасное и совершенное.

Наконец мастер залил приготовленный порошок горячей водой и взбил густой и очень крепкий чай, который, по традиции, первому подал сёкяку — самому почётному и важному гостю. Таковым был Симадзу Нарикаира. Почтительно кивнув, гость укрыв левую ладонь шёлковым платком — фукуса, на который поставил тьяван. Затем совершил несколько глотков и, вытерев край чаши бумажной салфеткой — кайси, передал тьяван Сигэмаса. С почтительным благоговением Сигэмаса проделал всё то же. Следом — Арихито. После этого ритуального действа каждому был разлит простой «жидкий» чай.

— Удивительный тьяван, — разглядывал увесистую керамическую вещь Сигэмаса. — Готов спорить, что ей все триста, если не четыреста лет.

— За обладание этой вещью я с радостью отдал бы свой лучший золотой кубок, инкрустированный рубинами и сапфирами, — произнёс Нарикаира, — но как оценить то, что цены не имеет?

Дождь продолжал неистовствовать, но будто только добавлял уюта в тёплой тясичу.

Дым над вершиною Фудзи  
Ввысь поднимается,  
К небу уносится  
И исчезает бесследно —  
Словно кажется мне путь...<sup>10</sup> —

чуть прикрыв глаза прочитал Арихито.

<sup>9</sup> Райдзин — бог грома и молнии. Окружён барабанами, на которых играет (гром).

<sup>10</sup> Сайгё.



Гости внимательно рассмотрели тьяван. Тяжёлый, шершавый и грубый, он был выполнен из тёмных и светлых глин. По всей внешней поверхности шла простая, но отвечающая прочитанному танка гравировка: курящийся на фоне звёздного неба вулкан.

— Тьяван этот, — начал рассказ Арихито, — был произведён больше четырёх столетий назад. Он пережил всех своих хозяев и был свидетелем лихих дней, когда реки были красны от крови, небо же было не видно за тучами стрел до самого горизонта. Вместо солнца источником света служили нескончаемые пожары. Путь свой эта чаша начала с Фудзиямы, где и была изготовлена одним мастером, вдохновлённым символизмом стремящегося к звёздам лёгкого, будто эфир, дыма. Дыма, олицетворявшего собой стремление к самой свободе. Ей хотелось служить воинам — людям, так легко решавшим чужие судьбы, щедрым дарителям смерти, жившим подвигами, и уподобиться дыму вулкана, что стелется над смертными. Но по мере того, как чаша эта прошла всю Японию, наделялась она духом каждого из обладателей, и конечным пристанищем долгих её странствий стала вновь Фудзияма. Там попала она в руки моему деду. Иначе чаша глядела на курящуюся вершину, особенно когда прочитана была в задумчивости предком моим танка Сайгё. Гляжу и я на драгоценную сию реликвию, — разум мой избавляется от оков и становится чистым и свободным, как это звёздное небо!

Мастер замолчал, и мгновение спустя замолчал и дождь. Внезапно, так, что гости невольно вздрогнули, освобождаясь от оцепенения и прислушиваясь к неожиданной тишине, прерываемой треском огня, Арихито поднялся и вышел наружу, приглашая за собой гостей. Ноги его по щиколотку утонули в дождевой воде, но мастер этого не замечал. Не ощутили холода воды и вышедшие гости.

Взору предстало безоблачное небо. Красоты и чистоты невероятной. Ясное! Луны не было, но звёзд сколько!.. Непостижимо бесчисленно! Без конца и края! Огромных и блистательных, дающих свет изумительный, яркости необыкновенной. Небо, похожее на состояние, когда останавливается поток мыслей — хаотичных и беспорядочных — когда остаётся лишь огромное пространство, свободное и полное высшим порядком одновременно.

— Теперь я совершенно спокоен и ни в чём не сомневаюсь! — вновь загадочно произнёс Нариакira, вновь не взявший труда объяснить смысл сказанного.

Все трое восхищенно глядели на небо.

— Непревзойдённо! — с чувством воскликнул Сигэmasa.

— Без малейших сомнений, лучшая чайная церемония, на которой мне доводилось бывать! — искренне подхватил Нариакira.

— Когда завтра пойдёшь на смерть, — произнёс Сигэmasa, — думай о том, как ты провёл свою последнюю в жизни чайную церемонию.

Самурай сердечно попрощались.

— Каваками Сигэmasa! — произнёс Нариакira, едва они покинули тявива, — на правах сюзерена я прошу вас сопровождать меня в качестве телохранителя.

Сигэmasa на мгновение замаялся, растерявшись, и это не укрылось от даймё.

— Слушаю, господин! — он почтительно поклонился.

— Я запрещаю ваш визит к Такахаси Мунэнори, — вдруг без всяких предисловий в лоб заявил Нариакira.

Сигэmasa был поражён.

— Прощу меня извинить, но... откуда вам известно?! — импульсивно и эмоционально начал он и осёкся, поняв, что чудовищно проговорился. Однако Нариакira не выказал самодовольства, напротив — словно не заметил досадного промаха своего подданного.

— Потому что я сам хотел так устроить, — спокойно проговорил Нариакira. — Но если обратиться к услугам этого ниндзя<sup>11</sup>, то Арихито непременно до

<sup>11</sup> Ниндзя — разведчик, диверсант, наёмный убийца в средневековой Японии. Несмотря на свой кодекс чести, считались низшей и недостойной кастой воинов, выполняющая дела, часто грязные и позорные для самурая.

всего дойдёт своим умом. Жить с позором такой человек не сможет и всё равно совершит сэппуку<sup>12</sup>.

Сигэмаса испытал очередное потрясение.

— А теперь скажи мне, храбрый самурай, — продолжал Нариакira, переходя на «ты», — что лучше: с честью погибнуть в поединке или с позором от сэппуку?

Ответ был очевиден.

— Вы будете сопровождать меня в качестве телохранителя до моих апартаментов, Сигэмаса, — сказал Нариакira. — И в моих квартирах я налагаю на вас арест до полудня завтрашнего дня.

Сигэмаса был уничтожен.

— На каких основаниях? — раздавленным голосом спросил он.

— Несмотря на логические доводы и мои приказы, вы, ослеплённый горем предстоящей потери близкого вам человека, всё равно обратитесь к Такахаси. В случае послушания вам придётся совершить сэппуку. Но мне нужны опытные военачальники. Поэтому до завтрашнего дня вы под моим арестом.

— Но почему вы знаете, что я непременно послушаюсь вашего приказа?! — отчаянно произнёс Сигэмаса.

Нариакira значительно посмотрел на своего вассала.

— Прошу прощения, но я на вашем месте поступил бы точно так же! — был ответ.

Арихито смотрел вслед своим гостям до тех пор, пока те не скрылись из виду. После вошёл в тасицу. Мысли его — спокойные и уравновешенные — текли умиротворённо и в большей степени касались созерцательного. Всё, что было дорого, завтра исчезнет навсегда. Однако вопреки предположению читателя этот момент тревожил великого мастера не существенно — дзэн учил не привязываться к самим категориям хорошего и плохого. Дзэн учил воспринимать эти абстрактные проявления как субъективный анализ разума, который, завися от категорий «хорошего» и «плохого», теряет свободу на пути к высшему просветлению. То же касалось и понятий жизни и смерти. Один из способов постижения выбранной цели — аскетизм, тесно взаимосвязанный с пониманием высшей гармонии. Эта гармония предполагает красоту предельно простую и естественную — природную, так сказать, свободную от вычурности и помпезности. Мастерство чайной церемонии — один из самых сильных и действенных способов постижения тайнства увидеть прекрасное в элементарном и даже примитивном с точки зрения типичного обывателя. Собственно, это способ постижения той самой гармонии, о которой идёт речь.

Однако мастера беспокоил ряд некоторых внутренних противоречий. Он не страшился смерти, не страшился потерять дорогое душе и сердцу, но страшился позора! Нельзя забывать — Арихито был самурай и был воспитан по законам буси. А бесчестье для буси — самое невыносимое дело! Выходит, не во всём Арихито мог считать себя свободным. Присутствовала-таки сильнейшая зависимость, воспитанная и навязанная психологически, обусловленная социально и переданная с кровью предками. Честь — вот эта зависимость, от которой Арихито никогда не только не мог, но даже и не старался освободиться!

«Действующие» самурай, то есть воины, живущие войной и знающие вкус и запах крови, привычные к убийству, давно смогли «правильно» приложить дзэн к философии буси, явив, таким образом, уникальный в своей утилитарности сплав буддизма и кодекса бусидо. Используя на деле мощные в своей действенности принципы дзэн, они порой свободно трактуют некоторые логические противоречия, которые, к слову сказать, противоречиями являются больше для людей непосвящённых. Но как быть с тем, кто собственными руками не дарил смерть и сам никогда не подвергался смертельной угрозе? Тем, кто носил пресловутые два меча, но образом мыслей более напоминал монаха, нежели воина?

<sup>12</sup> Сэппуку — ритуальное самоубийство. Совершалось в случае поражения или по приказу своего сюзерена.

Впрочем, мы не раз уже говорили, что Такасуги Арихито был человеком необыкновенной силы духа. Если что-то не удавалось постичь разумом, на помощь приходили мощные медитативные практики. Именно к ним прибегнул наш мастер чая.

## Поединок

Оба поединщика были у монастыря Энрякудзи без четверти двенадцать.

Истинный самурай не плачет. И быть может, не потому, что крайняя чувствительность способен обнаружить слабость характера и упадок духа. Но, возможно, частый вид крови и смерти, картины страшных изрубленных трупов искажают психику и цементируют любую душу, делая её чёрствой и холодной, точно камень, — рад бы заплакать, да невозможно. Случай же с Арихито был иным. Даже самые отчаянные, пропитанные чужой кровью самураи, безбашенные рубаки, крепко уважали Арихито за глубину взглядов, доброе отношение и, главнейшее, исключительную силу духа, выражавшуюся в том числе в полнейшем безразличии к смерти, — качество, не всегда присущее даже самым отчаянным сорвиголовам. Все знали, что Арихито никогда не убивал, и при этом всем было известно об удивительном бесстрашии этого необыкновенного человека.

Прибывшие друзья, включая Сигэмаса, подбадривающе улыбались, шутили и хлопали Арихито по плечу. Глаза их были узки от улыбок и смеха и сухи. Кажется, сухи... Невысокий, но плотный и кражистый самурай Ямада Синсаку — тот самый любитель весёлых кварталов Ёсивара, — желая приободрить, так крепко хлопнул мастера по спине, что тот пошатнулся.

— Представь себе, дорогой Арихито, самые профессиональные юдзё, оказывается, пьют, как последние собаки! — он шумно расхохотался, широко открыв рот, обнажая желтоватые, но крепкие зубы, — Пока не прикончила последнюю бутылку сакэ, не отвязалась! — он снова громко рассмеялся.

Тихонько, но весело засмеялся и Арихито, чуть запрокинув голову. Синсаку глядел на мастера смеющимися глазами, вокруг которых заметно обозначался влажный красный контур. Наконец он резко отвернулся, судорожно вздрогнув. Истинное состояние души пришедших на первый и последний поединок величайшего мастера чая было на поверхности. Арихито же, улыбавшийся безоблачной улыбкой, всё больше молчал, лишь иногда поддерживая какую-нибудь шутку негромким смехом. Только у него одного лицо было безмятежно, словно майское утро.

Симадзу Нариакира также был в числе пришедших на поединок, однако никаких эмоций невозможно было прочесть на лице его, что многих удивляло. Самураи знали о добром отношении этого жёсткого даймё к своему вассалу.

Куроки Макиро был выше Арихито на полголовы. Кроме того, имел превосходное сложение: был мускулист, широкоплеч и, что немаловажно, — молод. Он отлично владел клинком и, прежде чем остался без хозяина, успел поучаствовать в нескольких карательных экспедициях. Ронин был трезв, что указывало на серьёзность отношения к предстоящему. О том же говорили тщательная сакаяки — особая причёска самураев и чистая одежда, требовавшая, правда, изрядного ремонта.

Посреди площадки перед Макиро его спутниками была установлена большая охапка бамбука, обёрнутого макиварой — плотно связанными вымоченными в воде соломенными циновками. Несколько мгновений ронин сосредоточенно смотрел перед собой, концентрируясь, затем стремительно выхватил меч и нанес молниеносный филигранный удар по этой огромной связке бамбука. Вся охапка, включая макивару, была рассечена, словно бритвой!

Послышались восторженные возгласы. Некоторые знатоки военного дела не удержались от аплодисментов.

— Мастерский тамэсигири<sup>13</sup>!.. — послышалось с разных сторон.

<sup>13</sup> Тамэсигири — испытание меча пробным ударом.

Некоторые самураи — друзья Арихито — побледнели и непроизвольно с тревогой покосились на мастера чайной церемонии.

По лицу Макиро проскользнула наглая, самодовольная усмешка. Он не без удовольствия заметил тревожные взгляды некоторых самураев, нечаянно выдавших своим выражением настоящее положение вещей. Однако реакцией Арихито ронин остался недоволен — мастер чая не проявил и малейшего смятения! Выражение и цвет лица его остались неизменны, а руки, увы, не дрожали.

— Великолепный тамэсигири, — ровно и с достоинством произнёс Арихито.

Присутствующие самураи изумлённо переглянулись. Ронин же, кажется, растерялся. Но растерялся лишь на миг — через секунду он вновь был собран.

Наконец оба противника, обнажив мечи, стояли друг против друга.

Куроки Макиро — подтянутый и крепкий, мускулистый и быстрый, самоуверенный и наглый, с едва заметной насмешливо-самодовольной улыбкой. В недобрых глазах его таилось нечто большее, чем просто злость и жестокость, необходимые, впрочем, для боя. Нечто, позволявшее заключить, что человек этот коварен и хитёр и для достижения цели не брезгует ничем — даже подлостью. О последнем красноречиво говорил текущий случай — вызов на поединок соперника, заведомо слабого в фехтовании и, следовательно, обречённого на гибель.

Такасуги Арихито — невысокий, худой, на полголовы ниже соперника и, увы, немолодой. Лицо его, сохранившее свой обычный цвет, не подёрнулось и малейшей толикой беспокойства, оставаясь безмятежным и даже отрешённым, словно... дым над Фудзиямой в ясную и безветренную погоду.

Наступила мертвейшая тишина. Самураи подняли мечи.

Арихито закрыл глаза. В памяти мастера проявилось то, что посчастливилось сделать хорошего и виртуозного, — его последняя чайная церемония. Все её детали, каждая чётровка. Ритуал чаепития, который он совершал столько раз, отображавший особое состояние и единение, отвечающее духу дзэн. И особенно той его части, которая связана с мистическим созерцательным содержанием. Содержанием, которое никак не опирается ни на слова, ни на знаки, ни на символы, ни на иные мысленные интерпретации. Содержанием, отображающим гармонию, выраженную минимализмом, простотой, аскетичностью и свободой от всех земных желаний и связанных с ними наслаждений. Состояние, когда остаётся лишь наслаждение, связанное с этой свободой. Свободой, дающей осознание того, что в сущности всё пустота, но пустота и есть самый главный смысл — безграничный по своей сути смысл некоего абсолюта, который не измерить, который не зависит ни от каких условий, который свободен от ограничений, который нематериален, который не может быть продуктом мысли, *который не обусловлен ничем* и который находится оттого вне пределов любого мышления! Такое просветление наконец привело к полному прекращению любого потока мыслей, когда удаётся постичь этот «непостижимый абсолют» и мысли только мешают как лишние посредники. Соответствуя истинному духу дзэн, личность его стала частью окружающего и бессмертного в своём круговороте бытия, где смерть человека лишь один из этапов великого пути. Постигнув это особое состояние, мастер перестал быть человеком. Словно вобрав в себя окружающий эфир, он сам стал эфиром. Великий Эмма — бог и судья мёртвых, страшный правитель подземного ада дзигоку, восхищённый таким восприятием жизни и смерти живым человеком, пришёл на помощь и приоткрыл тайны — особые тайны и наполнил Арихито этим особым тайным содержанием! И снова — никаких мыслей! *Никаких мыслей! НИКАКИХ МЫСЛЕЙ!*

Всё описанное пронеслось и случилось с Арихито меньше чем за секунду, после чего он открыл глаза и посмотрел на противника.

Неправильно сказать, что перед Макиро стоял бесстрашный воин. Неточно, что это был хладнокровный, готовый к любому человек. Отрешённый, ушедший в себя, как при медитации, — снова не так. Было другое. Перед ронином стоял мертвец! Но не в физическом смысле — все члены и органы мастера прекрасно жили, и в них текла живая человеческая кровь. Но сущностно — едва лишь Макиро взглянул Арихито в глаза — настоящий мертвец, успевший побывать в дзигоку

и успевший со стороны увидеть собственную смерть! Страшные и бездонные, как чертоги дзигоку, глаза эти неподвижно глядели на оледеневшего Макиро.

Обделённый хорошими манерами, но не умом Макиро совершенно отчётливо прочитал в глазах Арихито свою погибель! Едва не растворившись в безднах дзигоку, которые плескались в глазах мастера, Макиро пришёл в неистовый ужас, и сердце его дрогнуло. Побледневшие губы задрожали, лицо исказилось судорогой. Меч выскользнул из онемевшей руки, громко звякнув. Не владея собой, бывший самурай попятился. Оступившись, он упал. Поспешно вскочил, точно ужаленный, и... бросился прочь! Следом запоздало побежали растерянные спутники Макиро.

Арихито всё ещё держал свой меч, высоко поднятый и готовый нанести сокрушительный по силе и скорости своей удар. Удар, который многоопытный ронин, вовремя сбежавший, не смог бы отразить!

Длившийся менее пяти секунд поединок закончился! Закончился полной и безоговорочной победой мастера чайной церемонии Такасуги Арихито! Закончился без единого удара или выпада! Закончился без единой капли крови!

Наконец Арихито медленно опустил свой меч, выходя из состояния удивительного транса. Собравшиеся самураи, глубоко потрясённые увиденным, затаили дыхание, не веря собственным глазам. Мастер чая стоял с опущенным мечом, но гробовая тишина ещё продолжалась несколько мгновений — все были поражены. Было слышно, как летит муха. Было различимо биение сердец. Было страшно!

Оцепенение закончилось, и воздух разорвали радостные крики! Друзья сорвались с мест и кинулись к Арихито с поздравлениями. Они обнимали его, дружески хлопали по плечам, от эмоций не жалея сил, и на сей уже раз не сдерживали слёз!

Каваками Сигэмаса, всё ещё не веря в произошедшее, стоял и переводил взгляд то на мастера чая, то на Симадзу Нариакيرا. Даймё же, внешне по-прежнему невозмутимый, в душе ликовал. И это немое ликование Сигэмаса ясно прочитал в его глазах. «Теперь я совершенно спокоен и ни в чём не сомневаюсь», — наконец постиг Сигэмаса загадочные слова своего созеренца, исполнившись искренней благодарности и глубочайшего к нему уважения. Уже тогда Нариакира был абсолютно уверен в том, что поединок закончится победой Арихито! Подобная проницательность, продиктованная не только ярчайшим умом, но и глубиннейшей мудростью, потрясла Сигэмаса чрезвычайно!

— Я собираюсь провести большую чайную церемонию, — с улыбкой сказал Арихито, — господин Симадзу, — отдавая честь созерену, — и все присутствующие друзья! — мастер был глубоко растроган. — Будет чай Дахунпао и много сакэ!

При последнем слове некоторые самураи, честно говоря, обрадовались гораздо больше, восторженно возликовав, но Нариакира произнёс с величайшим изумлением:

— Прошу прощения, но откуда у вас такой бесподобный китайский чай, Арихито?! Несколько его порций стоят сотни коку риса!<sup>14</sup> Вы столько не зарабатываете, друг мой! Даже у меня нет такого чая! И я уж не говорю о таможенном запрете на импорт!

Мастер с улыбкой поклонился.

— Прошу меня извинить, но вы мне его подарили, господин Нариакира, сказав, что самый лучший чай должен принадлежать самому лучшему мастеру. Добавлю к тому, что к подобному чаю должен быть и лучший повод. Сегодня таковой настал.

— Изменница память! Бросила меня в столь ответственный момент! — хмурясь, произнёс Симадзу Нариакира. — Должно быть, увлечение сакэ в тот вечер так меня подвело — ничего не помню!

Грянул дружный хохот.

<sup>14</sup> Коку риса — основная мера благосостояния и денежный эквивалент в средневековой Японии. 1 коку равен примерно 150 кг риса. Считалось, что этого количества достаточно, чтобы прокормить одного самурая в год.

Величайший мастер чайной церемонии долго размышлял впоследствии о произошедшем. И не в том дело, что случай с поединком был нехарактерен для Арихито. Пищей для размышлений послужило значение, которое мастер чая произвольно придавал этому происшествию. В конце концов, Арихито окончательно удалился от светской жизни и стал дзэнским наставником известного уже читателю монастыря Энрякудзи. Он долго прожил и, по свидетельству очевидцев, достиг наивысших пределов просветления в дзэн.

Каваками Сигэмаса — один из лучших сихаку Симадзу Нариакира — закончил земной путь, как и положено настоящему воину, — в вооружённых столкновениях, предшествовавших Реставрации Мэйдзи. До самой гибели он тесно поддерживал связь с Арихито и осуществил с ним не одну чайную церемонию.

Симадзу Нариакира провёл жизнь в политической борьбе — даймё есть даймё. Но до конца своих дней поддерживал тёплую дружбу с Такасуги Арихито, подчас не брезгуя и советом тогда уже дзэнского наставника.

Опозоренный же Куроки Макиро даже не смог совершить сэппуку, что для истинного самурая является величайшим бесчестьем. Безнадёжно испорченная репутация бежала впереди него по стране, и умер ронин самым недостойным для воина образом — в нищете и пьянстве.

# ДЕТСКАЯ

Елена Нестерина

## Тяптик

Сказка

Если ребёнок не спит, если крутится, вертится, кричит и лезет из кровати, срочно нужен Тяптик. Ищите его, мамочки, бегите за ним, папы! Надевайте очки, дедушки и бабушки, высматривайте во все глаза! Только Тяптик поможет, только он успокоит вашего неслуха!

Тяптик — игрушка. Плюшевая, но живая.

Появится Тяптик, запрыгнет в кроватку. Долго будет выбирать место, нюхать, фыркать, топтаться, копошиться. А уляжется — удобный такой, милый, мягкий. Можно обнимать его сколько хочешь, Тяптику нравится. Полежит-полежит Тяптик и скажет: «Тяп». Дети, после этого надо сразу закрывать глаза и засыпать! Спится ребёнку рядом с Тяптиком сладко. И сны такие интересные, и так уютно возле Тяптика, что пищать хочется: ми-ми-ми, тяп-тяп-тяп!

Но если после «тяпа» ребёнок всё ещё балуется и крутится, Тяптик поднимает лапу и говорит: «Тяп-тяп». Тут уж всем нужно срочно дрыхнуть. Без задних ног. И мамам, и папам, и всем, кто есть в квартире. Потому что если и после этого кто-то не спит, Тяптик говорит: «Тяп-тяп-тяп» — и кусает ребёнка за попу. Не маму кусает, не дедушку, не кошку и не гостя старшей сестры. Только его — маленького неспящего ребёнка. Где бы ни была спрятана его попа, сколько бы пижам и одеял ни скрывали её, Тяптик всё равно достанет и вкусится. Зубы у него плюшевые, но от попы их не оторвать. И всё, ребёнок, ходить тебе теперь с хвостом. Ни сесть с хвостом, ни улечься как следует. Можно только стоять. И все хвост видят. Большой такой. Если ребёнок прячет хвост в штаны, его сразу спрашивают: а что это ты такое в штанишки положил? Что ребёнок будет отвечать, как объяснять? «Да вот, не спал я, понимаете ли...»

Помогает спрятать хвост только платье с кринолином. Как в старинные времена. Во-о-от такое широкое. Но если ты мальчик или сам чуть больше Тяптика, то платье не поможет.

Вот и ходит ребёнок с хвостом, мучается. Заберётся в ванну мыться — а вылезает оттуда, и за ним тащится мокрый тяптиковый хвост. Садится на горшок — а Тяптик вперёд него в горшок лезет. День ребёнок живёт хвостатым, второй... Отдельные упрямы до третьего дотягивают. Но чаще хватает двух дней — и перестают детишки вредничать, не хочется им больше на ночь гля-

---

Елена Нестерина — писатель и драматург, автор более двадцати книг для подростков, романов «Женщина-трансформер» и «Разноцветные педали», пьес «Шоколад Южного полюса», «Раненый герой», а также сказки «Нахлебничек». Лауреат конкурса «Евразия-2005» и премии «Долг. Честь. Достоинство» журнала «Современная драматургия» за 2007 г.

да сводить родителей с ума. Хотя и с хвостом, но спокойный, укладывается ребёночек в свою кроватку. И тут: «Тяп», — говорит Тяптик. Отпускает попу. Устраивается рядом с малышом. Сказку ему на ухо нащёптывает. А сказка такая интересная, что с этих пор каждый вечер станет ребёнок быстро-быстро укладываться в кровать, закрывать глаза и засыпать. Чтобы скорее ему продолжение этой сказки приснилось.

И будет сниться каждую ночь Тяпτικού сказка. Всё детство сниться. А вырастет этот ребёнок — и станет своим детям её рассказывать.

Но наутро не оказывается в кроватке никакого Тяптика. Все видели, что был, многие даже его фотографировали. И дверь в доме была заперта, и окна закрыты. Непонятным образом исчезает Тяптик.

Потому что ждут его другие дети.

Только у тех он задерживается, кто сильно болеет. Старается Тяптик, Тяп-тик как подушечка, Тяптик рядом — старается болезнь себе забрать. А как начинает малыш выздоравливать, Тяптик уходит. Тихонечко, незаметненько. Мягкий, слюнявый, облитый слезами, лекарствами и супом. Где-то он намывается, где-то лечится — и скоро опять его можно увидеть!

А заметить Тяптика могут только родители, чей ребёнок не спит, не ест или не слушается. А вы думаете, почему некоторые мамы то и дело в окно выглядывают? Потому что выброситься туда хотят или ребёнка непослушного выкинуть? Нет, они Тяптика высматривают!

Сидит Тяптинька где-нибудь во дворе — может, под лавкой, может, в песочнице, может, к дереву прижался, чтобы его машины не сбили и прохожие не затоптали. Сидит, дрожит, но не уходит. Знает, что кому-то из детей он очень нужен.

Как увидит мама Тяптика — бежать ей надо со всех ног, хватать его и нести к своему капризке. А потом сажать Тяптика, например, за стол. А там уже ребёночек сидит. Моет руки в супе, мажет кашей голову, а в ушах у него бананы или творог со сметаной. «Тяп!» — приветливо говорит ему Тяптик. Каждый нормальный ребёнок сразу радуется, вытаскивает бананы из ушей, руки из тарелки, вытряхивает хлебные крошки из-за пазухи, хватается ложку и давай еду наворачивать! Тяптик тоже радуется, подпрыгивает, лапками по столу стучит: «Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп!»

Но если снова пюре мажется по стенам, опять макароны по столу скачут и идёт стрельба фрикадельками, приходится Тяптику поднимать лапу и говорить: «Тяп-тяп». Дети, тут надо запомнить: как только услышали это «тяп-тяп», скорее подбирайте всё, что вылетело из тарелки, жуйте во все зубы, глотайте во всё горло, снимайте лапшу с бровей. Вытерлись блином — и в рот его. Молча, быстро и с удовольствием.

Потому что если и сейчас вы этого не сделаете, нахмурится Тяптик, скажет: «Тяп-тяп-тяп» — и без предупреждения как вцепится в нос! Даже если на нос вы наденете кружку. Или вообще кастрюлю на голову. Ничего не поможет. Схватит вас Тяптик за нос своими плюшевыми зубами — а от них, как вы помните, никакого спасения. Будет жить ребёнок с большим плюшевым носом. Плохо видно из-за этого носа, ни умыться, ни поноухать. И есть нельзя, вот что обидно! Только захочет бедный ребёнок в рот себе что-нибудь засунуть, начинает Тяптик мотаться туда-сюда. Еду из рук выбивает, до рта донести не даёт. Если родители пытаются кормить ребёнка из ложки — Тяптик по этой ложке лапкой хлоп! И всё из неё мимо летит. Только и остаётся, что поить бедняжку водой через трубочку. День бегает голодный ребёнок, трясёт, как индюшонок, своим носом, разве что не курлыкает. Гнуса-а-а-вый такой, нос-то зубами зажат! На второй день даже бегать перестаёт — сил-то нет у голодного. И чем скорее он сообразит, сядет за стол и крикнет: «Есть хочу! Всё съем, что дадут!», тем быстрее Тяптик его нос отпустит.



Разожмёт Тяптик зубы, сядет рядом с ребёнком. И есть помогает: то тарелку подержит, то салфеточкой мордашку вытрет. Всё до ложки, всё до крошки съедает ребёнок. Родители довольны, ребёнок сытый, спокойный и весёлый. Играть хочется, гулять хочется, жизнь счастливой становится.

Но только зазевается счастливая семья — а Тяптика уже и след простыл. Сделал он своё дело — и до свидания!

Хорошие люди вырастают из детишек, к которым Тяптик приходил. Жалостливые, добрые. Которые очень хорошо понимают других и всем помогают. Спасибо Тяптику.

А уж какое спасибо Тяптику от родителей! Ведь если он появляется вовремя, то не успевают поссориться мама с папой, замученная бабушка не попадает в больницу, дедушки не сбегают на дачу или в винный магазин. Настаёт в семействе мир, поселяется в доме счастье.

Но однажды с Тяптиком случилось вот что.

Приехал как-то в гости к Маше и Серёже маленький мальчик Жора. Привезла его мама, родственница Машиной и Серёжиной мамы, из далёкого города — Москву посмотреть. Показала ему разок Красную площадь, а потом стала одна Москву смотреть. Как уйдёт утром, так и смотрит по магазинам и кафе до самого вечера.

А Жора оставался дома, за ним смотрели Маша, Серёжа и их родители.

Маленький-то он маленький, а крика от него, визга, хлопот! Усаживают Жору есть — не ест. Кефиром плюётся, котлетами кидается. С ним играть начинают — Жорик игрушки разбрасывает и ломает, правил не соблюдает, дерётся и орёт.

В первый вечер попытались его помыть — Жора вырвался и убежал. Стали класть спать — а он ни в какую. Скачет по кровати, вылезает, заваливается на пол, вопит и дрыгает ногами. Так и не слушался Жора до глубокой ночи, пока не устал. Заполз под кресло, да там и уснул. Вытащили его за ноги, уложили в кровать. Подумали: бедный малыш, без мамы не засыпает...

Мама его вернулась — спит Жора, как ангелок. Ну и порядок!

Наутро мама ушла, а история с Жориком повторилась. Одеваться — «Не хочу!», за столом — «Не буду!», среди игрушек — «Отдай! Моё!», на улице убегает, в кроватке не засыпает. Всё назло делает. Маленький, а вредный.

Вечером снова всей семьёй укладывали Жору спать. Еле-еле уложили. Устали, как бобики...

И на следующий день всё то же самое. Четверо человек занимаются только одним делом — Жору упрасывают, уговаривают, из ложечки кормят, одевают и нос ему вытирают.

Некогда стало делать с Машей уроки, Серёжу умыть времени не хватает — только один Жора, Жора, Жора. Носятся с ним как с писаной торбой, а Жора ещё сильнее капризничает. На третий день, когда от его криков у папы свернулись в трубочку уши, у мамы задёргался глаз и затряслись руки, а Маша и Серёжа закрылись в кладовке, чтобы спрятаться от Жоры, раздался звонок в дверь.

Открыли — а там соседка. С тарелкой пирогов. И предложением: ищите Тяптика. Ищите, зовите. Срочно. А то пропадёте.

Что за Тяптик? Кто таков?

«Ах, — всплеснула руками соседка, — вы не знаете о Тяптике?! Ну, я вам сейчас расскажу...»

И рассказала, что знала. Послушали про Тяптика все, и Жора в том числе. Кто удивился, кто обрадовался, Жорик крикнул: «Не верю!»

Соседка ушла, а мама скорее к окну, Тяптика на улице высматривать.

Папа пошёл по дворам.

А дети в кладовке закрылись на засов. Со старинных времён остался этот засов. И вот наконец пригодился!

Жора обиделся, что никто на него не обращает внимания, и заорал ещё громче. Сел в тарелку с пирогами. Посидел-посидел, а потом стал пироги из-под себя вытаскивать и кидаться ими в разные стороны. Кидался, кидался, по полу катался, игрушки ломал, стулья швырял. Ой, что творил... А как устал безобразничать, так уснул — прямо на ковре посреди комнаты. Выглянули Маша и Серёжа из кладовки: да, спит Жорик... Мама предложила не перекладывать его в кровать — спит, и хорошо! Накрыли Жорика пледом и стали по квартире ходить на цыпочках, чтобы его не разбудить.

К обеду вернулась из путешествия по Москве Жорина мама. Услышала, как в доме тихо, обратила внимание, что родственница ничем не занимается — только и делает, что в окно таращится, подумала: странные всё-таки люди в этом городе... А потом увидела, как её бедный Жорик на полу спит.

— Как же так, для маленького гостя у вас кровати не нашлось... — сказала она и заплакала.

И Маше, Серёже и их маме стало очень стыдно, схватили они своего маленького гостя, понесли в кровать. И, конечно, разбудили.

Жора не выспался. Недовольный, нахмуренный, выглянул он из Серёжиной кровати. Увидел свою маму. А мама плачет. Кто маму обидел?

И давай Жорик маму защищать. Защитил подушками — выкинул их из кровати. Одеялом защитил, простынкой и матрасом. Всё полетело в злодеев.

А тут и сам Жора из кровати вылез. Хотел кроватку бросить — сил не хватило. Но в комнате других предметов много — всё пригодится! Полетели игрушки, книжки и одежки. А Жора их кидает и кидает — и так ему это дело нравится! Хотя он уже и не помнит, почему это делает.

Вот и кидается Жора, кричит да ещё и плюётся — на войне любые средства хороши. Все, и мама в том числе, бегает вокруг Жоры, просят перестать. У мамы в кармане телефон звонит, а ей и ответить некогда.

Бушует Жорик.

...Хлопнула дверь — в квартиру вошёл папа. Мокрый, грязный по самые уши, которые на улице успели из трубочек развернуться и превратиться в лопухи.

А в руках у него... Плюшевая, но живая. Игрушка.

Папа Тяптика нашёл!

Вот он какой, Тяптик! Маленький, хорошенький.

Сразу «Тяп» сказал, как и обещала соседка.

Маша и Серёжа смотрят на Тяптика во все глаза: «Ой, Тяптик!»

Стукнуло Серёжу по голове тапком — но он даже не заметил. Машу обстреляло кубиками, а она и не почувствовала.

Тяптик потому что!

Тяптик здесь!

Получил папа по лбу пупсиком, но не испугался, вытянул руки с Тяптиком вперёд, шагнул к Жоре, который уже схватился за штору, чтобы поскорее её оторвать и бросить. «Тяп-тяп!» — сказал Тяптик Жоре, поднял лапку и погрозил — вроде как «Успокаивайся, мальчик, слушай моё предупреждение».

Но что Жорику всякие там тяпки и лапки? Подумаешь, какие-то игрушки тут тяпают!

А время-то уже вечернее. Это Жора только проснулся, потому что режим не соблюдает. Но остальным людям пора умыться и спать укладываться. А Жорик буйствует. Мама Маши и Серёжи вытаскила успокоительное лекарство, ложку — потому что всё, пора срочно спасать Жору от буйства.

Но не успела. Жорик дернул штору так, что она упала на него вместе с карнизом, на котором висела.

— А-а! — закричала Жорина мама. — Убивают! Спасите-помогите!

Все бросились помогать ей — вытаскивать бедного мальчика из-под шторы.

И никто из-за криков и шума не слышал, как раздалось тихонечко «Тяп-тяп-тяп!», и плюшевый Тяптик выпрыгнул из папиных рук. Прыг! — бросил-

ся на Жору, толкнул его и куснул. Жора упал, поэтому карниз не ударил его по голове, пролетел мимо. Закопошился Жорик под шторой, а Тяптик знай его покусывает: тяп — кусь, тяп — кусь! Вылез Жора из-под шторы жив-здоров. А то, что вокруг него Тяптик прыгает и кусает, в суматохе никто и не заметил.

— Жоринька! — закричала перепуганная мама, схватила сына в охапку и бросилась за дверь. — Срочно уезжаем от этих людей. На вокзал! На поезд! Домой!

И, не попрощавшись, убежала в ночь.

Что там дальше произошло в квартире, которую разгромил маленький Жорик, неизвестно. Убираться, наверное, начали. Тяптика вспоминать.

А с Жориком и его мамой случилось вот что.

Мама и Жора ехали в такси. Тяптик прыгал по сиденью и кусал Жору. Не больно, но непрерывно. Жора то кричал, то молчал, то плакал, то просил: «Не кусай!» Но Тяптик всё равно кусал — то за ушко, то за брюшко, то за ногу, то за руку. Мама хотела выбросить Тяптика в окно, но поймать его не могла. Жора тоже не мог. Водителю было некогда — пробки на дорогах, радионовости, музыка!

Так и приехали на вокзал. Мама купила самый последний билет на самый последний поезд, в последнюю минуту влетела в последний вагон. И отправились они с Жоринькой домой.

А в вагоне пассажиры. Много.

Соседи по купе сразу услышали голос Тяптика. Тяп да кусь, тяп да кусь — ну как не услышать. Стучат железные колёса по железным рельсам, а Тяптика всё равно этот стук не заглушает.

Соседи подумали, что Жора нажимает кнопку на игрушке. И та пищит: «Тяп! Тяп!» Тяпалка такая.

— Мальчик, выключи игрушку, — сказали Жоре. — Уже ночь, пора спать. Нужна тишина.

Ну что тут скажет Жора? «Это не я?» Конечно, не он, а Тяптик.

Мама ловила Тяптика сумкой, ловила кофтой, пыталась накрыть подушкой. Но он был такой маленький и прыгучий, что маме не давался. А остальные его не видели — Тяптик умный, прыгает, кусает, но не показывается. А кто поверит, что плюшевая игрушка — живая и кусается?

Жору снова попросили выключить игрушку. Он опять не выключил, потому что не мог. Понятно, почему не мог? Конечно, понятно.

Попросили ещё раз. Жора заплакал.

— Ну что ты плачешь? — говорили Жорочке. — Просто выключи игрушку — и всё.

— Не могу-у-у! — рыдал Жорочка.

Мама рыдала рядом. Она не понимала, за что везла из Москвы такое наказание.

— Потерпи, Жорик, — просила она, — приедем домой, там няня. Всё будет хорошо.

Соседям очень было жалко Жору, но спать его тяпканье не давало. Они вызвали проводника вагона. Он послушал и сказал, что придётся высаживать пассажиров, которые тяпкают, на первой остановке. Пусть выходят в чистое поле и тяпкают на приволье.

Мама и Жора зарыдали ещё громче. Проснулся весь вагон.

— Да поймите же его, поймите! — закричала мама. — Выбросим его из поезда — и станет тихо!

Она показывала на Тяптика, который прыгал вокруг Жоры.

Но пассажиры видели только Жору — и не понимали, зачем мама хочет выбросить из поезда родного сынишку. Решили, что заболела...

Мама снова принялась ловить Тяптика. Но каждый раз хватала руками воздух. А иногда и самого Жору.

Жора заорал ещё громче — и все решили, что мама просто сошла с ума: с таким мальчиком это нетрудно.

И тогда проводник решил вызвать на первую же остановку «скорую помощь», чтобы она забрала маму Жорика лечиться.

— Прекрати орать, — когда поезд замедлил скорость перед остановкой, сказал Жоре на ухо пассажир-сосед. — И не капризничай. Ты не один на свете. Уважай других людей. Тогда тебе станет легко и весело жить.

Жора так удивился, когда это услышал, что даже замолчал. Открыл рот и посмотрел на пассажира. Тяптик его за ухо цапнул, а он даже не заметил. Ещё немножечко подумал, закрыл рот и посмотрел на маму.

Мама посмотрела на Жорика — таким серьёзным она своего ребёнка никогда не видела. К капризам Жорика она привыкла — потому что была уверена, что все дети капризные. Вынь да положь им немедленно. Она и сама такая была — все вокруг должны исполнять её желания. А вот Жорик без капризов её удивил. И даже понравился...

Мама решила уволить няню и воспитывать Жориньку самостоятельно. Но сначала нужно доехать до дома.

А поезд уже остановился...

В вагон вошли доктор и санитары с носилками.

— Кого лечить? Кого в больницу увозить? — спросил доктор.

Пассажиры показали на Жорину маму.

Притихший Жора, который перестал обращать внимание на Тяптиковы укусы, крепко обнял маму. Он не хотел, чтобы её увозили в больницу.

— Мама, не уходи, я больше не буду! — на весь вагон закричал Жора.

Он и сам не заметил, что никто не стал его ругать за громкий крик среди ночи. Но почувствовал, что кусание прекратилось.

Доктор посветил фонариком маме в глаз, померил давление, накапал успокоительных капель в стаканчик. Пожелал отличного здоровья и приятной дороги всем пассажирам. Подмигнул Жорику. И вместе с санитарями вышел из вагона.

— Какая у тебя игрушка хорошая, — когда поезд поехал, сказал Жоре проводник.

И все в купе увидели, что Жора держит игрушечку — совсем небольшую, плюшевую.

— Вы бы сразу сказали, что из игрушки просто надо батарейку вытащить, — покачал головой один пассажир.

— А то такой шурум-бурум затеяли... — вздохнул другой. — Весь вагон переполошили.

Уложили маму и Жорика на нижнюю спальную полку, накрыли одеялом, выключили свет.

Едет поезд, едет. А Тяптик тихонечко на ухо Жоре сказку нашёптывает. Больше никто, кроме Жоры, её не слышит, а сны всем в вагоне снятся сладкие-пресладкие.

Даже ответственному проводнику.

Только машинисту не снятся. Только машинист бессонными глазами смотрит вперёд, на приборы и на своего помощника.

Так до самого утра ехали.

И приехали.

А как вошли мама с Жорой домой, как бросился Жора за стол, как начал ждать, когда придёт няня и каши сварит! Ка-а-ак набросился на кашу, когда няня появилась и эту кашу Жоре сварила! Ка-а-ак облизал тарелку, ка-а-ак выпил весь компот! Всё до ложки, всё до крошки съел — как Тяптик всем детям советует.

«Тяп-тяп-тяп-тяп-тяп-тяп!» — обрадовался Тяптик, застучал по столу лапками.

Как увидела это мама, как начала няню увольнять: «Спасибо — до свидания — мы теперь сами!»

Как начал Жора плакать, увидев, что няня уходит, а мама ей на прощанье рукой машет. Он же ещё не знал, что маме тоже нужно учиться себя правильно вести.

Мама увидела, что её сын плачет, испугалась, что сейчас опять в него Тяптик вкусится, как начала няню обратно возвращать: «Ах, простите, нет, не уходите!»

Няня решила, что в дороге мама и Жорик очень устали и много нервничали. Отыскала успокоительное лекарство — только не могла понять, кого первого лечить, Жору или его маму?

А они как увидели, что им опять успокоительное предлагают, что хотят их, таких деловых фруктов, превратить в овощи, — как побежали в самый дальний угол квартиры, как уехали там. Сидят, дрожат, испуганные...

А Тяптик им на руки прыг! То к маме под ладошку подлезет: «Погладьте меня!», то к Жоре прижмётся — милый, мягкий, хорошенький.

Так и успокоились бедолажки. Выбрались потихоньку из угла, нашли записку от няни — она сообщала, что придёт завтра, проверит, как тут они.

Устроились мама и Жора за столом. И стали обсуждать, как им жить дальше. Когда они предлагали что-то дельное, Тяптик кивал им и говорил: «Тяп!», когда несли какую-то дичь, Тяптик мотал головкой и предупреждал: «Тяп-тяп». Мама и Жора сразу понимали — не то. И придумывали что-то другое.

Жизнь этой маленькой семье предстояла прекрасная!

Так и вечер наступил. Наварила мама еды, какой сумела. Съели они с Жорой всё до ложки, всё до крошки, да ещё и Тяптика угостили.

И мылся в ванночке Жора без капризов, даже потёр себя Тяптиком, как мочалкой, Тяптик дался.

Улёгся Жора в кровать — Тяптикову сказку ждать. Долго ждал, пока мама мокрого Тяптика сушила феном.

А как прыгнул Тяптик к Жоре на подушечку, мама спряталась и стала караулить — чтобы, когда её сын уснёт, схватить Тяптика, пока он не убежал из квартиры. Ну как Жорик без Тяптика? Снова станет мальчик кричалкой-мочалкой, капризкой-сосиской. Все планы насмарку.

Но убавляла сказочка Жору, убавляла и маму...

А как проснулись они утром — нет Тяптика. Ни под столом, ни под кроватью, ни в кухне, ни в прихожей.

Что делать? Можно ныть, выть, орать, кататься по полу и ногами стучать. Можно перестать есть и пить, а сидеть и канючить: «Тя-я-птика хочу! Позовите Тя-я-птика, без него ничего не бу-у-ду!»

Но Жора только вздохнул. Всплакнул, конечно, тихонечко. Потому что вспомнил Тяптика — хорошенького такого, маленького.

Снова вздохнул, взял ложку — и начал есть кашу, которую сварила мама. Пока ещё не очень съедобную. Но Жора старается, старается и мама. Поэтому всё у них получится.

А будут совсем уж пропадать — придётся искать Тяптика.

Если найдут, скажет им Тяптик: «Тяп!» — и снова в их жизни всё пойдёт замечательно.

## Артур Гиваргизов

### Интервью

#### Пьесы для чтения

#### Правое (левое) плечо

Действующие лица:

Сержант

Рядовой

Плац. Сержант, командир отделения, рассказывает новобранцам, как выполнять команды «Правое плечо вперёд» и «Левое плечо вперёд».

Сержант. Когда я буду командовать «Левое плечо вперёд», поворачивайте направо, когда правое, налево. Всё понятно? Шаго-о-о-о-о...

Голос из строя. Не всё.

Сержант (*с раздражением*). Что не всё? Левое — стоим справа, правое — слева. То есть правое стоит, а левое идёт по дуге.

Голос из строя. А у меня плечо выворачивается.

Сержант. У меня тоже сначала не получалось. Главное — выровнять корпус. И если требуется повернуться вправо от левой руки партнёра, то следите, чтобы не уходил назад локоть, и скручивайтесь от лопаток. А правая рука (*слева*) при этом расслабляется и никак не влияет даже на сложные фигуры. Ладно, надо пробовать. Начнём с La Cumparsita.

По громкой связи включается танго La Cumparsita. Новобранцы, разобравшись парами, неловко танцуют.

#### Последние силы

Действующие лица:

Дедушка

Бабушка

Внук Коля

Утро. Коля идёт умыться, шаркает ногами.

Дедушка (*весело*). Коля, ты как на лыжах. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-хо! (*Вытирает рукавом слёзы*.) Обессилел?

Коля (*слабым голосом*). Да, мало спал, не восстановил силы после вчерашних занятий на скрипке.

---

Артур Гиваргизов — детский писатель и поэт. Родился в 1965 году в Киеве. В 1989 году окончил музыкальное училище при Московской консерватории по классу гитары. Автор около 20 книг прозы, поэзии и пьес. Лауреат премий им. К. Чуковского, им. С. Маршак, конкурсов «Заветная мечта», «Алые паруса» и многих других. С 1968 года живет в Москве.

Дедушка (*бодро*). Да нет, ты десять часов спал. Просто зарядку не сделал. До умывания надо делать зарядку. Я же тебе говорил. Давай.

Коля (*с испугом*). Нет.

Дедушка (*бодро*). О-бя-за-тель-но. Ты же спортсмен! Лыжник! Ха-ха-ха-ха-ха-ха. (*Вытирает рукавом слёзы.*)

Коля делает десять наклонов, пять приседаний и пять отжиманий. Потом умывает-ся, садится завтракать, роняет бутерброд с маслом (маслом на скатерть).

Бабушка (*дедушке, возмущённо*). Это зарядка его совсем обессилила! Теперь бутерброд не может удержать.

Дедушка. А ты не намазывай столько масла. Сама виновата.

Бабушка. Сколько надо, столько и намазываю. (*Коле.*) Иди полежи на диване.

Коля (*бодро*). А школа!

Бабушка. Какая теперь школа после зарядки.

### Матч-реванш

Действующие лица:

1-й комментатор

2-й комментатор

1-й комментатор. Сегодняшняя игра решает всё. Если нашим не удастся отыграться, они не выйдут во второй круг.

2-й комментатор. Да какой там отыграться, не продули бы 12:0, как в прошлый раз.

1-й комментатор. Между прочим, микрофон уже включён.

2-й комментатор. Да? Ой! Это... Да, обыграть сборную Науру будет нелегко. Тем более что у наурийцев играет суперизвестный нападающий Мачете, показывающий последнее время только суперигру.

1-й комментатор. Тем более что межигровой промежуток был всего три месяца, ребята не успели восстановиться.

2-й комментатор. Тем более что сын нашего небезызвестного нападающего Скворцова получил вчера кол по математике, и у папы сегодня плохое настроение.

1-й комментатор. Итак, матч начинается, болеем за наших.

2-й комментатор. Уважаемые телезрители, нам только что передали, что сын Скворцова единицу уже исправил.

1-й комментатор. Что ж, это вселяет надежду.

### Спокойного дня

Действующие лица:

Первый профессор (96 лет)

Второй профессор (95 лет)

Остановка маршрутного такси.

Первый профессор. Здравствуйте, коллега.

Второй профессор. О, приветствую.

Первый. В институт?

Второй кивает, зевает.

Первый. На маршрутке поедem?

Второй кивает, зевает.

В маршрутке.

Второй. Как ваши ландскнехты?

Первый. Вышла. Восемь опечаток, ужас. В двух местах «ландскнехты» без «к», вместо «аркебузы» — «арбузы»... Грустно.

Второй. А я вот вчера отнёс в издательство «Самоучитель баскского». Но чувствую, им название не понравится. Скажут, надо позавлекательнее.

Первый. Ну да, они любят завлекать. Я однажды купил с названием «Агентство монстров», а оказалось, что это обычный учебник географии. Обидно.

Второй. Вы любите про монстров? У меня есть новый английский роман «Монстры возвращаются». Отличная вещь. Такая, знаете, встряска. Вау.

Первый. Спасибо, принесите. А я вам «Город-монстр». Будете вздрагивать на каждой странице.

Второй. Круто. (*Смотрит в окно.*) Вот и институт, приехали. Хотел спросить, вам хоть удаётся вздремнуть на лекциях?

Первый. Да, конечно. Я даже научился читать лекции и спать одновременно.

Второй. Полезно. В нашем возрасте надо спать по пятнадцать часов. Спокойного дня.

Первый. Спокойного дня.

### Про Емелю-дурака (*Двадцать лет спустя*)

Действующие лица:

Турист

Рыбак

Щука

Берег реки. Рыбак удит рыбу. Недалеко от рыбака раздевается турист — собирается искупаться.

Турист (*рыбаку*). Здравствуйте! Скажите, речка неглубокая?

Рыбак. Не бойся, не глубокая — мелкая.

Турист. А большая. Кажется, что ух! Не каждая птица долетит до середины.

Рыбак. Не глубокая, но широкая, да. (*Поплавок резко уходит под воду, рыбак вытягивает двухметровую щуку.*) Не бойся, нисколько не глубокая. В любом месте можно вброд перейти.

Турист. Вообще-то всё относительно. Может, для вас два метра — это неглубокая. А во мне метр семьдесят шесть. И я плавать не умею.

Рыбак. По щиколотку тебе будет. Во мне тоже метр семьдесят шесть.

Турист входит в речку и сразу проваливается с головой.

Турист (*барахтается в воде*). Помогите! Помогите!

Рыбак подбегает и за волосы вытаскивает туриста на берег.

Турист (*возмущённо*). Вы же говорили, что совсем неглубокая?!

Рыбак (*неуверенно улыбается*). Пошутил.

Турист (*строго*). Не смешно.

Рыбак (*огорчённо*). Совсем?

Турист (*неумолимо*). Ни капельки.

Рыбак очень расстраивается, грустно вздыхает.



Щука (*рыбаку*). Емельян Карпович, смешно. Правда. Просто городские дурацких шуток не понимают. Емельян Карпович, пните меня в воду, а то уже дышать трудно. Пригожусь, как всегда.

Рыбак «не слышит», уходит.

Щука (*туристу*). Мне тоже кажется, что ни капельки не смешно. Это я так сказала. У Емельяна Карповича никогда не было чувства юмора. Толкните меня в воду, пожалуйста. Я вам пригожусь.

Туристу неловко, он жалеет, что так строго разговаривал с Емельяном Карповичем. Со словами: «Емельян Карпович, подождите минуточку» — турист, перепрыгнув щуку, бросается догонять рыбака.

Щука (*ворчливо*). Люди только о себе думают. Придётся самой добираться.

Щука, изгибаясь по-змеиному, доползает до воды.

### Эпистолярный роман

Действующие лица:

Серёжа — писатель

Лена — его жена

Лена. Серёжа, у тебя на столе какое-то неотправленное письмо. Бумажное. Сто лет таких не видела.

Серёжа. Может, полученное.

Лена. Не поняла.

Серёжа. Не неотправленное, а полученное... нет, не полученное, а отправленное... нет, не неполученное, а...

Лена. Но на конверте нет никакого адреса, просто пухлый запечатанный конверт.

Серёжа. В общем, я пишу эпистолярный роман. Я его разыгрываю — представляю себя то одним героем, то другим. Всё происходит двести лет назад. Мы переписываемся.

Лена. С кем?

Серёжа. С Дедом Морозом. Ты же хотела самокат? Но ничего не получится. Из-за почты. Лошадей на станции не дают. В предпраздничные дни всегда так. Я не учёл. Надо было за месяц письмо отправлять. В общем, роман будет называться «Не отправленное вовремя письмо» или «Не доставленное, а застрявшее на станции письмо». Нет, длинно... А может...

Лена. А может, на Старый Новый год успеет? Я о Деде Морозе и самокате.

Серёжа (*задумывается*). Неожиданно. Я подумаю.

### Интервью

Действующие лица:

Репортёр

Николай Семёнов — футболист

Бабушка Николая Семёнова (она же — пресс-секретарь Николая Семёнова)

Раздевалка. Репортёр, футболист, бабушка. Послематчевое интервью.

Репортёр (*в камеру*). Дорогие болельщики, нам удалось встретиться с героем сегодняшнего матча, автором гола. (*Семёнову*.) Николай, как вам удалось забить гол?

Семёнов смотрит на бабушку.

Бабушка. Николай Семёнов родился в 1993 году в Семёновке. Прямо за домом у нас было поле, очень похожее на футбольное, за полем — речка, сосенки... До трёх лет у Коленки мячика не было. А в 1996 году мы с дедушкой купили красненький резиновый мячик на день рождения. И надписали: «Заиньке от бабушки и дедушки».

Семёнов (*стесняясь*). Ну, ба.

Бабушка (*недовольно*). Я ничего стыдного не рассказываю.

Репортёр. А как получилось гол забить?

Бабушка. А потом Николая Семёнова заметил Фёдор Сергеевич Кустонаев. И пригласил в Москву, в детскую сборную. Собрала я Коленку в путь-дороженьку, но чувствую, пропадёт он без меня в городе. Вот тогда я и решила...

Семёнов. Ну, ба.

Бабушка. Шли годы. Всякое было. Мне и за тренера приходилось... Хвостинкой иногда на утреннюю тренировку гнала. И слёзоньки были. (*Семёнову, строго.*) Помнишь?!

Семёнов. Ну, ба.

Бабушка. И вот гол. Это уже второй в нашей биографии. Молодец внучек! Так держать!

Репортёр. Спасибо, э-э-э...

Бабушка (*подсказывает*). Надежда Тимофеевна.

Репортёр. ...Надежда Тимофеевна, за интересный рассказ. Уверен, что в этом году Николай забьёт ещё.

Бабушка. Ну, обещать не будем, но сделаем всё возможное.

## В Марсе

Действующие лица:

Марсианин

Официант

Москва. Площадь Гагарина. Кафе «Марс». В кафе заходит маленький красненький человечек — марсианин. Марсианин садится за столик, к столику подходит официант.

Марсианин. Мне, пожалуйста, «Pi-16». Только без «Utg».

Официант. Первый раз слышу.

Марсианин. Хорошо, а что у вас есть?

Официант кладёт на стол открытое меню.

Марсианин (*смотрит в меню; с беспокойством*). Здесь нет ничего марсианского.

Официант. Вы мне будете рассказывать?

Марсианин. Я только что с Марса!

Официант. А я работаю в «Марсе» двадцать лет.

Марсианин. Ну и что, по-вашему, марсианское?

Официант. Маринованные помидоры. Сейчас принесу, сами скажете.

Официант приносит помидор. Марсианин пробует.

Марсианин. Вкусно.

Официант (*ворчливо*). Конечно, вкусно.

Марсианин. А ещё что?

Официант (*с воодушевлением*). Суп из плавленого сыра с овощами! Печенье с плавленным сыром! Треска, запечённая с красным перцем! Свекольник с зеленью! Грибы по-тольстовски!

Марсианин (*с аппетитом*). Несите, всё несите! Только свекольник без зелени. И хлеба не надо.

# БЕЗ ВЫМЫСЛА

## Екатерина Мурзина

### Письма к брату

Письма эти написаны тридцать лет назад моей мамой Екатериной Павловной Мурзиной своему младшему брату Саше. По сути, это воспоминания в основном о 1929-1931 годах, когда их выслали из Неплюевки на север Свердловской области, в г. Покровск-Уральский (на Покровку). Неплюевка (иначе — посёлок Неплюевский, названный в честь адмирала И.И. Неплюева (1693-1773), первого губернатора Оренбургского края) до революции была казачьим поселением на юге нынешней Челябинской области, основанным для защиты уральских рубежей от набегов кочевников из казахских степей.

Брат Саша был самым младшим в семье из 6 детей, когда их выслали, ему был всего 1 год. Сестра же его Катя на 14 лет старше, и она помнила, естественно, больше.

В «Деле Мурзиных» нет никаких документов, оснований для раскулачивания, для изгнания семьи из собственного дома, для изъятия сельхозинвентаря, домашней утвари и скота, чем кормилась семья из 11 «ртов» (шестеро детей, отец с матерью, родители отца и его родственница — девушка-инвалид Ориша). Сохранился один «документ» на листке, написанный карандашом, — решение о высылке, принятый «камбедам», т.е. комитетом бедноты из 3-х полуграмотных человек без подписей и соответствующего оформления. Тогда обычно было так: «сверху» спускался план — выселить столько-то человек. А кого? Тот — сват, тот — брат, а план выполнять надо. Да и дом, наверно, приглянулся с крепким хозяйством. Как правило, именно таких работящих, с мозолистыми руками и высеяли, а сами въезжали в их добротные крестьянские дома.

Мама прожила свой век после раскулачивания сначала на Покровке (г. Покровск-Уральский), затем в Североуральске. Её родной отец, то есть мой дед, умер от голода (дистрофии) на Колыме в 1940 г.

Всех шестерых детей (Катю, Ваню, Николая, Марусю, Женю и Сашу) вырастила мать семейства Анна Николаевна. Они пережили страшный голод, холод, нищету, полное бесправие и другие невзгоды.

Адресат публикуемых писем — брат Саша, Александр Павлович Мурзин (1929–2006) смог закончить в 1953-м году Уральский госуниверситет, факультет журналистики, работал в «Комсомольской правде», затем долгое время был спецкором газеты «Правда», известным очеркистом и публицистом и — автором «Целины», якобы написанной Л.И. Брежневым.

До конца жизни мама так и не могла понять, за что же выслали всю их семью, отобрав все, обрекая на голод, бесправие, многие лишения в жизни. Богачами они не были (нитку сохраняли, отпарывая заплату!), работали в поте лица и стар и млад (у отца рубаха была как береста от пота), налоги все платили (хоть на «Красную доску» вешай).

На мой взгляд, ответ в следующем. На стройках пятилеток нужны были рабы, бесплатные и бесправные. В эпоху рабовладельческого строя рабов захватывали в войнах, завозили из «черной» Африки. Проще было часть населения в СССР объявить «врагами народа», на этом основании раскулачить, отобрать имущество и сослать в Божом забытые места, где 12 месяцев зима — остальное лето. Так строились Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Магадан и другие города в районах вечной мерзлоты. Тем, кто помогал проводить эту линию, давали при-

велегии в виде части экспроприированного имущества, то есть дьявольски провозировали на грехопадение.

Так великая страна Россия оказалась расколота на якобы передовой класс, потому что у него ничего нет (так ведь записано в учебниках марксизма-ленинизма?!), и на их «врагов», работавших в поте лица — и только потому имевших свой дом, скотину, другое крестьянское имущество.

**Доктор технических наук, проф. О.Ю. Лушникова**

### **Письмо первое**

Саша, здравствуй! Ты хотел, чтобы я написала тебе всё, что помню из истории нашей семьи.

Выслали нас в 1930 году, в августе прибыли на Покровку, начинала спеть брусника. Раскулачили в 1929-м, сначала всё отобрали, потом выгнали из дома, затем выслали.

Я твёрдо знаю, мы были не виноваты ни в чём. Работали от зари до зари. И потому, только потому кое-что имели. Но что имели-то? Да ничего! Ни денег, ни товара, ни мебели, ни посуды, ни постели, ни пододеяльников, ни простыней, ни одежды приличной. Боже мой, голь окаанная, да и только. Кафтаны, опояски из своей шерсти. Сами пряли. Ни штор, ни задергушек (занавесок) на окнах не было, цветы были в ломаных склянных, глиняных горшках. Если ожидаются гости в большой праздник, я иду с Оришей к соседям просить ложки, вилки, тарелки, скамейки. Это что — богатство?! Да в помине не было. «Нет нигде, да на жо...пе две». Так у нас говорили, то есть на зад, на шароварах, 2 заплаты. Спали на полу на кошме. Масла и сметаны было очень мало, молока летом — вдоволь. Мяса летом не ели, только зимой и то мало. Пельмени мясные ели 1 раз в году. За что же выслали? А за то, что была скотина. Но не столько, как у Кочубея («стада неисчислимы»), а примерно так: коров — 6, овец — 30–40 (с ягнятами), лошадей — 6. Вот и работали «бык на быка». Этой скотиной и жила семья в 11 человек, из них трудоспособных — отец, мать и дед. Вот и держали работника, помощника, одному отцу не справиться. Работник был Василий Цыбаков. Он говорил отцу: «Мне, Павел Степанович, лучше жить-то, чем тебе: ложимся и встаём вместе, едим и носим одно и то же, оба в ремках (то есть в рванье), но у меня ничего не рвётся, не ломается, пошёл дождь — я и рад отдохнуть. А у тебя душа болит, то скотина заболела, то сдохла, то засуха, хлеб не растёт, а мне всегда хорошо».

У нас работника отдельно не кормили и осуждали тех, кто кормил отдельно. О, как это гнусно! Я ясно могу представить себя на месте этого работника. Ещё раз о бедности: когда отпарывали нитку, ее при этом сберегали (суровую, сами пряли из кудели). Это там, в Неплюевке, где считались богатыми, на столе не было даже клеёнки. В чём же дело, так много работали, а ничего не имели? Я не знаю, но думаю, что были часто засухи, земли истощенные, удобрений не слыхивали, неграмотность. Рассуждали: «на корове не пахать», и кормили её плохо, поэтому коровы доили мало, вся домашняя скотина была не породистая.

Я знаю одно: работали как ишаки, а жили бедно. Отпарывать заплату, сберегая при этом нитку! Разве это не бедность? Жадность? Нет! Когда приходили лентяи, просили хлеба пуд (зерна), дед давал без возврата. Хлеб у нас был. Еще бы! Мозоли ни с рук, ни с ног не сходили. Работали все, от мала до велика. Такая у нас порода. Интересно, что это наблюдается и гораздо позже. В 1947 г. мы жили недолго в Фергане. Оксане было тогда 3 года, мама поставила ее на берегу крохотного водоема (у хлопкового завода, недалеко от нашего жилья), заставила стеречь 2 наших уток. Я пошла проверить «пастуха» и вижу: вокруг Оксаны много народу, подхожу, узнаю: люди решили, что девочка брошена, и один мужчина объявил уже всем, что он берет эту хорошенькую девочку. Ее спросили: «Ты что тут делаешь?», она ответила: «Уток пасу». Ей не поверили. Что за пастух 3-х лет! Да и было ли 3-го года. А Коля пишет, как он с Марией ходил в тайгу за ягодами, а ей, Марии, было всего 7 лет. А теперь в первый класс весь год провожают и встреча-

ют своих чад. Сравните! В то, что кулаки вредили, поджигали и т.д., — не верится. Возьми Покровку: люди там были со всех концов государства великого, умирали с голоду, пухли, на лицах был мох у некоторых. Но! Никто не поджигал, не воровал, не митинговал, не роптал, тихо умирали один за другим. Детей не родили, свадеб не было. Не до этого, думали только как бы выжить. В магазине в первую очередь отпускали «кадровым», а нам обязательно не хватит. И мы... молчали. Как будто так и надо, и не думали жаловаться своей защите — коменданту, который бы и не стал защищать, он тоже жил вместе с ними, с кадровыми. Неграмотность, терпеливость, безнадежность.

Будет еще письмо. До свидания.

11. VI. 1987 г.

### *Письмо второе*

Эх, если бы говорить, а не писать. В декабре я была у вас, что же ты не заговорил об этом. Ну, ладно. По порядку у меня не получается, уже задела Покровку, а сейчас хочу еще дополнить о жизни в Неплюевке. В 1929 г. летом у нас уже не было ничего, значит, в 1927–1928 годах я, как мужик (а было-то мне 11–12 лет), запрягала и выпрягала лошадей, ездила верхом, пасли мы с Иваном свой скот. Во время покоса — сгребала сено конными граблями, возила копны к стогу, когда стог метали. Сейчас не сумею так прицепить на веревку копну и волочить ее к стогу. «Калмыцким» узлом как-то умела завязывать и аккуратно доставить копну к стогу. Стога метали высоченные, на самом верху была мама, она умела очень хорошо метать стога: правильный конус, острая вершина и т.д. Сено ей подавали на длиннющих деревянных вилах. Она ловко подхватывала сено граблями и укладывала его в стог. Когда молотьба, мы с Иваном гоняли лошадей. Этак кругом, кругом ходили целый день, да не один. Лошади крутили барабан молотилки, у которой машинистом был отец, он был в очках (дабы зерно не попало в глаз — выбьет) и в рукавицах, чтобы руки не искололо пшеницей. Коров я доила тоже, как заправская доярка, пропускала молоко через сепаратор. После мыла сепаратор, пасла телят, курушат, цыплят. И стар и мал — все работали. Была у нас деревянная кадушка, называлась «пудовка». Видимо, в нее входил пуд зерна или муки. Она была не из досок, а выточена из целого дерева, сверху у нее была ручка, и вот эту «пудовку» я носила, подымала. Из навоза делали кизяк. Были специальные «формы», куда его помещали, а затем сушили. Им топили печи. У меня был станок (форма) поменьше, и я тоже делала кизяк. Лишний навоз вывозили на «кучки» за деревню. И вот тут тоже без меня не обходилось. Именно я чистила в хлевах навоз, грузила его в корб (большая корзина, во все сани) и везла на «кучки», там заеду на «кучку», чтобы воз оказался набок и потом сваливаю его.

Одну зиму, а может, и две полностью ухаживала за скотиной (отца не было дома), поила, корму давала и т.д. У колодца был не журавль, а валёк. Бадья деревянная, толстая, вся во льду и тяжелая — понимала, что если валёк опустишь, то может убить, надо было держать бадью изо всех сил. Чистила пух, вязала пуховые шали, летом каждый вечер ходила поливать капусту за деревню, там был огород. Большие ведра, в каждую лунку по 1 ведру, да в гору, по земляным ступенькам. Этак раз 15, пожалуй, и поднимешься. Играть приходилось очень мало. Мама, когда сдет на хутор, не любуется природой, а вяжет шаль. Пуховые шали продавали и на эти деньги могли купить ситцу или что-то другое. Мы вязали шали по вечерам зимой и в дороге. Однажды, в какой-то год, в покос я водилась, наверно, с Женей, и мне еще нужно было вязать пуховую шаль, когда он спит. Взрослые — на покосе, вдали от стана. И мошки меня едят, и комары кусают, и слепни, а я еще должна вязать. Я вся в поту. Свяжу одну «иголку», т.е. перебросю петли с одной иглы на другую, и всё: петли у меня получаются так туго, что их надо шилом передвигать. Либо спущу петлю, и тогда стоп, доставать не умею. Жду маму. «Одну «дырочку» свяжем, и то негде взять», — говорила мама. Две иголки — одна дырочка. Зимой, вечерами, сидели до петухов, всё вязали,

пряли, чистили пух, дабы было на что купить «наряды». Об этом можно писать бесконечно. По-нынешнему у меня сейчас ничего нет, а по-тогдашнему — я барыня. Свой дом я очень любила. Он был веселый, его украшала зеленая крыша, стоял на углу, на площади, много-много лет он мне всё снился; стук колес, когда подъезжали к дому приехавшие с хутора, слышу до сих пор...

Нет! Не надо было всех под одну гребенку! Кто вредил, того и надо было судить, наказывать. В Неплюевке никто не вредил. Все были как мокрые куры. У Чапничихи ретивое не вынесло, вот она и задавилась — и вся борьба.

Интересный эпизод на Покровке. Пропел гудок, кончилась смена. Все ушли домой, осталась одна мама. Прораб (или кто он был) Иван Кузьмич Крысов (я помню его лицо, он умер года два назад) пришел проверить, что сделано. Увидев маму, удивился, спросил: «Анна Николаевна, что вы тут делаете?» — «Да вот надо, думаю, докопать яму, а то завтра земля замерзнет, и опять нужен будет костер». Вот какие мы были работники! А яму копала она под столбы, зима была, земля мерзлая, надо вначале костер, и вот осталось немного, надо докопать, а то завтра снова земля замерзнет и опять костер. А теперь люди норовят уйти до поры до времени. Напиши мне, получил ли ты эти 2 письма и всё ли понял, разобрал ли каждое слово. Привет всем твоим.

До свидания, 12 июня 1987.

### *Письмо третье*

Саша, здравствуй! Решила написать ещё одно письмо. Не могу надивиться тем, как много работали и ничего не имели, как страшно экономили, но скупости я не допускаю, а жадности тем более. Всех кормили, кто к нам придёт в Неплюевке. Приедет пастух Кизикейка (башкирин), он пас овец в летнее время не только наших, а и с половины села. Жил он в поле, в коше (дом у него такой), было у него 2 сына: Молдашка и Сартайка. Кизикейка так кричала, созывала: «Молдашайяв, Сартайяв!» Растягивала букву «я». Этого Кизикейку усаживали за стол, кормили из общей чашки. Чашка стоит посреди стола, и все деревянными ложками доставали из неё. Жили своим трудом. У меня на Покровке была юбка из мешка, а мешок-то был из Неплюевки, тканый из своей шерсти, толстый и грубый. Сами пряли, ткали из своего сырья. В этой юбке я работала младшим рабочим на буровой вышке. А было мне в ту пору 16–17 лет. Нарядная же я была! На Покровке был общественный огород, нас гоняли на нём работать, но кто ел картошку — не знали и не думали. Когда работали на этом огороде, то ели сырую картошку, говорили, как репа. Васильченчиха однажды набрала картофель в штаны и пошла домой, а штаны порвались... Ха-ха!

На Покровке из юбки своей (приданое) мама сшила всем мальчишкам по одной рубашке. Они были с коротким рукавом, до пупа. В Неплюевке однажды мама купила соль «каменную» (комками). Один принесла, а мне велела принести другой. Я принесла не тот, чужой, она бегала за мной с палкой по двору за то, что чужую соль принесла. Мама говорила, что тогда, если кто начинает «жить», все радовались. У нас бедных могло не быть, надо только много работать. Там, где не было земли, там из нужды не выбраться. А у нас был простор — паши, работай, сей и живи. Бедные были те, кто спал до 12. И сейчас есть такие «бедные» — работать не хотят, воруют у людей, злятся, что у тех всё есть, а у них нет. Привет всем твоим. Приезжала Мария, и мы с ней вспоминали старое. Смех и слёзы. До свидания.

20 июня 1987 г.

### *Письмо четвертое*

Здравствуй, Саша! Клички наших коров: Пестрянка, Старая Пестрянка, Бурёшка, Чернавка, Красулька. Больше кличек не помню. А лошадей — Пегашка, Чалка старый, Чалка молодой, Челуха, Гнедуха, Гнедко.

Ответы на твоё письмо, написанное 22 июня: земли у нас было много, работай, сей, коси. Речка у нас была маленькая, водились лишь пескари премудрые. Коров пасли далеко, где была трава хорошая. А пыли я не помню, этим наша деревня не отличалась, было нормально. Это сейчас трактора изрыли дороги, вот и пыль. Земли у нас было вдоволь. Однажды в наши края приехал некий Ананич, хохол. На нашем раздолье ему очень нравилось, ну как же: корова ходит свободно, а у них стоит на привязи. Этот Ананич с семьёй поселились прямо в лесу, в степи. В этом раздолье он не мог нахвалиться, как хорошо. Конечно, рай против того, что у них курицу некуда выпустить. Так что у нас бедными могли быть только вдовы или лентяи.

В нашем районе пустовали земли, вот отец Лизы Стариковой (высланный позже также на Покровку) и переехал на Южный Урал. Её свекровь перетолкала в деревянной ступе триста пудов проса. После возила далеко продавать. И с этого начали богатеть. Ещё шали пуховые вязали. Вот они много работали, разбогатели, их и выслали (не надо было много работать, ха).

Скот вечно голодный не был, ты тут перехватил. Голодны были коровы в летнее время, так как посёлок большой, степь вблизи летом выгорала, пастбище далеко. Пока они оттуда придут, опять уже голодны. Дома им ничего не давали, кроме воды, зимой — сено и больше ничего. Кормушек не было, я кидала сено прямо на пол около стен. Они бегали, отгоняя друг друга, разбрасывали это сено, топтали ногами, а потом по одной травинке всё собирали. Вся скотина выглядела нормально, даже коровы. В последний год мама взяла двух коров в поле с собой осенью, там они отъелись, разжирили, кругом трава, и возить молоко из дома не надо.

Ещё: в каждой деревне был атаман и писарь.

3 июля 1987 г.

### *Письмо пятое*

В Неплюевке по одну сторону дома стояли ворота, а за ними амбар каменный, ибо в нём было самое дорогое — хлеб. По другую сторону дома — каменная завозная. Каменные — для защиты от пожара, жилой дом был одноэтажный, бревенчатый. Между домом и завозней были куры, у них зимой было очень холодно, и они мёрзли так же, как и коровы, поэтому к весне были лёгкими как пух и долго не неслись. Была ещё каменная избёнка для телят. Каменная избёнка и завозная отгораживали передний двор от заднего. Стены в доме были не штукатурены, потолок были крашены, и мы их мыли<sup>1</sup>.

Речушка, что текла через Неплюевку, называлась Ендырка, на ней цвели жёлтые лилии красоты необыкновенной — стебель длинный, пожалуй, 2 метра, головка на поверхности воды улыбается Солнцу золотому. Охажками-то мы их не рвали, но нам никто не внушал, что надо это беречь.

А какой хороший у нас пекли хлеб! Я бы сейчас объелась этим хлебом: крупный, на поду печённый, на верхней корочке — мука (в середине), корочка тонкая. Однажды к нам заехали какие-то господа. Она и говорит мужу тоненьким голосом, что хочет «верхней корочки», а наши все смеялись, как она пропищала, так как не привыкли, чтобы им подавали.

А какой был квас! Если бы теперь был такой квас, люди пили бы его, а не пиво. Он не был кислым, а ядрёным. Когда его цедишь из бочонка в погребе, он

<sup>1</sup> К слову, автору предисловия удалось побывать в 2001 г. в этом доме. Потолок действительно из толстых досок, крашенных масляной краской; особенно меня поразил порог: за долгий век он был протёрт ногами своих жильцов наполовину, до 5-10 см по центру. Каменный амбар ещё был цел, хотя и зарос травой из щелей. Дом построен предками моих предков из толстых брёвен. В нём я увидела 3 комнаты: просторную гостиную и две комнаты поменьше. С разрешения новых хозяев я взяла землищи с прилегающего огорода и позже посыпала её на могилки их прежних обитателей. — О.Л.

шумит и пенится, вышибал из глаз слёзы. С тех пор, как выгнали из дома, пить такой квас не приходилось.

Предков звали: бабынька, дедынька, папака, а Зацепины (соседи) звали свою мать мамака. Нам было это смешно, а себя не замечали.

### *Письмо шестое*

Когда я сломала ногу (возила воду на лошади к буровой скважине), то лежала в больнице в Серове, туда ко мне приехали Коля и Мария. Помню, как я их увидела в окно и как они там за окном смеялись, были рады, что нашли меня и привезли ещё что-то поесть.

Я писала, что на Покровке заболела тифом, тогда я ходила в школу («ликбез» — ликвидация безграмотности, школа для взрослых, точнее, школа для работающих девушек и юношей; если не работать, паёк не дадут, с голоду умрёшь). Тяжело было (работала на лесозаготовках зимой, летом — на сплаве леса по реке). Ночью зимой в бреду выбежала на улицу, меня увидели, задержали, а то бы замёрзла. В бреду мне казалось, что пищат котятка за сундуком. Сильно страдала, что в школу не могу ходить и теперь отстану от всех.

### *Письмо седьмое*

С Вaley Носковой на Покровке мы работали на овощной базе за капустный лист, то есть оплата оборванными наружными листьями. Однажды мы увидели на капустном листе чьи-то сопли. Противно до сих пор.

Зимой дед охранял овощник, его запирали на замок. Днём пришло начальство, спросили: «... Картошку-то печёшь, дед?» — «Конечно, пеку, неужели сырую ем?!» — ответил дед. Все засмеялись. Дед наш работал, охранял турнепс, и мы однажды с Марией ходили к нему за турнепсом. Набрали много (жадность или голод), было очень тяжело. Когда я шла обратно, провалилась на мостике в глубокую колею. Было темно, меня в колее не видно, если бы шла машина — конец бы мне. Но выбралась и пошла домой.

Моя соседка рассказывала, что в годы коллективизации её дядя оставил на семена 0,5 мешка кукурузы, хотя был голод. Жили они на Кубани. Эту кукурузу пришли забирать, он не отдаёт. Тогда его посадили, а кукурузу забрали. У неё ещё был двоюродный брат в Воронежской области, он в колхоз не шёл. Раз так, всё отобрали, даже стаканы. Позже установили налог. А платить нечем. Его судили, отсидел, уехал в город. Так опустели деревеньки.

Когда арестовали отца (по 58-й статье), я была с подругой у магазина. Когда ко мне подошли и сообщили об аресте, я пошла к тому дому, где они уже сидели. Мы заглядывали в окна. Когда машина пошла, отец стоял у заднего деревянного борта, он кричал: «Берегите мать!» Это его последние слова. В открытой машине повезли 5 декабря! Если до Боксит и то... ну а если до Серова... Боже! Они искусственно создавали себе врагов. Повезли их на свалку. Кого повезли-то? — своих кормильцев. А кто повёз, тот грешнее грешного.

### *Письмо восьмое*

Когда я училась в школе в Неплюевке (первый или второй год, не помню), учительница после уроков читала нам книгу о Робинзоне Крузо. Многие уходили, а я слушала с жадностью, ужас как интересно! После эту книгу читали у нас дома, мама читает, все слушают. И всем было интересно очень. Эту книгу я, наверно, брала у учительницы. А вот спросить, нет ли ещё какой книги у неё, не хватило ума. Да и она не предлагала.

Вот ещё мелкие детали жизни в Неплюевке. Нюра Койнова рассказала, как у них отбирали последнюю корову во время коллективизации. Нюра говорит: «Держу корову за верёвку, а ему (комсомольцу) не даю её, а он за рога боится корову взять». И так они долго крутились, пока стоявшие рядом двое мужчин не сказали:



«Отступись» — и ушли. Нюра корову отвоевала. Какой позор — отбирать последнюю корову! Ведь для них молоко — это всё! И они доили корову всю весну, а когда погнали в табун, опоздали встретить, и «они» (коммунары) загнали корову в колхозное стадо. Вот и вся история. Не надо было опаздывать, доили бы до сих пор. Ха!

Когда их (Койновых) повезли на выселку, денег у них не было, им люди насобирали 50 рублей. С этими деньгами они и отправились в этот несчастный путь. У нас денег тоже не было.

В 1-й или 2-й год Оничка (сестра Нюры Койновой) прислала кусочек хлеба: посмотрите, какой мы хлеб едим. Он был из просянки, рассыпался, очень плохой. Вчера смотрела кино «Тихий Дон». Люди едят прямо из котла в поле. А у нас была деревянная чашка большая. Я писала, что ели (в Неплюевке) лепестки белых лилий, но, пожалуй, только пробовали, а не ели. Ели просвиру, щавель, куян, лук луговой, бзынику и др. Я в детские годы уже не любила женскую долю, все унижения её: ходили без штанов, и вот в поле садились на землю, и девочки не могли быть аккуратными, мелькнёт у них... Мужики зарывают. На этом о Неплюевке заканчиваю.

На Покровке были карточки, а не заборные книжки. Рабочая карточка красная. Нюра Койнова работала в забое (шахты), ей давали 1 кг хлеба, плюс 200 грамм в обед в столовой.

Кто работал в строительстве — 800 грамм на карточку. Детская была зелёного цвета, норма 300 грамм, иждивенческая — жёлтого цвета, норма 200 грамм. Детям в школе был обед, плюс хлеб, не знаю сколько<sup>2</sup>. Нюра эту норму в 200 г помнит очень хорошо, её матери давали 200 г, и она всё их угощала, говорила: «Ешьте, ешьте». А сама отошала, и они не заметили, что она всё спит.

Вы скажете, что хлеба давали много. Да, немало, сейчас я беру четверть буханки и ем 1–2–3 дня. Тогда не было жиров, а мяса и масла совсем не давали; молока, сметаны, творога не было. Смазать листы, чтобы испечь хлеб, было нечем. Мы получали мукой — это много лучше. Можно сварить затирюху и буздать, брюхо будет полное. Вот и буздали, а после все говорили, что животные разупоили. Сахар и рыбу давали. Мне кажется, что сахара давали хорошо, а рыба — налим вониючий и селёдка (хорошая). Селёдку съедим, кости её высушим, истолчём и этой штукой заправляли толчёный картофель — вкусно казалось. Крупку, видать, тоже давали, но сколько — не помню. Печенье, помню, мне всегда не хватит, давали его на детские карточки. Всё это, кроме хлеба и муки, регулярно не давали, а так, когда есть.

Работала я в бригаде таких же, как я, несовершеннолетних: я, 2 сестры Рыжковых, Уляшка Сулимова (калмычка), Кланька Мурнаева, Катя Ложникова. Бригада была «ух!». Спимли одно дерево (большущее) за смену, а то всё сидим у костра. Катя Л. была всех старше, она любила посидеть, всё кочегарила, мы её прозвали Кочегар. Хоть всю смену просиди, она не скажет, что давайте поработаем. А Крысов И.К. ещё и ударный обед нам даёт. Ха! Придём в столовую, а над нами смеются: «...вон де ударники». Ударный обед — значит, есть что-то на второе. Даже помню, как наша бригада «ух», которая работала с 8 утра, получила ударный обед и дали на второе блюдо много свёклы.

В столовую взрослые приносили маленькие пузырьки, в них сливали растительное масло, которое было во втором блюде (каша или картофель), чтобы этим маслом дома помазать кашу или картофель.

Ели молодые побеги сосны, и я говорила, что как морковка по вкусу. Уляшка Сулимова (они с Кубани вроде) рассказывала, что у них был сад, и как бросали яблоки, разбивая их о дерево, если они плохие. Завидно было мне, потому помню это до сих пор.

<sup>2</sup> Детям в школе, действительно, давали обед. И мать семейства Анна Николаевна уговорила взять в школу 6-летнего Колю (брата мамы). Это помогло снизить угрозу голодной смерти маленького Коли. Об этом помнили и долго рассказывали следующим поколениям в моём роду. — О.Л.

С годами жизнь медленно, но неотступно улучшалась: нам разрешили (!!!) садить картошку в 1934-м, малость и овощи. Лист свекольный и брюквенный сушили, а зимой его — в затиряху. Потом купили козлёнка. Для молодёжи построили клуб, ещё позже появился коммерческий хлеб. Думала всё и вспомнила вдруг: заставляли косить сено и сдавать (а кому оно шло — Бог весть), и вот — собрание. Кудряшов или кто (забыла) не накосил. Его спросили, почему? Сказать ему было нечего, и он, растягивая слова, запел: «Я-а не косил, потому, что не косил!» Ха! Все засмеялись, и на этом конец.

Маруся пошла к Мане Черновой за весами. Та полезла в подпол и пролила (где-то добытую малость молока) и заругалась: «...Паела мылака, с висами-та тут». Она говорила очень медленно, почти пела. Много лет мы смеялись над этим, а то слёзы...

О Покровке — всё! Хватит! А то этому не будет конца. До свидания.

### Письмо девятое

У нас была большая деревня — 500 дворов! Плохо было жить в такой большой деревне (покос, пастбище для коров далеко). И вот однажды несколько семей-смелчаков отправились на Амур. Говорили, что там благодать: «и рыба, и чай».

Нюра Койнова ещё рассказала, что в Неплюевке её отца судили якобы за эксплуатацию чужого труда. Им дали 800 рублей штрафа, и они отдали 8 голов скота и ещё одного иноходца (лошадь) в уплату штрафа. Сверх того на них наложили «бойкот»: нельзя было ходить за водой, закрыли окна, света жалко. Подумать только! А с нами этого не делали. Я думаю, что они не выполняли всё, что им предписывалось. А мы, сколько бы отцу ни дали налога, — всё выполняли. И они говорили, что Мурзина хоть на Красную доску.

Нас везли из Неплюевки на Покровку в грузовых вагонах, окон не было. На станциях не останавливались, а в лесу и тогда открывали двери вагона. Представляешь, какая была духота, вонище, ведь ходили в ведро. Как с большими преступниками обращались. Ты вот пишешь, что было бы, если нас не выслали? Ничего! Отец бы работал хорошо, он плохо не умел, его бы ещё председателем выбрали, так как он понимал работу, в механизмах разбирался, не ленив, не ретив. С кем ни заговоришь — обида не забыта. Унижение терпели, не боролись, молча умирали. Далеко не каждый способен на политическую борьбу. В общем, в той системе было много плохого, но и в этой не меньше.

14 июля 1987 г.

### Письмо десятое

Здравствуй, Саша. Привет всем твоим: Ире, Марине, Лене, обнимаю и целую Антошеньку. Отвечаю на твоё последнее письмо.

Седьмую корову мне всё же не хочется считать, так как её не было. Я помню 5 клечек и 6-ю просто так прибавила, авось да небось была она, может, две красульки или две бурёшки, как было две пеструшки. Лошадей всех помню очень хорошо, будто вижу. Лошадей тоже 6, как и коров. 20 овец — это зимой, а осенью были ещё ягнята, их потом в начале зимы кололи. Куры, индюшки, гуси были, а уток нет. По зрительной памяти было две гусыни, плюс один гусак, плюс гусята. А сколько гусят? — по-разному каждый год, может четверо, но сколько — не знаю. Индюшка, может, одна, а может, две, плюс индюк, плюс индюшата, всего их, может, 6 или 10. Кур — штук 15. Но всё это не есть богатство, крестьянин не может без птицы жить: перо было нужно, яйца, пух. Покупать не на что, всё должно быть своё.

В числе овец были ещё и козы, они нужны были для пуха, вязали шали пуховые, на эти деньги одевались, копили приданое. Я тоже всю вязала шали. Сидим с подругами и вяжем, да ещё соревнуемся, кто быстрее свяжет иголку.

Пух чистила, прясть не умела. Вязала очень быстро. Отец всегда ругал коз, говорил — деревянная скотина. Но не будь коз, не будь пуха, ходили бы совсем голые, пуховые шали очень выручали. В основном их вязали в зимние вечера, сидели до двух ночи, а то и до петухов.

В Неплюевку съездить?.. Ха! Хорошо бы, если наш дом был всё такой же. А он ведь совсем не такой, чужой, и не узнать. Да и нет никого, кого я знала. Смотрю на фото и думаю: вот тут я ходила, закрывала окна ставнями; вот у этого окна мы обедали, а у этого сеяли муку... А в круглой печке перед Рождеством варили пельмени (один раз в год!)<sup>3</sup>.

А дороги... Их именно такими я и помню. Мама говорила (это я хорошо помню), что дом этот строили в 1915 году, будто бы на нём написана дата. Она говорила, что я родилась в 1915 году, в тот год строили дом, а до того жили в старом доме. Когда мы уезжали, он был ещё новеньким. Брёвна отнюдь не чёрные.

Гляжу я на фото подолгу и... чего-то нет, нет, нет. Чего-то жаль, жаль, жаль. Куда-то сердце всё рвётся вдаль, вдаль, вдаль.

Мёртвую Оришу (11-й член семьи) привезли в дом Дуни, от них и хоронили. А вскоре и нас выслали. Из дома д. Ефима. Это я хорошо помню. Правильно они сделали, что уехали. А что было делать-то, ведь всё отобрано, живём в чужом доме, чем жить, как жить, надо деньги, надо пищу.

Ещё вспомнила, как ездилы мы с отцом на мельницу (опять же я, так как была всех старше). Он едет впереди, я — сзади. Мне напекли в русской печи яиц (они печёные-то вкуснее), много, как мне казалось. Отец их не ел, так что я полная хозяйка, вот я ем их и ем. Наслаждаюсь. Солнце, сижу на возу, на пшенице, прикрытой пологом. Хорошо! А на мельнице перекрыли воду и рыба прыгала по камешкам. Ну, мы, как и все, набрали рыбы и сварили уху. Вот таких картин ещё можно много описывать. Коров и лошадей я больше видела, доила, встречала из табуна, лошадей запрягала, на круп лошади любила смотреть, когда едем. Ягнят ночью держали отдельно, а утром выпускали. Как они бежали к своим матерям помню до сих пор. Мало было их, примерно 20 овец (маток), ягнят 10–15.

10 августа 1987 г.

### *Письмо одиннадцатое*

В Неплюевке: мама или кто-то другой скажут: «Вон табун гонится». Они видели из окна. А как? По пыли, что поднималась от идущих коров до неба в сухое время года. Бедные коровы, как они дышали этой пылью? Коровы приходили домой голоднёшенькие, более умные и смелые бросались в огороды, не боясь ни палок, ни кнутов, дабы схватить травки или картофельной ботвы. Гоняли их пастись далеко, вблизи вся степь выгорала. Посёлок большой, всего было, наверно, 3–4 стада. Дома их только поили водой, и всё. С чего они будут доить? Зимой сена не досыта («на коровах не пахать»), вода солёная (у нас солончаки, и вода в колодце солёная была, холодная). Вот так и жили коровы. Какое тут масло да сметана? Весь скот не породистый. Так же и с курами. Яиц было мало, летом ещё куда ни шло, а зимой... Мы яйца досыта не ели, это был деликатес. В нашей деревне не было лука. Из соседней деревни едут, продают нам лук. Мы покупали в обмен на яйца, денег на покупку лука не было. Бусы ерундовые, брошки, шпильки, иголки, ленты — всё на яйца.

Осенью, когда вырубят капусту, привезут её на телеге, я обедалась ею (не было других витаминов). Растительного масла также было очень мало. Масло-бойка была на другой стороне деревни. Помню, как обедалась жмыхами. А в начале зимы спрошу бабушку, можно ли взять в подполе морковку. Или кочерыжку капусты. Возьми, скажет бабушка. А топится печка в доме зимой, мы ка-

<sup>3</sup> Александр Мурзин был в тех краях в 80-е годы прошлого столетия, когда работал спецкором в газете «Правда», и выслал сестре Кате фото того дома, откуда их выселили в годы коллективизации. — О.Л.

лили на ней без жиров пшеницу — курмеч по-башкирски. Горох также калим, он станет мягче, едим. Вот такие деликатесы у нас были. Гостей кормили хорошо. Бывало, только и слышим: «это гостям, это к зиме, это к Пасхе, Рождеству...»

Помню, купила мне мама ленточку узенькую, 1 см шириной, зелёную. Всю жизнь помню, как от радости бегала по дому, а она развевалась в моей оттопыренной руке.

Отец говорил: «Давайте всё продадим и уедем». А дед против, не верил, что всё отберут (налоги — продналог, продразвёрстку платили исправно, хоть на Красную доску вешай). Уехали хотя бы в Магнитогорск с денёжками в кармане, и всё. Никто не стал бы этих «грешников» искать. Но нет, всё отдали в колхоз и в добрые не вошли.

В последние годы отец не стал слушать деда и купил крашенный стол и 4 венских стула — мебель первая и последняя. Хлеб продавали, возили в город 1-2 воза в год. Но ведь надо же было денег-то! Купить соль, сахар, спички-мички, посуду-масуду, гвозди-мозди, керосин, бумагу, ситцу. Всё, что производило хозяйство, этим и жили. Быки — пахать тяжёлую землю, овечки — полушубки, валенки, варежки, кафтаны, опояски, кошмы, шали и т.д.

Мама говорила: «Отец приедет с поля, а это делали 1 раз в неделю, станет мыться, то с него буквально чёрная вода течёт». Ещё бы, целую неделю работать. Рубашка у него была как береста от пота. Меняли только когда дома в бане помоемся, то есть раз в неделю. А как чинили! Порвётся рубаша на загорбке, мама чинит, подставляет новую подоплёку, а рубаша-то вся уж сопрела.

Жить не умели. Сейчас там, на нашей родине, и яблоки выращивают, и помидоры, и пчёл разводят, наука... А тогда? Мама приехала из Екатеринбурга с Иваном из больницы и привезла 1 яблоко. Мне досталась малость, как долька от чеснока. Вкус того яблока до сих пор помню.

Когда жили в поле летом в Неплюевке, то ели 3 раза в день затирюху. Удивительно, казалось очень вкусно.

На Покровке приду я с работы в 1-м часу ночи, вытащу из печи затирюху, и слёзы хлынут у меня: мало оставили. А оставлен был целый детский горшок (он у нас был новый, куплен как кастрюля, не было другой посуды, не понимали его настоящего назначения). Затирюха-то не такая, как в Неплюевке, а из ржаной муки, и нет в ней больше ничего — ни картошки, ни сметаны, ни другой приправы, вся раскиссеет, а я плачу, что мало, а утром ничего не скажу. Вот 1-й раз об этом говорю, она была жидкая да выпрела, а я считала, что мало оставили. Стоит в глазах та затирюха.

Не помню, есть ли в Колиной книжке о том, как «кадровые» ребятишки, зная, что мы голодные, крошили крошки на землю, приговаривая: «Цып-цып-цып»? Потом их (Колю и Марию) загнали на дерево.

Всю ту жизнь я хорошо помню и не вижу никакой вины. Всё берегли, каждую железку, гаечку, тряпочку. А что сейчас делается? Завалили землю мусором не гниющим, не гсгорающим, больше во 100 крат, чем все предыдущие поколения. А как цветы вырывают охапками. Я только принесла купавки и горичвет, посадила под окнами. Только купавочка расцвела, вырвали ночью. Светопрествление! Венки у покойников воруют и тащат своему покойнику. Это что? Пережитки старого? — Нет!!! Тайга горит каждый год, сколько всего гибнет! Раньше никто и ничего не говорил, сами знали: костёр гасили тщательно, заливали его, я очень усердно выполняла эту работу.

### *Письмо двенадцатое*

Это письмо с рассказа Литвиновой Елизаветы Алексеевны, родившейся в 1914 году. Она была выслана с родителями из Краснодарского края на Урал в 1928 году. С её слов, их вывезли в лес дремучий, выгрузили «с лошади прямо на снег, как кур», «плачем, очень холодно, а поесть нечего». Её отец и брат пилили лес, ставили бараки на 6 семей, «лес мокрый, снег тает, и вода прямо в комнате». На буржуйке пекли лепёшки. Затем в апреле взяли отца и брата руду грузить и

возить на лошадке породу в отвалы, «все кричали на нас». А потом она работала на подъёме руды вагонетками, уже была узкоколейка. В 1933 году она получила «премию 20 рублей и кофточку беленькую», в те же годы (1932-1933) в виде премии получила «парусиновые туфли и сарафанчик». В 1936 году их перевели на «Красную Шапочку» (будущий СУБР). «Босые, голые и голодные», её отец с матерью умерли в 1933 году, осталась она с сестрой и братом, а ещё 2 брата погибли по 58-й статье в Мурманске. Когда началась война, её мужа забрали на фронт, а она работала в шахте, «грузили руду вручную, крепили горные выработки, делали забутовку и работали «отбойными молотками». Всю войну тачками грузили руду по 12 часов в смену. В 1951 году 4-я шахта закрылась, она получила Орден Красного Знамени, медаль, а также почётную грамоту. Эта Лиза полуграмотная, её писанину я буду считать 12-м письмом. Смею у меня полные штаны. Вместо слова «пенсия» она пишет «пензей». Ну, читай внимательно, и всё поймёшь. Работала она в известной на СУБРе бригаде Минзарипова, которая славилась ударным трудом, выполнением и перевыполнением плана. До свидания.

28 августа 1987 г.

### *Письмо тринадцатое*

Через Неплюевку текла речка Ендырка, мелкая, под палящими лучами солнца, не было ни кустика, ни деревца. Была невдалеке ещё одна речка — Стабалда. Тоже маленькая. Но весной в степи снег тает быстро, и речушки бушуют. Случались и ЧП, когда их переезжали весной. Я умела запрягать и пахать уже в 10-12 лет. Нюре Койновой было 7 лет, когда её посадили на лошадь, а позади быков погоняет отец. Он ей кричит: «Поворачивай направо, направо! Той рукой, которой Богу молишься!» С малолетства уже работали.

Однажды мы (дети) ходили в лес за ягодами на Покровке и заблудились. В клуб кадровый нас (выселенцев) не пускали, а потом построили в Покровке и для нас клуб. Да ты напиши мне, надо ли всё это писать? Конца ведь не будет.

Дед в Неплюевке шил обувь из грубой кожи, фасон — как рабочие ботинки. Шнурки вырезаны из той же грубейшей кожи. Ботинки эти я ненавидела, они страшные и мозолили ноги.

У нас в степи зимой часто бывала пурга, когда ездили за сеном, люди частенько замерзали. Однажды и я уехала в сторону куда-то, наступила темнота, волков боюсь, холодно. Это помню всю жизнь, но в лесу я не ночевала, а как выбралась — не помню.

У нас не было ни фруктов, ни арбузов, ни дынь. Почему? Дураки не дураки, но и умными не назовёшь. Жили так: сегодня похоже на вчера, завтра — похоже на сегодня. А сейчас? В Североуральске яблони выращивают, хоть яблоки и мелкие, но из них вкусный компот. Лет 20 назад никто не выращивал помидоры, теперь есть теплицы, дачи, ягоду (викторию) научились выращивать. Есть книги, передачи по телевизору, курсы пчеловодов. А что тогда? Не будем им кости промывать, они намутились и спят спокойно. Я много раз начинала с мамой такой разговор, она смеялась и говорила: «Дураки были!»

В 5 лет я уже пасла цыплят, курушат. Поила скотину и доила коров позже.

Золовка Нюры Койновой, малограмотная женщина, по памяти написала вот такое «произведение»:

За что, я бедняга, страдаю,  
В тех страшных высоких горах,  
За то, что трудился за плугом,  
И серп держал я в могучих руках.  
За то меня арестовали, признали меня кулаком  
И всё у меня отобрали: одежду, скотину и дом.  
Согнали нас много, несчастных, всадили в вагоны,

Тесные двери закрыли на болты.  
Смотреть не давали в окно.  
А поезд орал так сердито, давил выселенца грудь.  
Ах, думали бедные люди, скоро ль  
Закончится путь?  
Везли нас густою тайгою, а поезд всё больше орал,  
Завезли нас в высокие горы,  
А горы те были Урал.

Кто сочинил эти стихи, не знаю — народ.

Когда мы жили на Покровке, мы все (выселенцы) несли свои шмотки в Петропавловск, кто клеёнку, кто скатерть. Меняли всё это на картошку, а потом несли её на голодных плечах 8 км. Однажды нас с мамой в Петропавловске хозяйка накормила простоквашей. Сидели мы с ней у порога на скамейке, ели. У них всё было так же, как у нас когда-то: пол крашенный, на окнах цветы герани. Ох, как душа заболела-то о своём доме.

Решила написать тебе ещё одну историю, которая была мне рассказана стариком 2,5 года назад. Старик ныне живёт в Североуральске. На днях я его встретила и переспросила об этой истории.

Было это в Красноярском крае. Человек тот был — кум отца этого старика. У этого человека была 1 корова, 1 кобыла и 1 жеребец-иноходец прекрасный. Из-за жеребца человек не шёл в колхоз. Очень любил его, холил, берёг. Тогда у него всё отобрали, «раскулачили». И он ушёл на станцию и там работал при железной дороге. Приезжал домой, ходил на свидание с жеребцом тайно, обнимал его, плакал. Позже этого жеребца какой-то дурак так гнал, что налетел на частокол и распорол брюхо коню. Узнав об этом, хозяин коня задавился. Детей у этого человека было 12, остались сиротами.

Поговорила я ещё раз со сватом и свахой. Ничего нового, повторяется то же самое: жили бедно, глиняный пол, соломенная крыша. Они из Полтавской области, деревни Дубровка. Их родители заплатили продразвёрстку 1-й раз, заплатили 2-й раз, а на 3-й нечем. Тогда пришли и всё забрали, со старшего брата содрали полушубок, каракулевую шапку и из дома выгнали.

Увезли на Урал, на Выю, в телячьём вагоне. Сначала жили в шалашах, дело было летом, строили себе бараки. Они много раз сбегали и по одному, и всей семьёй. Однажды шли пешком 100 км, держались отдельно: отец с двумя сыновьями и мать с сыном и дочкой. На Тёплой горе их поймали, деньги отобрали и отпустили на все 4 стороны. Снова шли пешком ночью около 18 км и снова на Чусовой попали. Их вернули на старое место, а через год они опять сбежали. Старший брат родителей накормил однажды голодающего свёклой (под Полтавой), увидели, отправили на Беломорканал, а там всё усыпано костями. После мать свахи отправили в стардом, детей — в детдом. Сваха была самая младшая, выжила, а все остальные 5 детей в семье умерли от голода. Отец свата Тимофей был сильно набожный, говорил: «У нас нет никакой вины, а сюда нас привезли на погибель». В общем, они тоже натерпелись, даром сбегали, не от хорошей жизни. Когда свахины сёстры и братья умерли от голода, мать её сильно болела и ничего не могла делать. Трупки детей завернули в тряпочки и закопали в ямки отдельно, так как умерли не в один день.

На Баяновке (соседнее село) умерших от голода хоронить не успевали, складывали трупы в пустых сараях, а весной — в общую яму.

До свидания, привет всем твоим.

28 сентября 1987 г.

### *Письмо четырнадцатое*

Саша, здравствуй! Вот захотелось мне описать наш умывальный в Неплюевке: он был чугунный, маленький, кругленький, с маленьким рожочком, тяжёлый. Если хочешь на него посмотреть — сходи на панораму 1812 года, там

болтается точно такой же. Я когда увидела, так и впиалась в него глазами. Ха! Хата разбита и сгорела, а он болтается. В 1929 году уже не пахали, не сеяли (отобрали всё, колхозы создавались).

О Покровке писать не знаю чего: был голод, холод, ремки (то есть рваная одежда), теснота (жили всей огромной семьёй в одной комнате в бараке, как и остальные выселенцы). Я болела тифом, выжила. Остригли меня, с той поры не стало большой косы. Была я без сознания. В Неплюевке мы с Иваном болели scarlatinой, нас уже хоронить собирались, но выжили.

Наши предки жили, не нарушая закона, другой способ жить (по-ленински) они не придумали, где им. Так за что же без суда, без разбора винить, гнать? Разве так можно? «Им» дали власть в руки, вот они и старались отбирать. Много ли «они» понимали-то? Нюриня золовка говорит, что сегодня у них отобрали, а завтра «они» (комсомольцы) уже ходят в её нарядах (платках). Ещё: работник Василий Цыбакин жил у нас с женой даже, а в последние годы их уже не было. У нас были механизмы: сабан (плуг), борона, косилка в покос, грабли конные, молотилка — средства для производства хлеба.

У Елены Петровны Сапоненко (учительница) Костя умер от голода на её руках. Она променяла свой платок петропавловцам за 1 яйцо. До дома не дошла, ребёнок умер. Оказывается, у людей было ещё хуже нашего. Е.П. Сапоненко работала уборщицей в общежитии, и она говорила, что рада этой работе на Покровке.

Были случаи, когда люди от голода с ума сходили, ели трупы своих детей.

21 октября 1987 г.

### *Письмо пятнадцатое*

Здравствуй, брат Саша! Привет твоей семье. Решила написать ещё одно письмо. Вспомнила, как отец говорил: «Мне лучше кубометр дров нарубить, чем письмом написать». О жизни наших родителей правильно будет сказать: «Не пила душа, не ела, не ходила хорошо, а работала как лошадь, что же надо вам ещё?» Дарья Тихоновна Койнова (соседи) говаривала: «Топится печка весело, да не варится ничего». В Неплюевке мы топили в основном кизяком, а на Покровке дровами.

В 1938 г. (на Покровке) меня отправили на сплав (брёвен по реке), не считаясь с тем, что мне предстояли экзамены, я заканчивала 6-й класс в школе для взрослых (вечерняя школа, «ликбез»). Ни я, ни родители и не думали защищаться, не привыкли требовать, а Сапоненко Хрисанф Эвстафович, видимо, об этом думал, может, говорил с кем, но безнадежно. Он тогда пришёл к нам и сказал, что надо ехать (на сплав), ничего не поделаешь. И я поехала, захватив учебники. Там, на сплаве, вечерами я готовилась к экзаменам, а приехав домой после сплава, заявляя своему главному учителю (Сапоненко), что буду сдавать экзамены, чтобы перейти в 7-й класс. А он мне сказал, что он меня уже перевёл в 7-й класс без экзаменов. Я была у него хорошая ученица, вот он и постарался. Спасибо ему! Но тогда я даже малость огорчилась, что мне не пришлось блеснуть знаниями. Но втайне гордилась: как же — без экзаменов!

В 1939 г. я, закончив 7-й класс, поехала учиться в училище. Меня с работы не отпускали, я уехала, да и только! За это маму и всех вас хотели выселять 2-й раз! Что бы это значило, как отразилось бы на нас, сообразишь сам лучше меня. Хотели выселить, но не выслали: один добрый человек нашёлся (спасибо ему), он сказал: «Виновница уехала учиться, а мы будем выселять...» А меня уволили за прогул. Из-за этого у меня теперь стажа для пенсии не хватает, а его у меня выше 30 лет!

Ещё одна история. Узнала на улице одну старушку, которая была выслана в юности с её дедушкой и бабушкой. Дедушка с бабушкой с выселки сбежали, вернулись в свою деревню. Пишут своей внучке, что всё хорошо, возвращайся к нам. Внучка едет к своим дедушке с бабушкой, а её сразу арестовали и повезли обратно в Серов, на Урал. А у неё место выселки — Волчанка, это к северу от

Серова, может, ещё сотню вёрст. Ей сказали: «А теперь сама добирайся!» Ха! Позже дед с бабушкой снова ей пишут, чтобы приезжала. Она снова уехала с выселки, на этот раз её взяли в колхоз. Ныне живёт на Покровке, сын у неё погиб в войну.

19 ноября 1987 г.

### **Письмо шестнадцатое**

Ещё раз уточнила, сколько давали по карточкам на Покровке, когда туда выслали. Саня Авдеева подтвердила уверенно, что работающим в забое шахты давали 1 кг, в строительстве — 800 гр., иждивенцам — 200 гр. И Валя Рыжкова, также выселенка, всё это подтвердила. Овощей, свёклы, моркови, капусты не было, картофель — мороженный и не вдоволь. Сахар был.

Наша бригада «ух» из девчонок пилила лес. Пила была ручная, тупая, если дерево толстое, особенно лиственница, то и пропилили её смену, «туда-сюда, тебе-мне», сил нет, в снегу. Таллоны на ударный обед нам давал Вадыс, он не русский, но нас не обижал. У Вали Рыжковой юбка тоже была из мешка. На Покровке мы все были голодные, но никто не воровал, замков на дверях не было. А сейчас — сплошные воры и прочая нечисть.

За продуктами были большие очереди. К праздникам давали муку, но очередь надо было занимать с вечера. А если с утра на работу, вот и купи тут. К 7 ноября продавали солёные огурцы, лук и другое. Но за всем, за всем надо было стоять в очереди. Сколько же я за свою жизнь выстояла очередей! Даже в 1951 году муку продавали только к празднику: к Новому году, к 7 ноября. Очередь надо было занимать с вечера, иначе не хватит. В очереди обычно стояли с детьми, чтобы больше купить. В «одни руки» (в 1951 г.) продавали примерно 3-4 кг муки, на троих (я, Оксана, Люба), получалось 9-12 кг. Стояли в очереди на улице, ночь, зима, холодина, дети не плакали. В одной комнате мы жили втроём, плюс 10 кур в курятники, все удобства на улице, воду носили ведрами с водоклонки. Спали так: Оксана с Любой валетом, а я с краю на всю длину койки. Было и так: они болеют, температура, а я уеду на работу, а как же — деньги надо, сменить человека, который отработал 12 часов, да чтобы была я хороший работник. Два раза было так: вечером иду с работы, навстречу идёт Оксана — пошла в школу. Увидев меня, застенялась. А было так: зима, темно, уснули, стрелки на часах показывают такое же время, пора идти в школу...

Ну, Саша, наверно, это письмо последнее. До свидания.

3 марта 1988 г.

### **Письмо семнадцатое**

Вспомнила вдруг целый «спектакль» из жизни на выселке. Год я не помню. Мы не накосили сена, причину не знаю, может, лили дожди или ещё что.

Мама (Анна Николаевна) жила на Лагве с коровой Манькой, спасая её от бескормизы. А без коровы нам невозможно, вот и отправилась мама-то. Помню, как её провожали, как она отправилась пешком с коровой. Кто остался у нас в доме кашеварить, стирать, мыть, как мы, дети, жили без неё, сколько месяцев — не помню. В деревушке Лагва она жила у кого-то в доме. Сено для коровы она находила в поле: увезут стожок, а низ оставят, вот эти «остатки» мама доставала из-под глубокого снега и как-то доставляла в Лагву, где жила. Вот так она и прокормила корову, спасла её от голода.

Остатки чьих-то стогов сена образовались по той причине, что сено увозили с лугов по снегу на санях. А то, что оставалось внизу, в снегу, бросали, так как снега на выселке было много.

В свободное время она наверняка чем-нибудь занималась, без работы она не могла сидеть сложа руки.

Запомнила я сцену, когда она возвращалась с «зимовки», стоит у меня в глазах.



Она возвращалась на сани, которые везла Манька, в саних было сено. Волочушка сена нужна была, чтобы кормить корову до появления травы. Она уже проехала до нашей улицы, проехала тот мостик через речку Сарайную, а дальше ехать было невозможно — снега в посёлке уже нет, весна. Или мама сама прибежала к нам, или, скорее всего, кто-то сообщил нам о её приезде, и я побежала туда. Высыпали на помощь, впрягались и потянули возок с сеном, корова — в бороне. Мама рассказывала, как ехала в обратный путь, но я всё забыла. Знаю только, что ей было трудно. Надо найти сани, ярмо. Надо отчаяться в далёкий путь, женщине! Каково всё это! Может, мама приучала корову ходить в ярме ещё на Лагве, зимой. Подвозила сено на ней в деревню, сначала на короткое расстояние, а уже потом — в дальний путь. Всё это было трудно, горько, но кормилицу нашу — корову Маньку — спасла.

Вот какие шутки были в Неплюевке 1 апреля. Мою крестную Прасковью Степановну в детстве послали 1 апреля к соседям. «Попросили-де у них тасканцы (борону)». Ха! Ребёнку-то! Написали записку: «Пошлите дальше». Её спрашивали: «Что тебе надо, Паня?» — «У нас нету, иди к Плишкиным». Ходила она ходила, заплакала. Вот такая шутка была 1 апреля.

Март 1988 г.

### *Письмо восемнадцатое*

Кое-что из Неплюевки: была у нас клеёнка, на ней нарисован Военный Совет во главе с Кутузовым. Сидят они за столом, а внизу полукругом надпись: «Потеряна Москва, но не потеряна ещё Россия». Писала я о вкусном хлебе, добавь к тому о круглых оладышках. Жарили их в той сковородке, они были сдобные, жирные, обсыпанные сахарной пудрой. Обьедење! Но ели мы их 1-2 раза в год по большим праздникам. Чаше — после гостей.

На масленице катались. Молодые запрягут коня, конь разнаряжен, дуга крашенная, колокольчики, ленты, сбруя праздничные. Я тоже каталась в коробе с шиком, если запрягут спокойную лошадь. В коробе кроме меня были ещё кто-то из вас. А шутники-балагуры запрягли однажды верблюда, на саних укрепили шест, на шесте колесо, колесом управляет человек — едет и брызгает белой глиной во все стороны, словно верблюд плюёт. Люди поют, играют на гармошке, сзади толпа детей, смех, хохот, шум.

В один из свадебных дней «развозили красоту»: на какую-нибудь метлу повяжут ленты ярких цветов — символ красоты девичьей. И развезут её по улице, по белу свету — скоро её не останется...

В Неплюевке был писарь, писал очень плохо. Люди не могут разобрать, придут к нему, спросят, а он и сам не может прочесть, да и говорит: «Не знаю, не помню, давно писал, забыл». Это рассказывал дед.

### *Письмо девятнадцатое*

Здравствуй, шепутной братец, привет всем твоим. Везли нас с Неплюевки на Покровку очень долго, Нюра Вакушина утверждает, что мы сидели на станции Варна 13 суток, Лиза Старикова говорит, что в Полтаве сидели 9 суток, а потом 5 суток ещё в Златоусте. Катя Дудкина (в девичестве Артемьева) говорит, что их выселили в 1930 г., везли из Полтавского района, ныне Карталинского, в телячьих выгонах до Верхотурья поездом долго, неделю, а потом на лошадях до Сосьвы. Люди измучились донельзя.

На каждую семью при отправке разрешали 1 подводку. Наша подводка шла тяжело (10 человек семья, плюс пшеница в мешках). Привезли нас на станцию Варна на наших же лошадях. Подводки всех проверяли, искали что-то. Но у нас ничего не взяли, всё растрясли только, вот было работы маме с дедом: опять всё упаковывать, зашить. «Трогай, Саврасушка, трогай» (это уже Некрасов). Хорошо, что, пока ехали, не пошёл дождь, а то бы все сухари, пшеница пропали бы. Догола при обыске не раздевали, так как людей — сотни, все сидели на своих мешках.

На высылке строили временную электростанцию (ВЭС), кирпичи несли вверх на спине, по лестнице вместо крана. Так поднимали тяжёлую индустрию. Придут вагоны с кирпичом или ещё с каким грузом, — поднимают нас, выселенцев. Ночью ли, полночь — идём. Грузили лес в вагоны вручную. Я и другие женщины катим брёвна, а мужики закатывали их по «лежням» вверх, в вагон. Так и в дождь, и в снег, и всегда гнали грузить, выгружать нас, выселенцев. Голод, холод, тяжёлая работа, бесправные, беззащитные, безропотные и оплёванные. Ни денег, ни хлеба вдоволь. А денег столько, чтобы выкупить только этот мизерный паёк.

Рассказ со слов Екатерины Петровны Пакулиной. Жили они в Ленинградской области, в деревне. Она говорит, что ходила босиком и до сих пор не знает, за что их выслали в 1935 году. Видимо, за то, что был убит Киров, а они-то, деревенщина, при чём? Они его совсем не знали и не видели. Привезли их на Баяновку, после перевели на Покровку, а затем в Североуральск, где они жили рядом с нами. Трудились на разных работах, их мать работала на шурфах. На работу ходила пешком, далеко, очень тяжело. Детей у Пакулиных было четверо: Катя и 3 брата. В 1937 году их отца арестовали, увели ночью и с концом, как в воду канул (обычная история). Старший брат Саша спросил: «Мне тоже собираться?» При этих словах Катя заплакала. Тогда был сплошной погром, вот он и спросил так. Где, когда и какой смертью пришлось умирать отцу семейства — неизвестно. Два брата Кати ещё живы, а Саша умер 5 лет назад. Таким образом, это ещё одна «обезглавленная» семья, оставшаяся без отца. Пакулин убил Кирова! Ну, не смех ли это?! Да знал ли он о его существовании? Я думаю, он и стрелять-то не умел, разве только газом из попы. Ха! Какой из него убийца?!

Жил на СУБРе Булгаков, работал в геологоразведке, бывал в семье Линкеич (Линкеич — муж Вали Рыжковой). Булгаков рассказывал, как его в 1937 или в 1938 году арестовали. Он быстро вернулся, через 6-7 месяцев. Булгаков говорил, что «не подписал». А я думаю, наоборот, подписал какую-нибудь клевету, вот его и отпустили — свой человек. Но он рассказывал, что за это короткое время насмотрелся на многое. На пересыльных пунктах, в дороге их, арестантов, было очень много, тесно, душно. Если уйдёшь, потеряешь место, а место — на своём чемодане или мешке. Вши ползали по верхней одежде...

Анекдот той поры. Встретились два друга. Первый спрашивает: «Ну, как живёшь?» Второй отвечает: «Не знаю, говорят, что хорошо!»

### *Письмо двадцатое*

Из рассказа Анны Семёновны Кондиной. Они жили в Курганской области, семья — 10 человек, из них 6 — детей. Были 2 коровы, 3 лошади, 5 овец. Их взяли в колхоз, куда они всё-всё отдали. Осталась 1 курица, хлеб тоже выгребли. Прошёл год, и началось... Отца и старшего из детей посадили. Анне было 12 лет, ключи от амбаров отобрали, хлеб выгрузили и увезли, жить стало нечем. В 13 лет Аня пошла работать в лес, за неделю ей удавалось сэкономить 1 буханку хлеба, которую она приносила своей матери, бабушке с дедушкой и 6-летнему брату. В 1931 году их выслали, привезли в г. Курган сразу 18 семей, выгрузили, и целый месяц они жили под открытым небом. «Чем питались, где варили?» — спросила я. Плача, отвечает: «Не знаю». Всё было огорожено, охрана. Анна ходила на работу (пропускали), но за работу ей не платили. Дед вылез в дырку и на базаре купил 2 калачика хлеба и арбуз. При возвращении был схвачен.

Схватившие хотели всё отобрать, но нашёлся добрый человек, и деда отпустили. Позже семью перевели в Надеждинск (Серов), жили в бараке, где было много блох, вшей, клопов, тараканов.

Рассказ Анфузы Васильевны Степанушко: её отец Бадагазин Василий Тихонович и мать Анна Фёдоровна жили в Свердловской области, в деревне Ивановка. Крестьяне, семья из 5 человек, имели 3 коровы, 2 лошади, овцы, куры. И вот пришли годы коллективизации, организовали коммуны. С вечера до утра

держали в сельсовете — пиши заявление. Утром отпустят, так как надо на работу. На следующий день снова то же самое. И так до тех пор, пока не станешь коммунаром. В коммуне пробыли зиму, а весной начали выходить из неё. Там остались только бедняки-лентяи. Выйдя из коммуны (колхоза), мало чего получили обратно. Сдавали 2 лошади, а вернули одну, да и то чужую. Хозяин этой (чужой) лошади начал сердиться, и отец Анфузы от неё отказался. В итоге остался вообще без лошадей. Осенью в другом конце их деревни организовали артель. При входе в артель была опись скота, и отец Анфузы попросил, чтобы одну старую овцу не записали. Об этом узнали и решили, что он умышленно эту овцу зарезал и съел. Придрались к этой овце и выгнали из артели. И сразу же пришли с описью. За эту овцу обложили налогом в 50 рублей, а денег нет. На следующий день были торги, пришлось продать скатерти, полотенца, подушки, швейную машинку. Продавали всё дёшево, поэтому за 50 рублей повезли целый воз, семью оставили голой, даже подушек не осталось. После отца и сына 17 лет отправили на лесозаготовки, пробыли они там зиму. Начальник предлагал остаться, говорил, что всё равно в деревне жить не дадут. Но отца тянуло в свою деревню, и он вернулся. Через неделю арестовали. Со всех деревень «таких» сгоняли в одно место, затем погнали пешком до г. Ирбита 70-80 км, колонна была большая, конца не видно. Вели под конвоем, охрана на лошадях, с оружием, как врагов. Анфуза заплакала, рассказывая это. Я — тоже.

В Ирбите им «повезло», отца из-за грыжи отправили работать на железную дорогу, а других — в леспромхоз, где было намного хуже. Мать Анфузы все эти годы (около 3-х лет) жила в своей деревне. Работала больше, чем коммунары, а получала меньше. Отец собрал и выслал семье 50 рублей. Узнали и мать отправили в сельсовет. Стучали по столу кулаком, крича: «мы их сослали на смерть, а они ещё и деньги шлют...» Позже брат матери ночью, втайне увёз сестру с 3 детьми к отцу. А дальше что? Отец семейства пошёл к коменданту (документов у них не было), и их зачислили как в спецсылку. Шёл уже 1933 год.

Вспомнила, наш дед шутил: язви её, смерть эту, вить рядом была, за Кочубеихой приходила, а за мной не пошла. В босоножках была, язви её-то, вот и побоялась ко мне зайти через дорогу по сугробу.

Ваня (глухонемой брат Иван) работал сторожем на дровяном складе. Делал так: брал с собой свою собачку Муму и спал с ней в обнимку. Если кто на складе появился — Муму залает, Иван проснётся.

# КРАЕВЕДЕНИЕ

**Владислав Семёнов**

## Гигантомания

*Из истории российского камнерезного дела*

### На Екатеринбургской гранитной: вместо предисловия

Отгремела Отечественная война 1812 года. С триумфом вернулись из Парижа русские воины. Победа, одержанная над наполеоновской армией, торжество народа-победителя вызвали в стране рост патриотических идей, получивших яркое выражение в литературе, искусстве, архитектуре. Торжественными, героическими началами были наполнены в эти годы все сферы художественной деятельности, особенно архитектурное и монументально-декоративное творчество. Зримым воплощением этих начал стали градостроительные ансамбли, создаваемые в столице. Санкт-Петербург строился с размахом, незнакомым в эти годы ни одной европейской столице, с целью превзойти их все по красоте и величию.

Прокладывались проспекты, создавались величественные площади, одевались в гранит набережные, возводились крупные общественные и административные здания, строились новые городские и загородные дворцы, реконструировались старые.

Изрядно оскудевшая за годы войны государственная казна, не отказывающая в огромных средствах на строительство в столице, хотя и не сократила ассигнований на камнерезное дело, но заставляла рачительнее относиться к суммам, выдававшимся на прииск камня, а применительно к добыче уральских яшм вообще свела их на нет. Екатеринбургскую фабрику заставляли довольствоваться сырьем, добытым ранее; в исключительных случаях разрешалось вести добычу в экономически выгодных условиях, на опробованных месторождениях, не озадачиваясь поисками новых.

Отношение к камню стало рациональней. До войны (в воронихинское время) не брались во внимание ни малая блочность, ни сильная трещиноватость отдельных яшм, ни значительная удаленность месторождений от центра обработки, ни высокий процент отходов на каменоломнях, ни дороговизна доставки. Главным были красота, необычность рисунка и цвета. Сейчас на первое место выступили качественные характеристики.

В эти годы внимание Кабинета переключилось на алтайские камни. Алтай поражал воображение современников огромными монолитами ревневской яшмы и коргонского порфира. Казалось, что сама природа здесь шла навстречу «триумфальному» стилю камнерезного искусства, отвечающему архитектур-

---

Владислав Семёнов — член Российского минералогического общества, действительный член Московского общества испытателей природы при Московском государственном университете. Автор книг серии «Камни Урала», «Старый Екатеринбург», «Изумрудные годы мира» и др. Живет и работает в Екатеринбурге. Нынешняя публикация является главой из будущей книги (в соавторстве с Е.В. Семеновой), посвященной яшме.

ным веяниям времени. В отличие от уральских каменоломен классических пестроцветных яшм, отдаленных от центра обработки на 500–600 верст, алтайские ломки находились в сравнительной близости от своей фабрики, почти в 30 верстах. Камень, принимавший здесь в те годы за яшму, на самом деле был далек от классических яшм, в обработке более податлив, обтесывался долотами, легче пидился, сверлился, быстрее шлифовался и полировался. В качестве абразива в работе с ним пользовались местными кварцевыми породами, заменившими дорогостоящий привозной наждак. Да и труд на Алтае ценился значительно ниже, чем на Урале, эксплуатация была безжалостной.

В итоге затраты на изготовление какой-либо вещи из местного камня в алтайской мастерской оказывались меньшими, чем на Екатеринбургской фабрике, работавшей с классической яшмой. Выгоды переноса центра камнерезного дела на Алтай были налицо.

Не случайно в эти годы Кабинет его императорского величества (далее Кабинет), в чем ведении находились камнерезные фабрики, уделяет большое внимание техническому состоянию Колыванской фабрики, а в 1820 году санкционирует строительство при ней особой специализированной «коLOSSальной фабрики» для обработки крупных вещей. И сразу же здесь стали обрабатываться чаши от трех до пяти метров в диаметре и трехметровые колонны.

На Уральской фабрике с яшмой в эти годы конкурируют авантюрин, махит, амзонит, орлец, письменный гранит, аятский порфир. Некогда богатая палитра яшмы сводится практически к четырем видам: кошкульдинской, маломуйнаковской (*ямской*), беркутинской и калканской. Уразовская (*мясной агат*), каменно-врайская (каменно-овражская, она же орская), каминная, калиновская яшмы и превосходная, с желтыми, коричневыми и светло-зелеными пятнышками чебачья (*чебачек*) сошли со сцены. Реже, чем прежде, применяется аушкульская: в малых формах она была хороша, а в больших повела себя неожиданно — крупные плоскости изобиловали пустотками и не поддающимися полировке вкраплениями (мякотинами). Преобладает калканская, которую мы видим и в большинстве известных нам листов архитектора Росси, и в немногих доведенных в эти годы до конца вазах и чашах (особая симпатия Росси к зеленому камню объясняется, скорее всего, состоянием сырьевой базы уральской яшмы этого времени и продиктована возможностями производства).

Нового делается мало. Работают преимущественно по старым («строгановским») чертежам.

Отправка камня в Кабинет возобновляется только с 1815 года, когда с мартовским караваном золота и серебра в сопровождении мастерового Герасима Палкина отправляют чашу из калканской яшмы, вазу из «камня агата № 37» (яшмы горы Кур-ятмас) и сорок яшмовых черенов для столовых приборов. В том же году с таким же караваном в сопровождении мастерового Петровского (имени его отыскать не удалось) отправили две вазы из яшмы («камня № 78» — каиповская яшма), резную чашу из калканской яшмы и двенадцать черенов *икакетурной* — резной работы из яшмы («камня № 58» — яшма горы Укыташ), сделанные под наблюдением мастера Я.В. Коковина. В феврале 1822 года с Коковины посылают вещи, сделанные на фабрике с декабря 1815 по ноябрь 1821 года; яшмовых среди них не было. В 1823 году в Санкт-Петербурге встречают чашу «эллиптовую резную» из калканской яшмы (несомненно, одна из чаш, спроектированных в 1818 году Росси). В 1830 году в Кабинет отправляют большой жардиньер из кошкульдинской ленточной яшмы — одну из наиболее крупных работ фабрики за все это время.

Свидетельство о караванах последующих лет, вплоть до 1835 года, отыскать пока не удалось.

За двадцать лет (1815–1835) сделали и отправили в Кабинет очень немного. Из кошкульдинской яшмы: большой жардиньер, значащийся в описи как «чаша из яшмы на пьедестале из беркутинской яшмы», и две дорические колонки, из которых сделаны подсвечники, хранящиеся в фондах Екатерининского дворца-музея в городе Пушкине. Из аушкульской яшмы: три пары ваз — две пары украшают

зал голландского искусства в Новом Эрмитаже, одна — его Халтуринскую лестницу; две пары чаш и еще одну чашу. Одна ваза сделана из яшмы горы Кур-ятмас. Из калканской яшмы: большая ваза, подаренная в 1834 году А.Х. Бенкендорфу; пять круглых vaz; пара резных квадратных в плане чаш *икалнетурной* работы — одна из них хранится в Минералогическом музее имени А.Е. Ферсмана Российской академии наук; еще пара резных круглых чаш; две пары гладких круглых чаш; круглая резная чаша на пьедестале зеленого порфира; две богатые резные эллипсовидные в плане чаши, судьбу которых проследить не удалось. Из разных яшм: две столовые наборные доски, 197 *антиков* — резных камней, среди которых какое-то число яшмовых, 235 яшмовых черенков к столовым приборам, десять табакерок, две сувенирные книжечки из яшмы и амазонита, курант с пестом, сделанные по заказу Академии художеств (заслуживает внимания потому, что это единственный заказ со стороны, зарегистрированный в делах фабрики за эти годы). Всего, не считая черенков, камей, табакерок и куранта, сделано 24 вещи средних и крупных размеров по четырнадцати заказам, в то время как для одной только яшмы фабрика получила за эти двадцать лет 98 заказов.

Большой комплект проектов vaz, чаш, каминов из яшмы получают здесь в 1823 году. Среди них часть заново утвержденных рисунков, доставшихся в наследство от строгановского времени. Под № 3 этой группы листов значится проект чаши из калканской яшмы с ножкой, обвитой виноградной лозой, работа над которой велась до 1851 года. Все эти проекты пролежали без движения на протяжении десятка лет. В 1828 году Кабинет присылает следующую серию чертежей, подписанных И.И. Гальбергом. Больше половины этих листов остались лежать втуне. В 1836 году их пересматривают, часть заменяют новыми рисунками того же автора. Среди листов 1828 и 1836 годов имеются и новые редакции чаши с виноградной лозой.

Причина, которой здесь оправдывали промедления в работе, была одна: «за неимением камня» нужного размера, рисунка или цвета.

Кабинет иногда заменяет рисунки, примеряясь к другим камням. Так обстоит дело с одной из чаш по проекту Гальберга. Чертеж прислали в 1828 году, но камня к нему не нашли. В 1836 году рекомендовали фабрике заменить камень. Но в конечном счете лист пролежал до 1860 года, когда его извлекли из архивных завалов и запросили разрешение пустить в работу. Возможность таких метаморфоз всегда приходится иметь в виду, реконструируя историю памятников уральского камнерезного искусства.

Бывали случаи, когда работы останавливались на самой середине. Так произошло с интересно задуманной и успешно начатой дарохранительницей для собора Смольного монастыря.

В сентябре 1834 года Кабинет поручает архитекторам А.П. Брюллову и К.А. Тону составить (каждому свой) проект дарохранительницы с учетом двадцати четырех колонок, сделанных ранее екатеринбургскими мастерами из темно-красной яшмы высотой 0,350 м (7 ½ вершка) и хранящихся в кладовой. Побеждает в этом конкурсе Тон. Его чертеж вместе с колонками отправляют на фабрику. Правда, здесь вместо обещанных двадцати четырех получают почему-то только девять колонок, к тому же две в склеенном виде, а семь основательно поврежденных.

К колонкам предстояло сделать каменный грот. Тон писал: «Надо под храмом сделать высокую горку, из разных хороших сибирских камней, а внизу оной грот для ковчега. Полагаю, что исполнить сие всего удобнее тем самым способом, как украшаются на уральских заводах цветными камнями обыкновенные образы, или иконы, в числе этих камней должны преимущественно находиться: вениса (гранат. — В.С.), топазы (горный хрусталь — В.С.), аквамарины, шерлы (турмалины. — В.С.), тяжеловесы (топазы. — В.С.), аметисты, горный хрусталь, амазонский камень, цирконы, малахиты, красные яшмы, ониксы, халцедоны, наетки бурога железа, охрусталованные кварцы, особенно с золотом, железные блески, красный, зеленый и синий свинцовый шпат и вообще всякого рода разноцветные камни с кристаллизацией, имеющие приятную и блестящую наруж-

ность и притом, в небольшом виде, чтобы с удобностию могли быть наклеиваемы, без примет пород. Количество сих камней должно быть так велико, чтобы оными наполнено было пространство по крайней мере около двух квадратных саженей».

Подбор камней возлагают на командира фабрики Я.В. Коковина. Каждые семь дней он должен был докладывать горному начальнику о ходе работ. В ноябре 1834 года Коковину разрешают предпринять специальную экспедицию за камнями. Но по разным причинам экспедиция эта тогда не состоялась, а там, в связи с переменами, происшедшими на фабрике, с обнаруженными в ее управлении беспорядками, Коковина отстраняют от службы (15 февраля 1834 года), и работа глохнет. И только в феврале 1835 года все двадцать четыре колонки были готовы, отправлены в столицу, где их тотчас передали золотых дел мастеру Кейбелю для сборки.

Что же касается грота, то в связи с изменившимися планами украшения собора собранные к тому времени камни, в том числе богатую коллекцию изумрудов, передали в музей Горного института.

При знакомстве с архивными материалами этих лет не покидает ощущение какого-то неблагополучия, переживаемого Екатеринбургской фабрикой в технике, в состоянии сырьевой базы, в финансировании, в руководстве предприятием со стороны как самого Кабинета, так и со стороны екатеринбургского горного начальства и самого командира фабрики.

Техника ветшает. Год за годом откладывается задуманная и столь необходимая перестройка здания и реконструкция машин. Горное начальство настаивает на переносе фабрики за черту города, в село Елизавет, на речку Патрушиху. Командир Коковин, вопреки мнению рабочих, единодушно выступивших против этого плана, не желая портить отношения с местными властями, держит сторону горного правления. Кабинет же, в течение двух десятков лет не в состоянии прийти к определенному решению, оставлял фабрику на перепутье.

Удерживая фабрику под своим началом, Кабинет вводит режим жесточайшей экономии, начав с упразднения некоторых сложившихся уже традиций, которые были сочтены расточительными. С сентября 1814 года было прекращено обучение гранильному и чертежному делу. С марта 1818 года запрещено принимать частные заказы. С этого же года фабрика специализируется на обработке только твердого камня, исключение делается лишь малахиту (мрамор, как и прежде, обрабатывается на Горношнитском мраморном заводе). Упраздняются все ранее отработанные формы взаимодействия фабрики с кустарями. Единственное, что остается, — право продать кустарю яшму (пуд по цене 1 рубль с доплатой 12% с каждого рубля в пользу фабрики; покупали изредка по 10 пудов, не более). В завершение всего в 1820 году сокращается пятая часть мастеровых.

Катастрофическим стал 1831 год — почти на шесть лет он отбросил обработку яшмы назад. Это был год самой сенсационной в истории русского камня находки — открытия уральского изумруда. С этого времени фабрика рассматривается Кабинетом как приисковое предприятие по добыче и обогащению изумруда. Все силы были брошены на копи, наиболее способные мастера превращены в ограничikov, выполнявших заказы Кабинета и министерства уделов.

Трудно перечислить потери, которые понесла уральская обработка яшмы в это сложное для фабрики время.

### Гигантомания: несостоявшийся сфинкс

Появление понятия «колоссальные вещи» в лексиконе русских камнерезов объясняет характер перемен, произошедших в эти годы на обработке яшмы.

«Фабрика колоссальных вещей» была построена в 1820 году на Алтае, при Колыванской шлифовальной фабрике. Обрабатываемый здесь местный камень на какое-то время изрядно потеснил классические (кварцевые) яшмы Урала.

Обработка алтайского цветного камня была начата еще в 1786 году на Локтевском сереброплавильном заводе. В 1802 году производство было переведено

в Колывань (ныне рабочий поселок Горная Колывань Курьинского района Алтайского края). Здесь, в живописной глухой местности, в корпусах упраздненного в 1799 году медеплавильного завода, у подножия горы Синюих была построена шлифовальная фабрика, кабинетское предприятие, которому принадлежала монополия в обработке сибирских цветных камней и в создании крупных вещей из камня. Главная задача фабрики заключалась в обработке превосходных алтайских окремнелых порфиров и их туфов, считавшихся яшмами, метаморфизованных сланцев. Были здесь встречены породы белого цвета с черными дендритами, черные с редкими белыми точками, риддерские зеленовато-синие струйчатые с розовыми пятнами, ревневские с пестрым узором зелено-желтых лент. Из всех этих материалов, особенно из ревневского камня, на Колыванской фабрике делали большие вазы, чаши, колонны, камины. Только за сто лет истории фабрики, с 1802 по 1902 год, в столицу было отправлено 247 ваз, 74 колонны, 33 камина, 21 канделябр, несколько сот различных мелких вещей.

Произведения из алтайских камней экспонировались на всемирных выставках в Лондоне, Париже, Вене. Одна из ревневских ваз получила высокую оценку жюри Всероссийской художественно-промышленной выставки 1882 года, награждена дипломом первого разряда и вскоре была подарена городу Парижу. В 1893 году алтайские вазы и другие изделия из цветных камней, представленные на Всемирную выставку в Чикаго, были награждены бронзовой медалью и дипломом.

Центральным произведением колыванских мастеров справедливо считается огромная чаша из ревневской яшмы, известная в литературе под названием *Царица ваз*. В мире нет другой такой огромной вазы из твердого камня. Ни Древний Египет, ни античная Греция, ни императорский Рим не создали подобного.

Делалась *Царица ваз* на «Фабрике колоссальных вещей», уникальной и, несомненно, единственной в современном ей мире специализированной мастерской по обработке крупных яшмовых вещей.

Одним из назначений новой фабрики было изготовление монолитных яшмовых колонн. В 20-х годах здесь было устроено два «колонных станка», а в конце 50-х годов фабрика реконструировалась под одновременную обработку четырех колонн. Материалом была все та же ревневская яшма (реже — коргонский порфир). С 1822 по 1847 год были сделаны 22 трехметровые яшмовые колонны; три пары — с 1822 по 1827 год.

Конечно, колонны — это не чаши, не вазы; формы их просты, рациональны, технология изготовления бесхитростна и утомительно однообразна. Но много ли мы знаем в мире яшмовых колонн, выточенных из монолитов!

В Эрмитаже, главной сокровищнице русской яшмы, таких колонн в настоящее время десять. Две стоят по сторонам трона в Петровском зале, реставрированном в 1838-1840 годах В.П. Стасовым и А.П. Брюлловым. Нынешние колонны поставлены в пору этой реставрации и сменили пару таких же колонн, установленных О.Р. Монферраном и пострадавших при пожаре 1837 года (на выставке графики Монферрана, состоявшейся в 1986 году в Эрмитаже, демонстрировался проект Петровского зала, датированный 1827 годом). Восемь таких же колонн украшают зал средневековой итальянской живописи Старого Эрмитажа.

До пожара три пары таких же колонн стояли у дверей Колонной, или Парадной приёмной императрицы Марии Фёдоровны. Наконец, было ещё немало планов, связанных с проектированием и изготовлением таких колонн для дворцовых и культовых зданий России. Словом, яшмовые колонны — это целая глава в истории обработки русского камня.

История яшмовых колонн Старого Эрмитажа восходит к 1819 году. Тогда в Колывани вели поиски камня для пары трехметровых колонн. К 1830 году их было сделано восемь. 5 августа 1830 года был получен заказ на новую пару. В феврале 1834 года колонны были готовы и сухим путем — привычной транспортной дорогой — доставлены на Уткинскую пристань. В столицу им предстояло следовать водой. За доставку взялися екатеринбургские купцы первой гильдии Александр Зотов и Петр Харитонов. На своих судах они доставили цен-



ный груз к кабинетским складам на Неве, выгрузив его 2 августа у стен Петропавловской крепости.

Ещё по колонне было сделано в 1837 и 1838 годах. В 1838 году фабрика получила предписание сделать ещё две пары колонн. Почти на два года из-за этого заказа были остановлены все работы над «седмиаршинной чашей» — всех мастеровых заняли на поисках четырёх «колонных камней», все они в течение двух лет выламывали, тесали долотами добытые камни. В 1840 году одна пара была готова. Одну колонну оставшейся второй пары закончили лишь спустя четыре года, в 1844 году. Окончание второй пары затянулось до 1855 года. Дважды за это время, сначала в 1842, затем в феврале 1843 года, Кабинет требовал объяснений задержки выполнения заказа. В 1852 году из Колывани сообщили, что к заказу 1834 года «при всех стараниях добыто только три куска камня». И только между 1852-1854 годами четвертый камень был найден, обработан, а 17 февраля 1855 года долгожданную колонну приняли в Кабинете.

В 1845 году Николай I распорядился из присланных колонн четыре отправить в Рим, в Ватикан, в дар папе Григорию XVI. По вине бронзовщиков, работавших над вызолоченными бронзовыми базами и капителями, с отправкой их несколько задержались; когда же судно, взявшее на борт этот драгоценный дар, вышло из Кронштадта, в Санкт-Петербурге получили известие о кончине папы. Рейс был прерван, и колонны возвратились в кладовую.

В марте 1853 года министр уделов граф Л.А. Перовский поручил архитектору А.И. Штакеншнейдеру осмотреть хранящиеся в кладовой восемь колонн, склониив императора употребить их на убранство одного из помещений Нового Эрмитажа.

В октябре 1857 года Штакеншнейдер вновь просил Кабинет передать эти восемь колонн в его распоряжение «по случаю ведения строительных работ в здании Нового Эрмитажа для установки их в парадном зале». Просьба была исполнена, и вскоре строительная контора министерства императорского двора отправила все восемь колонн на Петергофскую гранильную фабрику, чтобы освежить их полировку. 8 февраля 1858 года работы были окончены.

Эти колонны мы и видим в здании Старого Эрмитажа, в зале средневековой итальянской живописи.

Новый заказ был связан со строительством в Москве храма Христа Спасителя. Предложение украсить яшмовыми колоннами три главных входа в храм (по шести колонн у каждого входа) родилось в 1852 году. По замыслу архитектора К.Л. Тона, эти колонны, в отличие от всех прежних, должны были иметь базы и капители из яшмы.

10 октября 1852 года московский генерал-губернатор граф А.А. Закревский от имени «Комиссии для строения в Москве храма во имя Христа Спасителя» просил Перовского ознакомить с этим предложением императора. Комиссия надеялась разместить заказ в Колывани. Тон тогда же сделал запрос колыванскому горному начальству о возможности исполнения заказа, указав высоту колонн 4 аршина 2 вершка. Из Барнаула ответили согласием. Срок, который мог бы удовлетворить их, — 10-12 лет.

3 октября Кабинет предписал приступить к тщательной разведке Ревневского месторождения и к добыче восемнадцати монолитов размером немногим более трех метров.

Тон настаивал на выполнении заказа за 8 лет. Кабинет принял сторону архитектора с незначительной поправкой: заказать в Колывани восемнадцать яшмовых колонн, которые должны быть сделаны за девять лет. Точкой отсчета был объявлен январь 1856 года.

В октябре в Барнаул отсылается детальный рисунок, сделанный Тоном.

В 1857 году в Москве уже приняли первую пару колонн «со всем к ним прибором» (базами, капителями, пирами) ценой 4373 руб. 50 коп. В последующие пять лет здесь регулярно получали по паре колонн.

1 февраля 1863 года Кабинет распорядился прекратить работы над колоннами, хотя сделали их только двенадцать. Причину этого неожиданного поворота

удалось отыскать в материалах «Комиссии для строения...», хотя она не может быть принята за уважительную, и дело, очевидно, заключалось в чем-то другом. Объясняется же это так: «...при постепенной доставке этих колонн в Москву, оказались в материале углубления и трещины... И так как в то время на фабрике приготовлено было только 12 колонн, а остальные шесть еще не начаты, то государь и приказал ограничиться этим количеством; остальные же шесть колонн — сделать из Лабрадора». Таким образом, яшмовые колонны украсили северные и южные двери храма, в западных были установлены колонны из лабрадора.

Не прошел мимо возможности использовать колонны из ревневской яшмы в архитектурном убранстве своей постройки и О.Р. Монферран, прославленный строитель Исаакиевского собора. В ноябре 1852 года он запросил Кабинет сначала о том, не сочтут ли здесь возможным подобрать два монолита шокшинского кварцита для изготовления двух колонн к царским вратам Большого иконостаса собора. Пригодного не оказалось, и Монферран делает второй запрос, на этот раз о возможности изготовить колонны из «сибирской яшмы» высотой 6 аршин 14 2/8 вершка, нижним диаметром 14 вершков и верхним — 12 вершков, — размеры эти превосходили все известные донные яшмовые колонны. Неудивительно, что в ответ сообщили: «... донные колонны из яшмы делались только в Кольвани из зелено-волнистой ревневской яшмы и они не превышали 4 аршин 1/4 вершка (трех метров. — В.С.), что до серовато-фиолетовой коргонской яшмы (порфира. — В.С.), то по опыту известно, как затруднительна добыча кусков оной даже в эту величину...»

И все же из Кабинета запрос Монферрана послали в два места — в Екатеринбург и горному начальнику Алтайских заводов Соколовскому.

19 декабря 1852 года Соколовский писал в Кабинет о том, что такая работа может быть выполнена из ревневской яшмы. О состоянии сырьевой базы на фабрике он сообщал: «...на ревневской каменоломне, сколько мне известно, ныне не было добытых камней значительной величины, но месторождение яшмы еще далеко неистощено и та часть разнosa каменоломни, где добыта 7-аршинная чаша и вышеозначенный камень, представляет обнажение плотной, твердой, малотрещиноватой породы, из которой едва ли нельзя будет добыть колонны, ныне требующиеся для Исаакиевского собора».

Из Екатеринбурга ответил директор фабрики И.И. Вейц: «...В показанную на рисунке величину при вверенной мне фабрике в запасах яшмы не имеется и в известных яшмовых добычках, находившиеся по сие время со стороны фабрики, камни такого размера никогда не попадались».

Решено было остановиться на ревневской яшме. И 30 сентября 1853 года Кабинет предписал кольванцам приступить к разведке камня.

Как разворачивалась эта история в дальнейшем — неизвестно, ясно лишь, что колонны для царских врат были, в конечном счете, сделаны из лазурита на Петергофской фабрике.

Последний в истории яшмовых колонн проект, правда, оставшийся на бумаге, относится к числу наиболее масштабных и отражает то и дело прорывавшуюся в восприятии камня на протяжении всей второй половины XIX века склонность к гигантомании.

12 июня 1868 года Кольвань была озадачена очередной прихотью императорской четы: «...Для Золотой Гостиной Ея Величества Государыни Императрицы Марии Александровны в Зимнем Дворце заказать на Кольванской шлифовальной фабрике яшмовые колонны». Ни много ни мало — двадцать колонн!

Два варианта колонн и планов их размещения были сделаны в тот же день Штакеншнейдером. По одному высота колонн (фустов) равнялась 4 аршинам 6 1/3 вершкам, по другому — 3 аршинам 8 вершкам. Естественно, что фабрика остановилась на втором варианте. Но даже при этом «малом» размере колонн заказ был огромен и, по мнению кольванцев, мог быть выполнен не менее, чем за четырнадцать лет. Из них четыре года надо было затратить на поиски и добычу камня, остальные десять лет на обработку, делая по две колонны в год. Реальным этот план мог быть только при основательной реорганизации всего

производства: капитальной чистке каменоломни, проведении дополнительных разведок, устройстве при каменоломне на речке Луговушке мельницы с водоемствующим колесом для распиловки камня, перестройки «Фабрики колоссальных вещей» так, чтобы здесь можно было одновременно обрабатывать четыре колонны, а не две, предполагалось к обработке колонн приспособить основное здание фабрики, увеличить число мастеровых за счет перевода рабочей силы с рудников и заводов или за счет найма вольнонаемных крестьян, свободных от полевых работ, труд которых можно было бы использовать на каменоломне и на фабрике под началом искусных мастеров.

С остановкой работ для храма Христа Спасителя в 1863 году расчеты стали оптимистичнее. Предполагалось сделать всю работу за четыре года — по пять колонн в год! В подсчете расходов исходили из средней суммы в 2500 рублей серебром за штуку, учитывая, что вольнонаемным достаточно платить на каменоломнях работах от 35 до 40 копеек в день, бурильщикам — по 7 копеек за пройденный буром вершок, на камнерезных работах — зимой по 30, летом — по 50 копеек в день. В затраты включались расходы на наждак и «котельное железо» (по 100 пудов в год того и другого). После всех корректировок стоимость колонны достигла 3000 рублей, а всей работы — 60 000 рублей серебром.

Гостинная становилась по-настоящему золотой!

Один из курьезов в истории русской яшмы — несостоявшийся сфинкс.

Самый цвет русской художественной мысли, не считая доброго десятка чиновников горного ведомства, был вовлечен Кабинетом во главе с министром князем Волконским в затею, нелепость которой мешало признать только то, что самым горячим инициатором и покровителем ее был лично Николай I, мнивший себя тонким знатоком и покровителем изящных искусств — русским Медичи.

Начало истории восходит к 1822 году. В этом году в Ревневской каменоломне обнаружили и частично даже успели отделить от материнской основы монолит длиной более 6 м (9 аршин), шириной до 3,5 м (от 3  $\frac{1}{4}$  до 5 аршин) и толщиной около 2,5 м (от 2 до 3  $\frac{1}{2}$  аршин). В Кабинет немедленно были посланы абрисы монолита и деревянная модель. В рапорте, прилагавшемся к посылке, настойчивым рефреном звучало: «Найденная глыба подает надежду на сделание из оной какой-либо колоссальной вещи, тяжестью по примерному расчету около 6 000 пудов».

Но в работе находилась «седмиаршинная чаша», и соблазна взяться за новый монолит на первых порах не возникло. Но как только с «царницей» было покончено, о находке вспомнили. В ноябре 1850 года Кабинет поручил Тону подумать о возможном использовании монолита. Тот предложил вырезать из него огромную фигуру лежащего сфинкса. Рисунок Тона был показан императору. Идея захватила монарха. Во дворец был спешно приглашен скульптор барон Клодт. Прославленному анималисту поручили вылепить в натуральном размере голову сфинкса и в уменьшенном — всю его фигуру. В Колывань же последовало распоряжение доставить монолит в Санкт-Петербург, не считаясь ни с какими издержками.

Неизвестно, что остудило голову монарха, но вслед за первым предписанием было отправлено второе. По нему колыванцам надлежало самим изготовить «тигра» (не полагаясь, очевидно, на образованность своих адресатов, Кабинет заменил в переписке с Алтаем «сфинкса» на «тигра»). Начальник Алтайских заводов Соколовский осторожно доносил в Кабинет, что он сомневается в возможности выполнить такую работу силами местных камнерезов. «Хотя там и есть сведущие мастера, — писал он, — которые отчетливо делают вазы, колонны и прочее, но чтобы изваять удовлетворительно фигуру тигра, требуется художник, которого фабрика не имеет». В поисках доводов, которые помогли бы ему отвести от фабрики этот заказ, он прибегает еще к одному: «Изготовленную фигуру при пересылке придется тщательно укупорить, и вес этой укупорки сделает доставку невозможной». Его предложение сводилось к тому, чтобы здесь, в Колывани, обработать монолит вчерне, обтесав долотами, и переправить заготовку в

распоряжение петергофских мастеров и столичных художников. Трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы в очередном рапорте Соколовский не сообщил, что при детальном осмотре монолита он лично усмотрел в камне трещину, которая, по его мнению, проходит через всю толщу и «несомненно увеличится при обработке и отторгнет от монолита значительный кусок».

Верить в это в Кабинете отказались и потребовали тщательной проверки. Не желая разочаровывать кабинетскую администрацию, Соколовский писал, что трещина, в конце концов, не порок и что «при выгодном положении голова и шея зверя отделятся от его туловища и пришлось бы на крупную часть камня, другие же части фигуры придутся на трещиноватую часть». Но тут же предлагал сделать фигуру цельной из более крупной части камня, находя это более выгодным, «поскольку, разбив камень по трещине, тем самым уменьшим вес камня, что сделает работу над фигурой удобнее».

Но как раз вес-то и не хотелось терять Кабинету. Для обсуждения рисунка с нанесенными трещинами и рапорта Соколовского было создано совещание. В числе приглашенных присутствовали Клодт и Тон. Оба они не приняли Соколовского всерьез, заявив, что в таком крупном монолите трещина может идти вглубь не более чем на полтора аршина и для решения проблемы достаточно поискать другое положение фигуры с учетом потери какого-то обломка. Увеличить же массу финикса можно будет за счет плиты из шокшинского кварцита или сердобольского гранита, который может быть подложен под лежащую фигуру.

Император был доволен результатами совещания.

На Алтай последовало решительное предписание приступить к основательной расчистке камня. А здесь, в Санкт-Петербурге, форсировали разработку модели. Работу поручили скульптору И.И. Теребеньеву, автору знаменитых атлантов из сердобольского гранита у портика Нового Эрмитажа. Приглашенный для «составления сообразно величине камня рисунка спящей Египетской фигуры» Теребеньев, наученный опытом в работе над атлантами, оказался осторожнее Клодта и Тона: «Мне самому пришлось испытать, как при обделке камня хотя с незначительною трещиною, но от сотрясения при обработке сам собою отделяется», — писал Теребеньев в записке, адресованной в Кабинет. Не разделяя оптимизма своих коллег, он предложил воздержаться от разработки модели до тех пор, пока не разъяснится проблема с трещиной.

Между тем в Кольвани к декабрю 1851 года монолит был расчищен, трещина обнажена по всей длине. Ее залили водой. Через восемнадцать часов вода проступила на противоположной стороне камня. Нехитрый эксперимент повторили несколько раз — сомнений не было: трещина делила камень на две неравные части. К тому же вода вскрыла многочисленные ранее не замеченные трещины, секущие камень в различных направлениях. Вывод был неутешительным: «едва ли открытый камень будет годен на колоссальную вещь», — писали в Кабинет. И тут же, уловив настойчивость, с которой Кабинет цеплялся за монолит, обнадеживали тем, что при желании камни такого размера могут быть найдены на каменоломне, достаточно лишь поискать.

Казалось бы, на том дело с монолитом и закончится. Но Кабинет упорно держится за императорский замысел и в феврале 1852 года созывает Совет Академии художеств. Академикам предстояло решить, «что можно из сего камня сделать по разделению на две части по трещине». Профессора Брюллов, Витали, Клодт, К. и А. Тоны вынесли следующее определение: «Из большого куска его сделать пьедестал, дабы менее терять его величину и более иметь возможности избежать имеющихся в нем трещин, а меньший камень вовсе не обделывать, так как в нем весьма много недостатков».

Решение было соломоновым.

Можно предположить, что император не был доволен. Кабинет же счел профессорское «определение» издевкой и принял свое, «отличное от господ профессоров мнение сделать рисунок вазы-Медицис для большого куска камня и для малого другой формы вазы, но наперед прислать художнику модель и краткую записку». Идея пьедестала была отвергнута здесь по одной только причине:

«Если сделать из такого камня пьедестал, то надобно долго искать художественного предмета, который мог быть бы поставлен на столь колоссальный и драгоценный пьедестал, и поэтому справедливее было бы составить для большого куска вновь более достойные предложения».

Император, не полагаясь более ни на министра двора, ни на «господ профессоров», в марте 1852 года выдал свое личное «определение»: «Высочайше повелено испытать, не выйдет ли фигура тигра (вот навязчивая идея! — В.С.) из одной части по прежнему рисунку, но в меньшем виде». П.М. Волконский рекомендовал императору передать работу над «тигром» скульптору Н.С. Пименову, а разработку проектов ваз или чаш из меньшего куска архитекторам Н.Л. Бенуа и А.И. Кракау. Но Николай I потребовал оставить разработку модели за Клодтом и Тоном, включив в творческую группу Бенуа, Кракау и Пименова. Впятером они взялись за новую модель, предполагая сделать статую весом не менее 8000 пудов. На долю Пименова была возложена скульптурная разработка статуи.

Дальнейшая история яшмового сфинкса неизвестна, к тому же одного из главных героев этого сюжета, Николая I, в 1855 году не стало.

### Фабрика колоссальных вещей

С Колыванской шлифовальной фабрикой 20–30-х гг. XIX в. связан новый этап развития русской камнеобрабатывающей техники. Преемница технического опыта Екатеринбургской гранитной фабрики конца XVIII — начала XIX в. и прежде всего технических новшеств В.Е. Коковина (*сверлительной машины, качалки, надосной машинки*), она быстро обогнала своих учителей. И неудивительно, что «Горный словарь», издаваемый Г.И. Спасским, в 1841 году спешит познакомить современников с колыванскими машинами по обработке твердого камня, находя, что в них воплощен весь накопленный до сегодняшнего дня опыт, что именно с их помощью выполняются наиболее сложные в техническом отношении задачи. «Здесь помещается описание Колыванского механизма, где обрабатываются лучшие и огромнейшие вещи из твердых камней, — пишет Спасский и сразу же вводит читателя в стены главного здания фабрики: — Механизм этот составляют: 1. Наливное деревянное колесо, имеющее в поперечнике три сажени, которое приводит в движение все механические устройства в двух фабриках (имеются в виду два этажа фабрики. — В.С.), и может обращаться с большою или меньшею скоростью смотря по требованию. 2. Вместо шестерней небольшие деревянные колеса; с утвержденными на ободе каждого кулаками (цевочные шестерни. — В.С.). 3. Железные, зубчатые колеса (шестерни. — В.С.), приводящие в движение механизмы чрез блоки разного диаметра и шнуры. 4. Железные валы, с принадлежащими к ним станками и колесами, служащими для обтачивания и резки камней. 5. Станки, посредством которых высверливаются и обрабатываются чаши в одно время с внутренней и внешней стороны. 6. Станки для площения досок и пьедесталов и других плоских изделий, производимого свинцовыми шкивами. Последние станки замечательны тем, что находящиеся в обработке вещи можно, не останавливая машины, поворачивать и исправлять».

Система передачи движения была в основном заимствована у строителей Екатеринбургской фабрики. Вероятно, такая же передача, только с меньшим числом машин, имела и на старой Локтевской фабрике. Но многое здесь было вновь. Так, колыванцы отказались от так называемых боковых шестерен и деревянных тяг, существовавших в Екатеринбурге, от деревянных тарелочных колес старого типа — все это обычно служило причиной остановки работы целой группы станков, а в некоторых случаях и всей мельницы, как это неоднократно случилось и в Екатеринбурге, и в Локтеве. Все шестерни и валы (кроме вала водяного колеса) были металлическими, чем не могла тогда похвастаться Екатеринбургская фабрика. Шестерни изготавливались со сменными зубьями, и время от времени зубья эти наваривались укладом (сталистом железом), что повышало их прочность. Передаточный механизм включал сорок одну шестерню семи

размеров. Это позволяло при одном обороте водяного колеса добиваться различного числа оборотов на разных валах передачи. Единообразие в устройстве шестерен дало возможность ускорить их замену при износе, сократить складскую площадь, отводимую под хранение запасных шестерен.

Новшеством колыбанцев было размещение валов, пересекающих этаж поперек здания под полом в наклонном положении. Такое размещение валов стало возможным благодаря изобретению колыбанцами особых зубчатых колес, называемых здесь «колесами косого саду». Зубья их при постоянно занимаемом колесами наклонном положении входили в соприкосновение с зубьями шестерен под прямым углом.

При помощи шкивов, бесконечных канатов, сплетенных из узких кожаных лент, движение с валов, расположенных вдоль фабрики, передавалось многочисленным станкам.

Здание фабрики выгодно отличалось от многих заводских корпусов того времени. Большое количество окон обеспечивало хорошее освещение. Малые станки располагались у окон, станки покрупнее и большие машины были размещены в середине помещения. Валь и шестерни находились в стороне от рабочих мест, отделялись от них ограждениями; группы шестерен, своего рода коробки передач, были заключены в деревянные короба.

С помощью рычагов группы станков могли быть остановлены или приведены в действие на полном ходу многосложного передаточного механизма мельницы.

Механизм этот оставался неизменным более 50 лет.

Из числа крупных машин заслуживают внимания пильная, сверлильная и качалочная машины.

Обычный распиловочный станок тех лет назывался «пильной рамой». Он состоял из двух деревянных брусьев, скрепленных между собой поперечными связями, местами был окован железом. В эту раму вставлялась пила — стальная, с тупым лезвием, тонко откованная пластина длиной от 1 до 3 аршин и более, шириной от 3 до 6 вершков, толщиной в  $\frac{1}{4}$  дюйма. Деревянным брусом (шатуном, штангой) рама соединялась с кривошипом вододействующего колеса, который и двигал ее взад-вперед. Часто в одной раме помещалось несколько пил. Такая рама стояла в Екатеринбурге. Колыбанцы же пилили камень небольшими прямоугольными пилами или узкими длинными терками, перемещаемыми по поверхности камня канатами. С 1795 года крупные монолиты пилили дисковой пилой. Камень укладывали на тележку, под колесами которой проходили деревянные направляющие, устроенные таким образом, чтобы предупредить соскальзывание тележки. Посреди этой своеобразной лежневой дороги закреплялась зубчатая рейка, а под днищем тележки — зубчатое колесо, которое зацеплялось за зубья рейки. Рукоятю, вынесенной сбоку тележки, можно было вращать колесо и перемещать тележку, подавая ее навстречу дисковой пиле. Рейка удерживала тележку от сползания назад. Существовала и большая пильная рама, движение которой передавалось шатуном (*поварней*).

Для разрезки меньших камней был устроен станок с коленчатым валом, который с помощью шатунов приводил пилы в действие.

Наиболее трудоемким было изготовление сложных по профилю круглых или овальных в плане вещей. Простейший способ заключался в том, что вчера обтесанную заготовку обрезали со всех сторон стальными пилами. Туфы порфиритов и гранит-порфиры обтесывали вручную долотами по шаблону (черновая обработка классической яшмы исключала такую операцию). С появлением первых сверлильных машин заготовки стали сверлить по контуру будущего изделия, затем долотами скалывали надсверленные участки, постепенно добывая нужной формы. Таким способом вещь обрабатывали изнутри и снаружи. Шлифовку и полировку вели вручную терками.

29 сентября 1793 года Ф.В. Стрижков подал управляющему Локтевским заводом В.С. Чулкову проект, озаглавленный «Расписание чертежу сверлительной машины, посредством которой... обрабатывать можно вазики, чашки и пьедесталы с меншим потеряннем времени и употребления материалов противу того,

когда оные обработованы будут руками человеческими». К проекту был приложен чертеж, поясняющий устройство машины и принцип ее действия.

Хорошо зарекомендовав себя уже в первом варианте, машина постоянно совершенствовалась; и окончательно сложилась к 40-м годам XIX в.

Читателю небезынтересно будет узнать, что в 30–40-х годах XIX в. в России рекламировалась бытовавшая у камнерезов Дрездена сверлильная машина, изобретенная Пешеле. Ее действие было основано на принципе ударно-вращательного бурения горных пород; сверло в ней располагалось наклонно, снизу вверх, а просверливаемый камень подавался на него сверху вниз, по наклонной плоскости, будучи закреплен на специальной тележке или катках. Сверло вращалось и одновременно, при помощи нехитрого кулачкового устройства, ритмично ударяло о камень. Здесь можно было регулировать частоту вращения сверла и энергию ударов в зависимости от физических свойств камня. Несмотря на рекламу, в русской камнеобрабатывающей промышленности машина Пешеле не привилась, зато машина Стрижкова распространилась по всем нашим фабрикам.

Первые же опыты показали, что работа, на которую обычно затрачивалось до 10 месяцев, на ней выполнялась за 26 дней, к тому же экономилось 50% железа и более 80% наждака. Заменяв сверла на специальные терки, с помощью этой же машины колыванцы шлифовали и полировали изделия.

Со временем размеры машины были увеличены. Сверлильная обособилась от шлифовально-полировальной. На тех и других одновременно обрабатывались наружная и внутренняя поверхности изделий.

Качалки — изобретение екатеринбуржца В.Е. Коковина — использовались на шлифовке и полировке больших ровных плоскостей камня при изготовлении столешниц и pedestалов. У колыванцев они стали употребляться на таких сложных работах, как резьба, шлифовка и полировка архитектурных обломов (гуськов, валиков, выкружек, каннелюр на стволах колонн и тому подобное).

Собственно качалка — это подвешенный к потолку деревянный шест длиной в сажень и более. На свободном конце шеста, под прямым углом к нему, закреплен металлический шпindel со шкивом, соединенным ремной передачей с основным приводом. На конце шпинделя крепится инструмент — свинцовое, железное или медное колесо, которым и обрабатывается камень.

Качалки заменили ручные терки на многих трудоемких операциях. О выгоде их Стрижков писал: «...не останавливая машину можно оправлять штуку (камень. — В.С.) под шкивом по заправкам. Вместо двух человек один тую обработку производить может и делает против прежнего в день вдвое». Качалки Стрижкова дожили на фабрике до 60-х годов XX века.

К малым машинам относились: разрезная, выемочная, резная, обронная, надносная.

Разрезная (*круг разрезной*) предназначалась для распиловки небольших камней. Рабочим инструментом ее были круги листового железа диаметром от 8 до 10 вершков, насаженные в 4 вершках один от другого на железный вал квадратного сечения. Вал этот, длиной от 2 до 3 аршин, крепился на двух деревянных стойках. Колесо на конце его было связано с основным приводом ремной передачей. Разрезаемый камень для удобства и безопасности в работе приклеивали гарпиусом к рычагу (ложке), который подкладывался под режущий инструмент; поднимая по мере распиловки рычаг, резчик подавал камень под диск.

Выемочная (*вышмошная*) машинка применялась на обработке небольших вещей. Устроена она была наподобие *бабки* XVIII века. Принципиальное отличие ее от бабки заключается лишь в том, что здесь рабочие инструменты навинчивались на оба конца вала. В описании 40-х годов XIX века колыванская выемочная машинка выглядела следующим образом: «...устанавливается обыкновенно на століке такой величины, чтобы гранильщик мог работать сидя. Она состоит из железного валика, с концами заостренными и зарезанными винтом (проще — с резьбой на концах. — В.С.), на которые навинчивались круглые свинцовые или медные шкифчики потребной величины для вырезки ложков на небольших каменных вещах. Валик этот снабжен блочком и укреплен горизонтально на

плоскости столика в медной коробке, приделанной к железной стойке; другой, коленчатый железный валик, находящийся между ногами столика, имеет деревянное колесо, из которого чрез блок верхнего проходит шнур, приводящий в движение машинку действием ноги того же гранильщика.

«Резная (она же гравировальная) машинка состоит из небольшого железного валика, имеющего при одном конце небольшую пустотку, в которую вставляются орудия, употреблявши для резбы печатей и антиков, а посредине железный блок. Валик этот прикрепляется горизонтально на плоскости столика в медной коробке, приделанной к стойке в  $2\frac{1}{2}$  вершка вышиною; посредством которой коробочка с валиком держится на столике. Между ножками его укрепляется коленчатый железный валик с деревянными коленцами, от которого через блок, находящийся при верхнем валике, проходит шнурок, посредством которого вся машинка приводится в движение ногою того человека, который занимается резьбою».

Сложная рельефная резба выполнялась мастером-отдельщиком на *обронной* машинке. Есть и ее описание: «Устраивается обыкновенно на небольшом столе и состоит: а. из железного валика с блоками, имеющего при одном конце пустоту и укрепляемого горизонтально плоскости стола в медной коробке, приделанной к железной стойке; б. из коленчатого железного вала, удерженного между ножками стола; в. из деревянного колесца, установленного на этом валике вертикально, на которое накладывается шнур, проходящий через блок первого валика и приводящий в движение оба валика, по связи своей с шнуром вододвигуемой машины. Посредством столь простого механизма вырабатываются на наружности небольших каменных изделий карнизы, листья, цветы и другие украшения. Употребляемые к тому орудия вставляются в пустоту верхнего валика и ими действует один человек...».

*Надносная* машинка — изобретение В.Е. Коковина. Несколько этих машинок было сделано в Екатеринбурге для колыванцев и петергофцев. Это переносной ручной инструмент, компактный, удобный в работе. Значение ее для камнерезной промышленности трудно переоценить. По сути, это та же бабка, та же обронная машинка, но снятая со стола и отданная в руки мастеровому. Ее можно переносить, ставить под любым нужным углом к обрабатываемой поверхности. Зона такого свободного перемещения определяется длиной ремня передачи. Работает она в том случае, когда один из ремней натянут, а другой ослаблен; при равном их натяжении машинка останавливается. От одного вала могут работать несколько машинок. Остановка одной не мешает работе другой.

Немало оборудования делалось в процессе работы над той или иной вещью. Был, например, сделан колыванцами станок с подъемными сменными железными шкивами. Набор этих шкивов был разнообразен и пополнялся от изделия к изделию. На станке одновременно обрабатывались две вещи. Обычно это были крышки, венчики и ножки.

Несколько новшеств появилось в связи с работой над большим количеством колонн. Был создан специальный станок для шлифовки и полировки каннелюр на ствколах колонн. Стрижков устроил такой шкив, который перемещался вдоль колонны, снуя, как челнок, взад-вперед.

Для того, чтобы вырезать в монолите утолщения, в основании и в голове ствола колонны были сделаны специальные сверлильные машины малой величины. Необычные машины были сделаны в 50-х гг. в Колывани по проекту И.А. Злобина в ходе работы над большой резной чашей с тремя фигурными ножками, вырезанным в виде звериных лап («химерическая чаша» 1856–1861 годов). Одной машиной нарезались, шлифовались и полировались бусы на борту чаши. С помощью другой, работавшей по копиру, делались одновременно три ножки. Сведения об этих машинах, отысканные недавно в ЦГИА исследовательницей цветного камня Н.М. Мавродиной (С.-Петербург), — новая яркая страница истории камня и убедительное свидетельство того, как много неожиданного таит в себе история русских камнерезных технологий.



### Валентин Лукьянин Ногой в прогнившую дверь *Роль самодержавия в подготовке Великой российской революции*

Можно, конечно, порассуждать о том, было ли у нас в 1917 году две революции, Февральская и Октябрьская, как считалось в советские времена, или то была одна великая ломка, продолжавшаяся с последних дней зимы до поздней осени; но это был бы спор о словах. События 1917-го, как бы мы их ни называли, явились в совокупности своего рода тектоническим сдвигом планетарного масштаба, неким подобием Лиссабонского землетрясения 1755 года в социально-политической сфере. Но если разрушенный до основания великий и грешный город мореплавателей и торговцев был заново отстроен за 15 лет, причем стал даже благоустроенней и краше, чем до катастрофы, то сломанный Великой российской революцией мировой порядок возродиться так и не смог: мир (а не только Россия) стал другим уже навсегда.

С момента разрушения советского строя события 1917 года стали трактоваться у нас — с изрядной примесью социального мазохизма — как исторический конфуз, погубивший не только привычный жизненный уклад в родном отечестве, но и репутацию России в мировом сообществе. Ибо страна, якобы в нарушение «естественных» законов, свернула на гибельный путь социального прожектерства и тем самым обрекла на немислимые лишения и отсталость не только себя, но и другие страны, так или иначе оказавшиеся в зоне катастрофы. Как бы стыдась перед миром советского прошлого, власти «новой» России пытаются переиграть историю заново — войти второй раз в ту же реку, представить бывшую «родину советов» наследницей Российской империи. С этой целью резко понизили статус рокового перелома: была великая революция — стал криминальный переворот. «Красный день календаря», более семидесяти лет напоминавший о главном, как считалось, событии отечественной истории, спрятали в тень другой, смутно памятной даты, как прятут за декоративный щит ленинский мавзолей в дни победных парадов. Восстановили старые названия городов, вернули двуглавого орла (с уже ничего не символизирующей короной), восстановили храм Христа Спасителя и построили в Екатеринбурге, на месте гибели последнего российского императора и его семьи, Храм-на-Крови.

Фигура сметенной революцией «государя императора» (теперь уж только так!) стала вдруг ключевой для трактовки «переворота»: в ней усматривают оли-

цетворение якобы бесспорных достоинств «России, которую мы потеряли», а в трагической судьбе «августейшей» семьи — квинтэссенцию тех разбойных деяний, в результате которых была порушена «Святая Русь», а ее руины отданы на поругание большевикам. Николай II ныне канонизирован, в его честь совершаются церковные ритуалы, а «в миру» проводятся разного рода научные «слушания», конференции и иные акции в память и во славу. А самое малое подозрение в посягательстве на репутацию «помазанника Божия» вызывает истерику промонархически настроенной толпы — примеры свежи в памяти читателей.

А как вы думаете, откуда взялись эти настроения в год столетия революции, отвергнувшей неспособного к управлению страной самодержца, а вместе с ним и самодержавие на редкость единодушно? По-моему, это та же самая проблема, что и почитание Сталина внуками и правнуками репрессированных по воле «вождя народов» советских людей! Ответ ищите не в темных закоулках «загадочной русской души», а в социально-политических реалиях нынешнего дня.

Так или иначе, даже элементарная потребность осознать свою позицию в этой противоестественной ситуации, а более того — чувство собственного достоинства, не позволяющее бездумно отдаваться во власть безумствующей толпы, понуждают трезво оценить социально-исторический катаклизм, постигший Россию в 1917 году. Что это было? Почему случилось? Какой урок из произошедшего столетие назад стоит нам извлечь сегодня, чтобы нарастающий общественный раздрай не привел страну к еще большим бедствиям?

Прежде всего необходимо четко разграничить два события, казалось бы, неразрывно вплетенные в общую историческую канву, но на самом деле происходящие в разное время, вызванные разными причинами и имеющие разный смысл. Я имею в виду отречение Николая II от престола — и, почти полтора года спустя, трагедию в подвале Ипатьевского дома. Когда их соединяют в едином сюжете (а нынче только так и делается), то, по законам монтажа (говоря языком кинематографистов), второй эпизод определяет тональность восприятия первого, то есть мрачной трагедией начинает смотреться и сам акт отречения. На самом деле это была, кажется, единственно возможная в той ситуации попытка вывести страну из исторического тупика, и что ж теперь «клянчить и пенять», если она оказалась запоздалой и потому провальной. Ну, а казнь императорской семьи — это хоть отдаленное, но прямое последствие погружения страны в тот исторический омут, куда опустил ее самодержавный строй и откуда не нашлось цивилизованного выхода.

Невеста из какого исторического подполья явившиеся вдруг монархисты утверждают, что царская власть — от Бога<sup>1</sup>. Это напоминает мне короткий диалог с молодым «батюшкой», который в публичном выступлении горячо убеждал слушателей, что Екатеринбургу никак не обойтись без храма в честь его небесной покровительницы. Я спросил его просто: а почему он считает, что святая Екатерина — покровительница нашего города? Оцените его ответ: «Ну как же, документы ж есть!»

Документы (на этот раз вполне надежные) гласят, что Московское царство образовалось не в результате чудесного акта творения («И увидел Бог, что это хорошо!»), а в силовом, порой кровавом, противоборстве удельных русских княжеств. Унаследовав сильнейшее на ту пору княжество Московское, молодой и амбициозный князь Иван Васильевич пожелал упредить свое положение, приняв титул царя, и митрополит Макарий, превысив (как сочли тогда многие и русские, и иноземные коллеги московского князя) свои полномочия, венчал его на царство. Так появился первый русский царь Иван IV Грозный, и он же дал четкое идейное обоснование своей самодержавной власти: «Земля правится Божиим милосердием, а последнее нами, государи своими, а не воеводы и судьи», «Жаловать своих холопей мы вольны, а казнити вольны же»<sup>2</sup>. Вот вам и божественная природа, и вся законность царской власти в момент ее зарождения.

<sup>1</sup> См., например: <http://www.tzar-nikolai.orthodoxy.ru/ost/mnk/10.htm>.

<sup>2</sup> <http://www.ourhistoria.ru/ourhs-499-1.html>.

Того же уровня была и законность власти большинства последующих русских монархов вплоть до 1917 года.

Так что свергнута была власть не *«от Бога»*, не законная, а традиционная. Традиционная — это, конечно, очень важно, ибо традиция — ключевое условие обеспечения общественной стабильности. Но стабильность в жизни общества имеет свойство рано или поздно оборачиваться стагнацией. Поэтому общество живое, развивающееся не только уважает традиции, но и не позволяет им закоснеть. В одних случаях оказывается достаточным заменить «осла» «слоном» (или наоборот), в других приходится идти на реформы, порой и «непопулярные», а в третьих дело закономерно доходит до революции. Революция, конечно, — крайняя мера, но иногда без нее не обойтись.

По-моему, очень точную формулу предложил американский экономист Джон Гэлбрейт: «Всякая успешная революция — это удар ногой в прогнившую дверь».

Насколько прогнившей была к 1917 году российская «дверь», весьма предметно и убедительно написал ученый и публицист С.Г. Кара-Мурза в давней уже (2002 года) книге «Гражданская война 1918–1921 гг. — урок для XXI века». Воссозданная им на основе многочисленных источников картина удручает: всем было плохо, всех тяготило положение в стране — и крестьян, разуверившихся в царе-батюшке, и поместных дворян, и промышленников, и военных, и интеллигенцию, и даже высший свет. Коррупция, распутинщина, тотальный сыск и доноительство, подмена морального авторитета насилием. Верх цинизма — провокатор Азеф, работавший на охранку и возглавлявший террористическую организацию.

Автор несколько раз ссылается на мнения А.И. Гучкова: дескать, моральные принципы правящего сословия и верховной власти были подорваны настолько, что их авторитет упал так, как никогда еще не было в истории России; «Режим фаворитов, кудесников, шутов»; «Россию даже после победоносной войны ожидает революция»<sup>3</sup>.

Согласен, для нынешних монархистов свидетельства Гучкова не авторитетны: у него с императором была сильнейшая взаимная неприязнь. Муссируется даже версия, будто российская монархия пала в результате заговора, где лидер конституционных демократов был едва ли не центральной фигурой. Но точно не Гучков ходил по петербургским заводам, устраивая демонстрации и стачки, точно не он призывал к неповиновению воинские части петербургского гарнизона...

Словом, «дверь» точно была прогнившая, и не суть важно, кто олицетворял «ногу», о которой говорит Гэлбрейт, то есть кто устраивал заговоры, кто кого провоцировал, кто предавал, кто составил ударную силу, а важно, что вся Россия после отречения императора радостно нацепила красные банты. Есть легенда, будто в том числе даже и некоторые члены «августейшей» фамилии.

А вот почему «дверь» российской государственности к 1917 году оказалась прогнившей? Этот вопрос обычно застенчиво обходят апологеты «России, которую мы потеряли» и энтузиасты романовских радений, а мне он представляется ключевым.

Ответ на этот вопрос в самой общей форме можно сформулировать просто: Хозяин недосмотрел. «Хозяин земли русской».

Но в таком ответе скрыт другой вопрос, поглубже: а что Николай II мог сделать, если ему досталось тяжелое наследство? Впрочем, это даже не один вопрос, а два: насколько эффективно руководила страной самодержавная монархическая власть, династия Романовых, в течение трех столетий до рокового 1917 года? И насколько эффективным главой государства был последний из династии?

Сразу оговорюсь, что монархия как форма правления сама по себе ни хороша и ни плоха. Все дело в том, как она «работает» в конкретных случаях.

<sup>3</sup> См.: <http://myhistori.ru/blog/43286462487/O-legitimnosti-tsarskoy-vlasti>.

Преодолеть общественный раздрай, поддерживать традиционный, налаженный строй жизни — это, безусловно, хорошо. Своевольно, не считаясь с реальными интересами подданных, решать назревшие вопросы (или, напротив, по недооценке интеллекта или политической воли уходить от их решения), — это из рук вон плохо. В некоторых странах демократической Европы монархия оказалась на высоте положения, а потому худо-бедно существует по сей день (хотя прежней власти нигде не имеет). А российское самодержавие страной всегда управляло плохо. Неискоренимые пороки самодержавного правления накапливались, индуцировали друг друга, приобретали характер определяющих черт российской жизни. Назову наиболее очевидные из этих черт — и вряд ли кто-то из нынешних поклонников императорской династии Романовых сможет в этом плане меня опровергнуть.

— Коррупция (извечное «Воруют-с!») — неизбежное и неистребимое следствие «самовластья».

— Экономическая архаика (а как иначе, если все хозяйство держится на рабском труде?), а ею порождается техническая отсталость.

— Следствием технической отсталости явились и низкий уровень жизни населения, и слабая обороноспособность (поражение в крымской войне, затем в японской, в ряде других военных конфликтов), и ставка в ключевых вопросах внутренней и внешней политики на силовые методы. Отсюда и полицейский режим в стране, и репутация «европейского жандарма», которая отнюдь не способствовала упрочению международного авторитета России. Знаменитые «два союзника — армия и флот», названные Александром III и недавно опять упомянутые в этом же качестве В.В. Путиным, отнюдь не могут быть предметом государственного бахвальства. Это провал.

— Идеологическая беспомощность (опора на веру вместо здравого смысла, «старцы» и «угодники» вместо социальных мыслителей). По этой причине, а вовсе не по вине «образованцев» (как считали авторы знаменитого сборника «Вехи», а потом их мысль подхватил Солженицын) для страны был характерен интеллектуальный разброд.

Так что наследство Николаю II досталось действительно тяжелое.

Но у него была отличная возможность наладить жизнь в стране, ибо страна обладала несметными природными ресурсами и богатым человеческим капиталом. Даже не вопреки, а в осознанном противодействии с архаичным мироустройством и «извечными ценностями» выросла дееспособная интеллектуальная элита: не пресловутые «образованцы», а целая плеяда ученых мирового уровня, выдающиеся литераторы (Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов), мощная команда управленцев во главе с С.Ю. Витте. Прояви «хозяин земли русской» государственный ум и волю — Россия действительно могла бы возглавить содружество развитых держав, а сам он вошел бы в историю, по меньшей мере, равным Петру Великому.

Но не случилось: император предпочитал верность «извечным ценностям» и всячески противился переменам.

Приведу лишь один пример того, как это проявлялось в государственной политике.

Камнем преткновения для самодержавия в крестьянской стране стал крестьянский вопрос, а корень вопроса заключался в крепостном строе. Что крепостной строй — «чудище обло, озорно, стозебно и лаия», убедительно показал еще Радищев в «Путешествии из Петербурга в Москву», и за столь откровенную оценку краеугольного камня российской государственности «великая» самодержица Екатерина назвала писателя «бунтовщиком хуже Пугачева» и сослала в Сибирь. Неудобный власти обличитель отбыл в Илимский острог, но «чудище» то осталось, и о том, что для вступления на путь цивилизованного развития России необходимо от него избавиться, задумывались и Павел I, и Александр I, однако найти относительно безболезненный способ решения этой действительно сложной — с точки зрения вековых российских традиций — проблемы они не смогли.

При Николае I крестьянский вопрос приобрел уж вовсе нестерпимую остроту. «Крепостное право есть пороховой погреб под государством», — докладывал царю в 1839 году А.Х. Бенкендорф. Но тот понимал ситуацию не хуже своего шефа жандармов, однако выхода не видел. «Нет сомнения, — высказался он на заседании Государственного совета в марте 1840 г., — что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но *прикасаться* к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным». Выход, однако, искали, паллиативные меры принимали...

На отмену крепостного права решился, в конце концов, Александр II, и апологеты самодержавия называли его реформу Великой, а самого реформатора — Освободителем. Но насколько непродуманной, непоследовательной и, в сущности, бездарной была эта реформа, нынешний читатель может представить себе, прочитав книгу А.Н. Энгельгардта «Письма из деревни» (кажется, это была последняя книга, которую в своей жизни читал Маркс, причем на русском языке). Так что крестьянский вопрос продолжал оставаться подвешенным.

Самый прозорливый и ответственный экономист в истории дореволюционной России С.Ю. Витте (у него бы поучиться нынешним экономическим стратегам!) считал неустрашенность российских крестьян на пороге XX века ключевой и совершенно неотложной проблемой, от решения которой зависло будущее страны. В октябре 1898 года Витте написал о том обстоятельное, хорошо аргументированное письмо «хозяину земли русской», который пребывал тогда в Крыму. Вот короткие выдержки из этого письма, дающие некоторое представление о его стержневой идее:

«Ваше величество имеете 130 млн подданных. Из них едва ли много более половины живут, а остальные прозябают».

«Крестьянина наделили землею. Но крестьянин не владеет этой землею... При общинном землевладении крестьянин не может даже знать, какая земля его».

«Государство при настоящем положении крестьянства не может мощно идти вперед, не может в будущем иметь то мировое значение, которое ему преуказано природой вещей, а может быть, и судьбою»<sup>4</sup>.

(Узнаете идеи, которые нынче приписываются Столыпину и которые Столыпин действительно пытался реализовать, когда полыхнул пожар первой русской революции? Но слишком поздно он этим занялся, к тому же действовал полицейскими методами, естественными для самодержавной России, но вызывавшими крайне негативную реакцию всей российской интеллектуальной элиты, а самого Витте — в первую очередь.)

Однако цитирую дальше:

«Боже, сохрани Россию от престола, опирающегося не на весь народ, а на отдельные сословия... А, собственно говоря, ядро вопроса совсем не в земельном кризисе, а тем паче не в кризисе частного землепользования, а в крестьянством неустойчиве, крестьянском оскудении. Там, где овцам плохо, плохо и овцеводам».

«Одним словом, государь, крестьянский вопрос, по моему глубочайшему убеждению, является ныне первостепенным вопросом жизни России».

Не письмо — крик души. Причем с ясным пониманием существа проблемы и конкретными предложениями о путях ее разрешения. И что же? А ровно ничего: «Какое произвело это письмо впечатление на государя, мне неизвестно, так как государь затем со мною по этому поводу не говорил»<sup>5</sup>.

В воспоминаниях С.Ю. Витте немало и других примеров того, сколь безответственно относился Николай II к решению государственных проблем. Витте — монархист, и во всем его литературном наследии не найти и намека на осуждение монархии как формы государственного правления. И все его упоминания о Николае II выдержаны в весьма почтительных тонах. Но случалось, что и он не мог сдерживать эмоций: «Наш же нынешний “самодержец” имеет тот не-

<sup>4</sup> Здесь и далее: *Bumte C.Ю.* Избранные воспоминания. — М.: Мысль, 1991. С. 529–532.

<sup>5</sup> Там же. С. 533.

достаток, что когда приходится решать, то выставляет лозунг: «Я неограниченный и отвечаю только перед богом», а когда приходится нравственно отвечать перед живущими людьми впрямь до ответа перед богом, то все виноваты, кроме его величества: тот его подвел, тот обманул и проч.»<sup>6</sup>

Возможно, кто-то сочтет это суждение С.Ю. Витте предвзятым, поскольку первый министр, конечно же, не мог не испытывать досаду, когда император не поддерживал его предложения или слишком вяло на них реагировал. Но в упомянутой выше книге С.Г. Кара-Мурзы собран целый букет отзывов о деловых качествах царя. И.Л. Горемыкин, четыре года прослуживший министром внутренних дел: «Помните одно: никогда ему не верьте, это самый фальшивый человек, какой есть на свете». Министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский: царю нельзя верить, «ибо то, что сегодня он одобряет, завтра от этого отказывается»; «все приключившиеся несчастья основаны на характере государя». И далее в том же духе. А пять лет назад «Вестник УрО РАН» опубликовал очень обстоятельную и убедительную, на мой взгляд, статью профессора С.В. Рыбакова «Как ужасно самодержавие без самодержца...»<sup>7</sup>.

Это название — цитата из документального повествования В.В. Шульгина «Дни», но в нем сфокусировано мнение широкого круга людей, которым довелось близко общаться по государственным делам с Николаем Александровичем Романовым — «хорошим человеком» и совершенно бездарным «Хозяином Земли Русской».

В этом плане очень интересна еще книга «Отречение Николая II. Воспоминания очевидцев, документы», составленная исключительно из материалов, опубликованных в эмигрантских изданиях<sup>8</sup>.

Из этого чрезвычайно драматичного коллективного повествования очевидно, сколь безвыходное положение к началу 1917 года сложилось в стране и сколь беспомощно выглядел в этой ситуации самодержец. Он даже не вполне осознал, что страна придвинулась к краю пропасти. Нынче постоянно цитируемая фраза из его дневника: «Кругом измена и трусость и обман!» — это неадекватная реакция на попытки окружавших его в тот момент людей, искренне озабоченных спасением самодержавия и России, и его самого. Когда же он начинает наконец осознавать, сколь далеко зашли события, его первым побуждением было направить в выбивающийся из повиновения Петербург карательную экспедицию генерала Н.И. Иванова, но этот замысел оказался уже неосуществимым.

Из всего сказанного, думаю, ясно, почему радикально преобразовать тяжелое наследство, доставшееся ему от предшественников, император Николай II не смог. Действительно несмываемые следы его царствования в истории России — это Ходынка, опрометчиво начатая и бездарно проигранная война с Японией, 9-е января, столыпинщина, ну а потом — закономерно! — мировая война, отречение, трагедия в Ипатьевском доме.

Вот почему я считаю, что именно российское самодержавие и самодержец Николай II несут первостепенную ответственность за то, что «дверь» российской государственности в 1917 году оказалась гнилой и рассыпалась при давно ожидаемом обществом ударе «ногой».

Конечно, это никак не оправдывает внесудебную расправу над незадачливым правителем, а тем более над его семьей, но и не дает повода оплакивать его как носителя идеи русской государственности, загубленной революцией. Он сам спровоцировал бурю, он же ее и пожал.

<sup>6</sup> Там же. С. 541.

<sup>7</sup> Рыбаков С.В. «Как ужасно самодержавие без самодержца...» // Вестник УрО РАН. Наука. Общество. Человек. 2012/2 (40).

<sup>8</sup> Она вышла в Ленинграде в 1927 году. У меня под рукой ее репринт, изданный в 1990 году в Москве фантастическим тиражом 100 000 экземпляров.

## Олег Глаголев

### Ты виноват уж тем...

Давно не читал таких искренних текстов, где... хочется опровергнуть почти каждое слово. «Ногой в прогнившую дверь» Валентина Петровича Лукьянина именно такой. Понимаю, что нетрезвенное возвеличивание последнего русского царя в различных, чаще всего псевдопатриотических кругах не может не вызывать критической реакции, возмущения и политических спекуляций. Сам я не готов говорить так широко: «роль самодержавия в подготовке», как не могу назвать криминальные происшествия февраля и октября 1917 года революцией, ну а великой разве только «под знаком понесенных утрат», отнеся к этому событию строки из «Вакханалии» Бориса Пастернака.

Революция, как я понимаю, — это чрезвычайное и насильственное действие по смене власти и социально-политического устройства, но оно ведет (а не только стремится) к улучшению жизни общества, дающему новые возможности для социального, культурного, духовного развития, позволяющему через кризис открыть новые пути освобождения личности и ее духовного возрастания. Переворот 1917 года разорил Россию, опустошил сердце народа, веру, культуру, язык, российский менталитет. С.Л. Франк назвал происшедшее «ужасной катастрофой, которая нам, современникам и жертвам ее, легко кажется чем-то небывалым, доселе невиданным по своей опустошительности и которую и бесстрастный объективный историк должен будет признать одной из величайших исторических катастроф, пережитых человечеством».

Монарх в нашем случае, конечно, несет особую ответственность за происходившее. Подлое, преступное, доньше нераскаянное коммунистами убийство государя, его семьи и слуг вызывает к жалости и прощению чересчур больших политических и духовных ошибок Николая II, но от этого нельзя забыть, что одной из важных причин революции, несомненно, является его плохое управление страной. Однако это было не только не единственной причиной переворота, но и не главной. Говорить же в старом большевистском ключе о «подготовке» революции всем многовековым самодержавным строем, думаю, неоправданно и слишком похоже на криминальное сознание. Так насильник обвиняет жертву насилия, которая была слишком дерзка, или привлекательна, или слаба — неважно, поэтому он не сдержался. Да еще получается, что к 1917 году растущая российская экономика, наука, культура, искусство, упомянутые Валентином Лукьяниным «человеческий капитал» и «дееспособная интеллектуальная элита», «целая плеяда ученых мирового уровня, выдающиеся литераторы» развивались вопреки самодержавию, а все дурное — благодаря?

Ответственность за два государственных переворота 1917 года — конечно, не равная — лежит на разных людях, группах и слоях российского общества. Одна на царе и иная на правительстве, своя на российской элите — аристократии и дворянстве, своя на армии, своя на предпринимателях, есть особая ответственность рабочих и особая крестьян. Все, пусть и в разной степени, утратили

мирный дух и способность к созиданию, позволили ненависти и вражде захватить землю и дать ее захватить криминальной антинародной большевистской партии.

«Революция готовилась планомерно, в течение десятилетий, — пишет Иван Ильин, — в известных слоях интеллигенции она стала традицией, передававшейся из поколения в поколение... она ломала русскому человеку и народу его нравственный и государственный «костяк» и нарочно неверно и уродливо сращивала переломы».

Есть другие горячие причины катастрофы 1917 года, не «монархические». Ответственность Российской церкви: одни называют ее церковью мучеников, другие приспешницей любой власти или вовсе церковью мучителей. Еврейские корни и причины русской катастрофы: до сих пор общество не готово к серьезному, взвешенному разговору на эту тему: одни называют еврейский вопрос причиной, вымышленной антисемитами, другие видят заговор мирового еврейства. Ответственность русской интеллигенции, одновременно создававшей русскую науку, культуру, искусство, просвещение и закладывавшей бомбу под все это. Ответственность европейского и всего мирового сообщества, прежде всего правительств и политиков, проглядевших всемирный характер выпущенного в России зла, появившегося на все мировые процессы XX века.

Самое, быть может, странное для меня в слове Валентина Петровича — это антагонизм «веры» и «здорового смысла». «Старцы» и «угодники» у него почему-то «вместо социальных мыслителей», а не вместе. Такое можно сказать о лжестарцах, изображающих мудрецов, и лицемеров и подхалимах на месте угодников. Почему вере и здравому смыслу, от века и донныне уживавшимся в разных народах, в том числе и в русском народе, не быть заодно? Собравший на основании Евангелия и православной веры уникальное Трудовое Крестовоздвиженское братство русский аристократ Николай Неплюев именно в утрате веры Христовой видел оскудение народа во всех социальных слоях, приведшее к первой революции в 1905 году. До 1917 года сам он не дожил, но основанное им в конце 19 века братство большевики сумели уничтожить лишь к 1929 году, подвергнув репрессиям значительную часть его членов и разорив крупное эффективнейшее передовое хозяйство, которое было поистине народным, принадлежало самим братчикам. Прежде всего духовные причины, считал Николай Бердяев, поставили на путь зла тех, кто готовил и совершал революцию: «Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почувал, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи».

Как всякое великое событие, пусть и со знаком «минус», русская катастрофа 1917 года не объяснима лишь набором причин, хотя рассуждать о них для нас очень важно. Есть «тайна зла», которая раскрывается в этом адском действе. Но я против того, чтобы ставить российскую монархию и Николая II в самый центр упоминаемых событий еще и по тому, что это не ведет к положительному результату, к национальному покаянию, которое одно способно развернуть продолжающийся на нашей земле антиисторический процесс, целый век водивший наш народ по кругу бедствий.



## Андрей Коряковцев

### Царский путь в революцию

#### 1

Мы живем в эпоху периферийных гражданских войн: Афганистан, Сирия, Йемен, Украина, еще недавно — Колумбия. На пороге новых масштабных гражданских конфликтов стоят Турция, Ирак, Венесуэла, в последнее время — даже Испания, принадлежащая к «ядру» капиталистических стран. Радикализация общественных настроений происходит в странах ЕС, еще не так давно казавшихся абсолютно стабильными, и даже в США, в этой цитадели буржуазной демократии.

Очевидно, что колеблется весь постсоветский общественный уклад, сложившийся на основе неолиберальных практик. Ослабление договорных отношений затронуло и Россию, что остро проявляется в социальных сетях: мы все чаще «баним» друг друга, все реже испытываем потребность друг друга понять, все чаще — силой навязать свое мнение. По сути, в стране развязана «холодная» гражданская война. Конечно, «забанить» — это не все равно что убить, но общественный результат в обоих случаях одинаков: это устранение оппонента, разница только в средствах. Рост идейной нетерпимости начал происходить особенно интенсивно после подавления властью «болотных» общественных волнений в 2011–2012 годах и победы украинского Майдана в 2014 году. Общество и раньше было расколотым на враждебные стороны, но сейчас они в наименьшей степени стали проявлять готовность к компромиссу и социальному партнерству.

Любой острый гражданский конфликт, будь то политическая революция или гражданская война, кроме экономических и политических причин, есть следствие сопряжения двух социокультурных факторов: катастрофически сужившегося общественного *поля рациональности* и *поля идейного напряжения*.

Почему так важно первое и что такое второе?

Причиной идейной нетерпимости может быть вовсе не личное озлобление: враждующие могут не питать друг к другу личной неприязни. Нажимает на курок войны не личная, а социальная ненависть. «Ничего личного» — это не только бизнес, но и социальный конфликт. Всякий диалог/полилог возможен не только в силу субъективной готовности к нему, она необходима, но недостаточна. Для диалога/полилога нужно, чтобы обе стороны придерживались каких-то единых принципов изложения своих взглядов (например, чтобы они обладали единой манерой мышления и пониманием о морали, общими стратегическими либо тактическими целями и т.д.), словом, чтобы они владели общим интеллектуальным языком, на котором могли выразить потенциально объединяющие смыслы. Наличие заинтересованности в единой картине мира и в языке, подчиненном единой логике, иначе говоря, наличие *единого разума* даже при разных *интересах* — есть первое условие диалога/полилога, компромисса и партнерства. Если этого нет, то субъективное желание мира останется лишь декларацией, а достигнутое согласие распадется при первой же возможности.

Сужение *единого поля рациональности* становится особо опасным, когда в обществе одновременно с этим появляется потребность в смыслах, реализация которых в данном обществе невозможна. Их осуществление связано с риском не только для собственности, но и для жизни. А вслед за этой потребностью неизбежно формируются и сами подобные смыслы. В обществе возникает *поле идеального напряжения*.

Нужно отказаться от того примитивного взгляда, что причиной социального протеста служит само по себе обнищание населения. Это происходило в России все 90-е годы, но тогда социальный протест в целом по стране оказался ничтожен. Сравним его с социальными волнениями в современных западноевропейских странах. Хотя уровень жизни там, по сравнению с российским, остается довольно высоким даже после нескольких волн кризиса, но так же высока и степень протестных настроений. Значит, не само по себе массовое обнищание рождает их. Чтобы они возникли, нужна не только неудовлетворенность конкретных потребностей, нужны сами эти в той или иной мере развитые потребности. Чтобы люди начали бороться за лучшую жизнь, нужно, чтобы у них сформировалось представление о ней, и не только в виде абстрактной мечты, но, главным образом, в виде в той или иной степени позитивной политической программы, пусть даже утопичной и туманной. Привыкший к нищете бунтовать не будет. Протестует именно тот, кто к ней не привык, чьи потребности выходят за рамки обыденного. Эта неудовлетворенность, это желание преодолеть убогую повседневность выражает себя в идеях, реализация которых переживается как высшая ценность.

Таковы социокультурные предпосылки социальной конфликтности. Причем они складываются независимо от того, какими благими образами руководствуются противостоящие стороны. Их появление означает, что вся бывшая социальная солидарность — этническая/национальная, религиозная, межсословная, межклассовая и какая-либо другая — была иллюзией.

В императорском Китае социокультурным условием договорных отношений стало распространение иероглифического письма и конфуцианства, в средневековой Западной Европе — латыни и католицизма, в Российском государстве — православия и кириллицы, в Советском Союзе интеллектуальной основой общественного консенсуса стала марксистско-ленинская идеология, владение риторикой которой означало политическую лояльность, при условии *деполитизации* этнических, религиозных и даже имущественных (после принятия конституции 1936 года) различий. Однако все эти идейные формы единого общественного *поля рациональности* не выдержали испытания временем. Все они были основаны либо на вере, либо на интеллектуальном подчинении, в той или иной степени ритуализированном.

Индивидуальная и коллективная вера (в данном случае под верой понимается не доверие, не моральная категория, а способ конструирования картины мира по логике *представляющего*, а не *представяемого*) — это всегда монолог самодостаточного сознания, это замкнутые на себе миф или идеология. Беда не в том, что их носители стремятся лишь к пониманию самих себя. Беда в том, что они не стремятся понять *другой* разум, равно как и *другой* миф или *другую* идеологию, поскольку принятие общего с ними интеллектуального языка и смысла связано с отказом от того, что они считают для себя необходимым/существенным/сакральным. То есть необходимым для себя они считают свои собственные суждения, а не общее, объединяющее с другими людьми, содержание. В силу этого, скажем, буддийские мифы исключают мифы христианские, а мифы индейцев племени чероногие исключают их обоих; равно как и сталинистская и либеральная идеологии враждебны друг другу. Чтобы чероногим, буддистам и христианам, сталинистам или либералам понять друг друга, каждому из них нужно выйти за рамки своего мифа и, обсуждая общие проблемы, пользоваться языком и логикой, диктуемыми самим общим, существующим независимо от них предметом, допустим, проблемами экологии.

Сложность диалога/полилога в современном обществе обусловлена тем, что оно мозаично: поликультурно, полиэтнично, полирелигиозно, полирацио-

нально. Не менее разнообразна и современная социальная структура. Этим современная общественная духовная жизнь отличается от средневековой, которая пребывала в условиях господства коллективного сознания и аграрной культуры и под контролем господствующей религиозной конфессии (католицизма в Западной Европе, православия — в России). Можно спорить, плохо это или хорошо, можно ностальгировать по той эпохе, подобно философам А. Лосеву и П. Флоренскому и их современным эпигонам, но это *уже* не так, и без масштабного насилия к прошлому не вернуться.

В наши дни общественный диалог/полилог не может опереться на монополию веры просто потому, что ее *нет*. Следовательно, источник взаимного понимания разных общественных сил может и должен быть иным. В том мире, каким он стал в послевоенную эпоху, общественный диалог/полилог осуществился лишь потому, что он стал опираться на обмен аргументами и доказательствами, с помощью которых представители разных общественных сил старались стать понятными и убедительными друг для друга, а для этого требуется как минимум, чтобы они у них были. Доказательство, аргумент, опора на *знание*, а не на веру, на *исследование*, а не на догмат, на *здоровый смысл*, а не на Откровение предполагают обращение к *другому*, отличному от тебя. Они связаны с сопряжением своего мнения с мнением противоположным и с их обоюдной критикой, в ходе которой происходит поиск общего содержания, поиск *объективной истины*. Это, в свою очередь, предполагает обоюдную заинтересованность в знании объективной истины, то есть в том, что выходит за рамки частных суждений и веры и является результатом познания меняющегося мира, а не постулатов, объявленных вечными и признаваемыми лишь в рамках закрытых идеологических или религиозных доктрин.

Современная демократия (реальная, а не формальная) как политическое условие общественного диалога/полилога и сам общественный диалог/полилог зависят не только и не столько от политико-правовой процедуры, но и от наличия в обществе *единого поля рациональности*, воплощенного в данной социокультурной форме. Классовое партнерство в рамках так называемого «социального государства» в Западной Европе середины XX века и социальный консенсус в Советском Союзе стали возможными именно потому, что люди, пройдя сквозь горнило войн и революций, вынужденно начали общаться друг с другом на языке смыслов, выработанных европейцами в эпоху Возрождения и Просвещения, на языке практических проблем, светского права, рациональной философии и науки, который позволял выражать общие интересы, но никак не религиозных мифов и сословных предрассудков средневековья или манипулятивных идеологий. Конфессиональный и корпоративный эгоизм иррациональной веры был отброшен ради общего понимания социальных проблем и практического решения их. (Другое дело — насколько последовательно и как долго продолжался этот диалог, дискредитированный в эпоху неолиберализма, мультикультурализма и постмодернизма, но это уже другой разговор.)

При этом в современных секулярных обществах (не только западном, но и в советском) изменилась и социальная роль религии. Господствующим церквям пришлось смириться с отделением от государства и с подчинением светскому праву. В общественный диалог им пришлось включаться на правах равного либо подчиненного партнера. Как бы ни относился к этому обстоятельству церковный клир, но это пошло самой религии на пользу. Она очистилась от дискредитирующих ее исторических ассоциаций с тем своим состоянием, когда она открыто защищала власть и собственность имущих. Так, католицизм в «теологии освобождения» и в энцикликах Папы Римского Иоанна Павла II заявил о своей ответственности перед трудящимися.

Обсуждать общественные темы с точки зрения мифологического сознания, как это стало принято в современной России, при том, что в ней сохранилась сложная социальная и духовная структура, — значит разрушать *общее пространство рациональности* (унаследованное от позднесоветского времени) и уничтожать условия общественного диалога/полилога, а с ними вместе — условия всякого социального компромисса и партнерства. Результатом этого являет-

ся такая ситуация, в которой у спорящих сторон слабеет либо исчезает совсем возможность доказать свою правоту методом простого убеждения. Они могут формально разговаривать на одном национальном языке, но в действительности они выражают разные картины мира и разговаривают на разных интеллектуальных языках, что исключает взаимное понимание.

Формирование вышеуказанных социально-культурных предпосылок социального конфликта, если не сказать — гражданской войны, в современной России — не результат чей-то злобной воли и коварных происков-замыслов, а закономерный этап развития противоречий поздней и постсоветского общественного сознания. Мифология возвращения, распространившаяся в нашей стране с конца 80-х, дала несколько лет назад свои плоды в виде официальной идеологии «духовных скреп», требующей веры, интеллектуального подчинения и уничтожающей всякие условия современного диалога/полилога. Принятием закона о защите чувств верующих последние были поставлены в неравную позицию по отношению к остальным категориям населения. Но самое главное в том, что религия была *политизирована*: она снова стала использоваться как политический инструмент для подавления инакомыслия и делания карьеры. Эту тенденцию в либеральной публицистике принято называть «неофеодальной», хотя, конечно понятно, что к феодализму она имеет отношение лишь по форме. В действительности речь здесь должна идти о попытке легитимизации тотального идеологического контроля со стороны государства, а подобный контроль свойственен не только феодальной, но и капиталистической эпохе.

Этой тенденции приписывают способность мобилизовать общество перед лицом внешней угрозы. Но пока она лишь провоцирует внутренний конфликт. Сторонникам «духовных скреп» и православного самодержавия, конечно, бесполезно говорить о том, что их социальные проекты могут стать последовательно реализованными лишь при условии тотальной деурбанизации (рурализации) страны, аграризации экономики, примитивизации потребностей населения, что все это неизбежно повлечет военно-политическое поражение государства, его распад и последующую колонизацию (в той или иной форме) державами. Бесполезно говорить им об этом потому, что сами они не мыслят социологическими и экономическими категориями. Мы будем указывать им на противоречия реального общества, а они пользуются языком, скрывающим эти противоречия: «духовность» — вместо интересов, «покаяние» — вместо осознания социальных проблем, «молитва» — вместо их практического решения, вера — вместо доказательств, «подчинение» — вместо убеждения.

Пока не ясно, победит ли в России эта тенденция окончательно и повсеместно. Пока ее проявления не нарушают фактических правовых стандартов, принятых в иных странах ЕС и США. Это необходимо признать, чтобы не выглядеть комично, подобно либеральным пропагандистам, утверждающим в стенах Ельцин-центра (в чей попечительский совет входят высокопоставленные чиновники), будто в России — «фашистская/неофеодальная диктатура».

## 2

Есть какой-то особый цинизм истории в том, что именно в год столетия Великой Октябрьской революции наше общество оказалось вовлеченным в дискуссию о Николае II — не о своем будущем или настоящем, а о своем прошлом. Причем в дискуссию о личности, своей славой обязанной не своим творческим озарениям, не научным открытиям и не моральным подвигам, а как раз катастрофическому отсутствию всего этого, правда, в глазах православной общечеловечности оправданной титулом самодержца и мученической смертью. Последняя считается причиной объявления его святым. Но мало ли кто в России не умирал и более мучительно! Понятно, что мученичество само по себе — не есть действительная причина канонизации Николая. К предикату мученичества было добавлено еще кое-что более существенное и уникальное, что и сделало его святым в глазах верующих: это *титул*, отражающий *божью волю*. Таким образом,

на самом деле канонизированы были титул, иерархия, а личность Николая Романова — лишь постольку, поскольку он данным титулом владел. Кабы он его был лишен, то на этого человека с военной выправкой и бессмысленными глазами никто бы и не обратил внимания, будь он хоть разрезан чертами по кусочкам.

Эта дискуссия обществу навязана. Она никак не соответствует его полному, житейским потребностям — именно тем, которые удовлетворялись в советском, послереволюционном обществе: в качественном образовании, социальных гарантиях, относительно доступном жилье, детских садах и т.д. Оскорбляться покушением на память самодержца, равно как и снимать фильм на темы сплетен о нем, может лишь тот, кто всем этим уже обеспечен и кому не интересна судьба тех, кто обделен этими элементарными благами. Иначе говоря, эта дискуссия начата и спровоцирована властью и собственностью имущими и в интересах власти и собственности имущих. Какими бы соображениями ни руководствовались лично г-жа Поклонская и режиссер Учитель, тот факт, что тяжба между ними раскручена либерально-буржуазными и консервативно-государственными СМИ до национальных масштабов, говорит о том, что настоящий, общественный предмет этой тяжбы — не выяснение реального облика данного исторического персонажа (эта задача решается в тиши архивов и библиотек), а *забалтывание социальной повестки*. Перед выборами президента власти важно дать понять гражданскому обществу, что у него есть лишь одна альтернатива: либо традиционализм, либо либерализм, а третьего не дано. Между тем «третье» — это и есть социальная повестка, борьба трудящихся за свои права.

Вовлеченным в эту дискуссию о Николае II оказался и журнал «Урал». Он опубликовал две статьи. В одной из них, принадлежащей В.П. Лукьянину, показано, как российское самодержавие своей недалекой политической, разрушавшей не только экономику страны, не только ее внешнеполитические перспективы, но и возможности общественного диалога/полилога, само, не желая этого, подготавливало революционный взрыв 1917 года. При этом автор опирается на высказывания не революционеров, а политических деятелей господствующего класса: А.И. Гучкова — лидера партии «Союз 17 октября», председателя III Государственной думы (1910–1911), члена Государственного совета, С. Ю. Витте — министра путей сообщения (1892), министра финансов (1892–1903), председателя Комитета министров (1903–1906), председателя Совета министров (1905–1906), П.Д. Святополка-Мирского — министра внутренних дел (1904–1905). Подобный подбор источников не случаен. С некоторых пор в России принято считать, что революционеры добивались власти из корыстных побуждений, следовательно, они не могли быть объективными, а вот власть и собственность имущие — они совершенно бескорыстны и способны к объективным оценкам. Конечно, это абсурд, но для читателя, воспитанного на Солженицыне, Ципко, Миграняне, Дугине и им подобных, в этом логика есть. Автор статьи, возможно, и не согласен с ней, но он ее явно учитывает, стараясь быть убедительным для консервативно и либерально настроенного читателя. Николай II «сам спровоцировал бурю, он же ее и пожал» — так итожит В.П. Лукьянин свое маленькое исследование. Отсюда следует: хотите избежать революции — вовремя разрешайте социальные проблемы, которые порождают революционный катаклизм.

С ним спорит О.О. Глаголев, православный журналист, председатель Свято-Елизаветинского малого братства. Ему «хочется опровергнуть почти каждое слово» в статье Лукьянина, то есть, надо полагать, и свидетельства выдающихся политических деятелей царской России. Только на каком основании — неясно. Никаких фактов, опровергающих эти свидетельства, автор не приводит. Ему только «хочется», и он наивно полагает, что этого достаточно. Хотя в его статье мы также найдем высказывания современников великих катаклизмов начала XX века. Это мнения поэта Б.Л. Пастернака, философов И.А. Ильина и С.Л. Франка. Но если в первой статье реплики Гучкова, Витте и Святополка-Мирского касались ситуации в стране накануне революции, если Лукьянин пишет об ее общественно-исторических предпосылках, складывающихся помимо самого революционного движения, то цитируемые Глаголевым авторы говорят о дру-

гом предмете: о самой революции. То есть один автор говорит о Фоме, а другой думает, что возражает ему, говоря о Ереме. При этом Глаголев пытается придать вид объективности своим оценкам. Он как бы соглашается с Лукьяниным: «Монарх в нашем случае, конечно, несет особую ответственность за происшедшее». Еще бы! С этим трудно не согласиться. Но почти тут же он опровергает сам себя: «Ответственность за два государственных переворота 1917 года — конечно, не равная — лежит на разных группах и слоях российского общества». Этот нехитрый прием имитации объективности, когда признается правота оппонента, но вслед за этим все же постулируется противоположная точка зрения, — прием, рассчитанный на очень неискушенного читателя, повторяется в статье несколько раз. Наконец, статья венчается двумя утверждениями: что «русская катастрофа 1917 года не объяснима лишь набором причин» (то есть для автора не имеет никакой ценности вся научная социология революции от П. Сорокина до Б. Кагарлицкого) и что в революции «есть “тайна зла”, которая раскрывается в этом адском действе». Выше автор возложил ответственность за революционный катаклизм на все слои российского общества, не преминув отметить, что «есть особая ответственность рабочих и особая крестьян» (мало терпели, что ли? — но нет!). И теперь выходит, что все они — ни больше ни меньше как соучастники «адского действия», то есть, надо полагать, пособники дьявола.

Из этих рассуждений, продекларированных Глаголевым, могут последовать какие угодно теоретические выводы, но практический вывод может быть только один: с соучастниками «адского действия» диалог невозможен. Коль скоро то, что нуждается в объяснении (революция) объяснено необъяснимым («тайной зла» и «адским действием») — это в принципе объяснить невозможно, это часть картины мира, основанной на вере, то зачем понимать и даже пытаться понять тех, кто защищает первое?

Таким образом, эти две статьи — яркий образец нарушенного единства общественного поля *рациональности*. Лукьянин и Глаголев говорят на разных интеллектуальных языках. Первый — на языке логики, науки, фактов, аргументов и доказательств, второй — на языке конфессионального мифа и неотрефлексированных эмоций. Это разговор двух разумов, которые никогда не смогут прийти к единому мнению. Глаголев в рамках своего мифа никогда не узнает логику действительного исторического процесса. Жертвы 9 января, Ленского расстрела и Первой мировой войны для него так и останутся частью «тайны зла» — и для его познавательной способности этих двух слов будет достаточно. А Лукьянин, как носитель научной рациональности, никогда не поймет, почему союз веры и здравого смысла обосновывается тем, что «основавший на основании Евангелия и православной веры уникальное Трудовое Крестовоздвиженское братство русский аристократ Николай Неплюев именно в утрате веры Христовой видел осуждение народа». В рассуждениях Глаголева нет логики, но ее и не может у него быть: они основаны на вере, приспособленной не для диалога между инакомыслящими, не для поиска компромисса и партнерства, а для конфессионального монолога и интеллектуального господства, в политическом смысле — для оправдания любой власти, ведь, как известно, «всякая власть — от бога».

То, что представители православной общественности часто оказываются носителями реакционного мировоззрения, — это не ново. Ново то, что они, уже без боязни общественного осуждения, открыто об этом заявляют. Это говорит о близости той черты, за которой «холодная» гражданская война перерастает в «горячую».

А что же революция? Неужели только Николай II несет за нее ответственность, и лишь его просчеты стали ее причиной?

Чтобы разрешить этот вопрос, нужно разделить его на моральную и политическую часть. С моральной точки зрения абсолютная власть предполагает абсолютную ответственность, и тот, кто претендует на самодержавие, должен разделить и ее. Расстрел царя — это не только дань европейской революционной традиции (сформировавшейся в ходе буржуазно-демократических революций, и если кто-то приписывает ее коммунистам, то мы можем лишь это объяснить его дремучим

невежеством), но и неизбежная расплата за преступные, повлекшие многие жертвы просчеты царя. Конечно, убийство ни в чем не повинных его приближенных и детей — это варварство. Но это плебейское варварство есть порождение как раз тех общественных порядков, выражением которых было самодержавие.

Однако *политически*, осуществляя управление огромной империей, Николай не был одинок. Социальному прогрессу препятствовал не столько он лично, сколько вся защищаемая им политическая и экономическая система, самодержавие как таковое. Поэтому ответственность за всевозможные катастрофы вернее было бы возложить на самый институт самодержавия, на классы, которые его поддерживали, а не только на защищавшие его личности.

Самодержавие само по себе не было *основной* причиной бед России. Оно оказалось свергнутым буржуазно-демократической революцией, а беды остались: война, сложный комплекс экономических проблем, «земельный вопрос», массовая безграмотность, технологическая отсталость, имущественное и сословно-классовое неравенство и т.д. После Февраля выяснилось, что буржуазия, как отечественная, так и мировая, менее всего озабочена скорейшим выводом России из кризиса и ее модернизацией. Программа демократического капитализма не имела в России сторонников, кроме слабого «социалистического» Временного правительства. Конфликт, развернувшийся сразу же после его свержения, — это конфликт главным образом между противниками буржуазного строя: между большевиками и эсэрами, десятилетиями практиковавшими индивидуальный террор. Только фантазеры могут приписывать последним убеждения, соответствующие современному демократическому стандарту. Не лишним читателю будет напомнить, что правые эсеры, после ухода из Учредительного собрания большевиков и своих левых соратников по партии, провозгласили ни больше ни меньше как отмену частной собственности на землю. Насколько же комично выглядят те, кто связывает буржуазно-демократическую перспективу развития страны с выборами в Учредительное собрание и его деятельностью! Основная тема гражданской войны — выбор не между буржуазной демократией и «тоталитаризмом», а между традиционным укладом и перспективой *модернизации*, самой возможностью обновления общества — технологического, структурного, экономического, культурного. Многие новые направления были намечены, конечно, еще до революции. Например, реформа русского алфавита. Но в условиях самодержавия они были заморожены в силу косности всей присущей ему политической и экономической структуры. Поэтому в данных исторических условиях это обновление, от которого зависело дальнейшее развитие российской государственности, предполагало радикальную трансформацию социальных отношений, форм собственности и государственности, то есть, предполагало *социальную революцию*.

Все это говорит о том, что класс капиталистов, а с ним вместе и вся совокупность защищаемых им социальных отношений не имели в России будущего. Потому вслед за Февральской революцией и последовала Октябрьская, что она была вызвана этой общественно-экономической, а не чисто политико-институциональной причиной.

Итак, дело, стало быть, в капитализме и в логике его развития самой по себе. Очевидно, что в первую половину XX века он переживает не лучшие времена не только в такой периферийной стране, как Российская империя. Хотя глобальный кризис тогдашнего мироустройства начинается именно в России: в 1905–1907 годах в нашей стране происходит первая в XX столетии революция. Затем в 1912-м — революция в Китае свержает императорскую власть и устанавливает республику. В 1917 году революция снова возвращается в Россию в виде революционного цикла и уже на несколько лет, до 1921 года. В 1918 году происходят революции в Германии и Австро-Венгрии. В 1919–1920 годах Италия переживает «красное двухлетие». В 1919–1921 годах происходит гражданская война в Ирландии, вплоть до провозглашения советской власти в городе Лимерик. В 1919 году революционные события происходят даже в крохотном Люксембурге, где восставшее население свержает власть князя, и ее удается восстановить лишь французским войскам (неужели под пенью «Марсельезы»?). В 1926 году

Великобританию сотрясает всеобщая забастовка, в которой участвовало около 5 миллионов рабочих (около 3 миллионов — только в ночь на 4 мая).

Затем следует фашистская реакция на повсеместный подъем рабочего движения. В 1922 году фашисты побеждают в Италии, в 1933-м — в Германии. Здесь следует указать на противоречие, свойственное фашизму как социальному проекту. В своей практике он не посягает на капиталистическую собственность. Он только подчиняет ее государственной воле, являя собой пример буржуазно-бюрократического этатизма на националистической подкладке. Вместе с тем он мыслит себя как *революцию*, направленную против либерального капитализма и против «коммунизма». Это противоречие разрешается сохранением капиталистической собственности при водружении над ней системы социально ориентированного перераспределения. Это было тем легче сделать, что перераспределялась не только и не столько прибыль отечественных капиталистов, но прежде всего капиталистов поработенных стран. На фоне прежних капиталистических отношений, не знавших никакого государственного регулирования в целях социально ориентированного перераспределения, это, конечно, революция. А сохранение в неприкосновенности капитала — при условии его политической лояльности — отличало фашистскую экономическую систему и от советского «коммунизма».

Но в 1930-е годы антикапиталистические протесты и реформы в Западной Европе вспыхивают с новой силой. В 1932 году шведские социал-демократы во главе с П.А. Ханссоном начинают создавать систему, названную позже «шведским социализмом». В 1934-м в Австрии вспыхивает гражданская война, закончившаяся поражением левых сил и утверждением политического режима, очень похожего на мусолиниевский. В 1935 году правительство Рузвельта провозглашает «Новый курс», приведший к структурной перестройке капиталистического хозяйства в США. В 1936–1939 годах происходит Великая испанская революция. Во Франции в 1936 году на выборах побеждает Народный фронт, причем весь Париж, за исключением двух округов, голосует за коммунистов.

Все эти события, включившие в себя как острые социальные конфликты, так и «революции сверху» — глубокие социально-экономические реформы, сливаются в единый процесс *мировой социальной революции*. Это именно революция, ибо здесь происходили фундаментальные и скачкообразные изменения в социальных связях, отношениях собственности, формах государственности и идеологии, а если конкретно — структурная перестройка всего механизма капиталистического способа производства в планетарном масштабе. Октябрьский переворот, при всей его значимости, предстает лишь как эпизод этого глобального процесса, этого всемирного «адаского действия». Он был его двигателем, но отнюдь не единственным. Политические формы этого революционного процесса (реформы или гражданская война, революция «сверху» или «снизу») определялись степенью понимания господствующим классом необходимости назревших перемен, а так же политической культурой населения.

Избегать конспирологических схем (абсурдность которых может зашкалить в силу масштабности рассматриваемого явления) в поиске причин этого мирового революционного процесса можно только одним способом: признать, что капитализм как способ производства вступил в полосу своего нисходящего развития и что буржуазия сама не в силах обуздать его противоречия. Уже во второй половине XX века он не только распался на социально-экономические «модели» (скандинавская, англо-саксонская и т.д.), но и повсеместно в развитых обществах превратился в уклад и объект общественного и государственного политико-правового регулирования ради социально ориентированного перераспределения. Поздние неолиберальные практики смогли лишь уменьшить объемы перераспределяемого продукта, но не сокрушить эту новую общественную систему в целом. Сама по себе система социально ориентированного перераспределения, создающая условия для личного развития трудящихся, имеет собственную логику, выходящую за пределы логики капитализма. Поэтому вполне резонно назвать ее «паллиативным» или «институциональным» социализмом



в отличие от социализма как системы общественных связей. Современное общество представляет собой *незавершенное отрицание* капитала и рынка, *переходное состояние*, включающее в себя как элементы старого, так и нового общественного устройства. Таков объективный результат вышеупомянутых революционных событий. Мировая социальная революция первой половины XX века победила, но имела незавершенный характер. Отсюда — все ее противоречия, сконцентрированные в советской истории. В настоящее время, среди непрекращающихся волн экономических и политических кризисов, человечество стоит на пороге нового мирового революционного процесса.

Если мы обратимся к советской эпохе, то нам придется констатировать, что на всем ее протяжении сохранялись и воспроизводились в тех или иных формах *элементы* старого способа производства: деньги, банковская система, рынок (в разных социально-юридических статусах) и т.д., словом, все, что служит выражением товарно-денежных отношений. Но в то же время советское общественное сознание, по крайней мере, в форме государственной идеологии прямо претендовало на то, чтобы их превзойти. Даже при поверхностном взгляде на советское общество мы, едва начав его анализ, натываемся на противоречие между общественной практикой и общественным сознанием и на противоречия в самой общественной практике. Это позволяет сформулировать проблему советского общества: оно еще оставалось капиталистическим и уже не было таковым. И этим оно не отличается от современного ему западного.

Противоречие это содержится в самой точке отсчета советской истории — в Октябрьской революции. Она явилась попыткой преодолеть капитализм, но ее деятели вынужденно воспроизвели его элементы в своеобразной форме. Вся предпринятая большевиками переделка социальных связей — это одни сплошные противоречия в их практике между намерениями и возможностями. Раздача земли крестьянам, попытка демократизировать управление производством, установив «всеобщий учет и контроль», — и попытка тотального огосударствления. Признание независимости прибалтийских республик и вторжение в Польшу. Декрет о сельхозналоге от 30.10.1918 года — прообраз будущего продналога, положившего начало нэпу, и усиление хлебной монополии. Административный деспотизм Троцкого и его же записка о нэпе. Апологетику «военного коммунизма» и нэп разделяют недели!

Эти противоречия свидетельствуют о том, что в ситуации, в которой пребывали большевики, не они уже господствовали над обстоятельствами, а обстоятельства господствовали над ними как не познанная, стихийно развивающаяся действительность. Это *непознанное абстрактное*, как бы носившееся над их головами, представляло собой существенный, определяющий момент их конкретной практической деятельности. Только этим можно объяснить противоречивость их практики, унаследованную последующими поколениями советского руководства и общества в целом. Эти обстоятельства, укорененные в социально-историческом контексте, содержали истину их революции. Историческое содержание Октябрьской революции определяли социальные процессы, выходящие за рамки российских.

Таким образом, ведя речь о причинах Октябрьского переворота, необходимо иметь в виду их сложную иерархию. Воля отдельных людей, даже таких высокопоставленных, как Николай II, а потом — Ленин, Троцкий или Сталин, отнюдь не является ее фундаментом. Их воля играла общественную роль лишь потому, что оказывалась созвучной общественной воле огромного количества других людей. Учитывая это обстоятельство, необходимо признать, что концентрация внимания на жизни последнего российского царя лишена всякого познавательного смысла. Так же мало общественного смысла в превращении судьбы Николая II в тему дискуссии национального масштаба. У общества найдутся интересы поважней, и самый актуальный из них состоит в том, чтобы добиться назревших перемен без «горячей» гражданской войны, чтобы избежать *царского пути в революцию*.

## Сергей Беляков

### Против любых революций

Я против любых революций.

У революции есть и объективные причины. Есть и субъективные факторы, которые могут затормозить или ускорить ее подготовку. Личность императора — всего лишь один из этих субъективных факторов.

Революция уничтожает государство и общество. Да, появится на руинах новое государство, создадут и новое общество, но будут ли они лучше прежних?

Революция очень редко ведет к процветанию и прогрессу, гораздо чаще — к разрухе, бедствию, гибели. Исключения вроде Славной революции в Англии 1688–1689 годов или революционной американской Войны за независимость (1775–1783) только подтверждают правило.

Удивительно, но от революции 1917 года не выиграл никто. С господствующими классами все понятно. Буржуи лишились своей собственности. Повезло только самым дальновидным, успевшим вложить часть капитала в акции иностранных компаний, во французскую или североамериканскую недвижимость, в доллары, франки или фунты стерлингов. Так что выиграла те, кто меньше вкладывал в отечественную экономику, а больше — в иностранную. Уже в этом заметна несправедливость революции.

Дворяне лишились поместий, сожженных и разграбленных в 1917–1920-х. Многие погибли, были расстреляны без суда, только за «дурное» социальное происхождение. Уцелевшие эмигрировали. А кто не смог уехать за границу, не решился покинуть родину, тот годами, десятилетиями вынужден был скрывать свое происхождение или отказываться от своих предков.

Трагедия русского духовенства — архиереев, монахов, священников да и просто глубоко верующих мирян — хорошо известна. Сколько их было замучено, сколько убито. К 1939 году в советской России не осталось ни одного монастыря. Сохранились обители, оказавшиеся за рубежом. Псково-Печерский монастырь — в Эстонии (до 1940 года), Почаевская лавра — в Польше (до 1939 года). А вот Александро-Невская лавра была под властью СССР, и большевики устроили в ней... колонию для малолетних преступников: «Лавра была последней ступенью исправительной системы. Отсюда было только две дороги: либо в тюрьму, либо назад в нормальный детдом. Попасть в лавру считалось в те годы самым большим несчастьем, самым страшным, что могло ожидать молодого правонарушителя»<sup>1</sup>.

Большая часть церквей была закрыта. Священников в лучшем случае лишали источников существования, в худшем — их ждал ГУЛАГ. Храмы взрывали, разрушали, превращали в склады, в сельские клубы, просто заколачивали окна и двери досками. Большевицкие гонения на церковь сопоставимы с временами

---

**Сергей Беляков** (1976) — историк и литературовед. Родился в Свердловске. Окончил Уральский государственный университет. Заместитель главного редактора журнала «Урал». Автор книг «Гумилев сын Гумилева» (М., 2012), «Тень Мазепы» (М., 2016). Лауреат премии «Большая книга» и многих других премий. Живет в Екатеринбурге.

<sup>1</sup> Белых Г., Пантелеев Л. Республика ШКИД.

языческих императоров, что мучили первых христиан, отдавали их на съедение львам и гиенам. XX век дал немало исповедников и мучеников.

Трагедия казачества и крестьянства просто беспримерна в русской истории. Все началось с грабежей продотрядов, с «расказачивания» времен Гражданской войны, с расправы над восставшими крестьянами. А кончилось дело коллективизацией, Голодомором, физической гибелью миллионов людей. Оставшиеся в живых подались в города. Русская деревня была обескровлена, традиционный русский крестьянский мир перестал существовать, как перестал существовать мир казачий. В наше время места бывших казачьих хуторов занимают чеченцы. Была станица, стал — аул. Они не завоевали эту страну, не выгнали хозяев, нет. Просто пришли на опустевшую землю.

Валентин Петрович Лукьянин упоминал крепостничество, но разве колхозы вплоть до хрущевско-брежневских времен не были новой формой крепостного рабства? Работа в колхозе «за палочки», грабительские налоги с приусадебных участков и как результат — беспросветная нищета. Когда поляки в 1939 году увидели «освободителей-красноармейцев, в большинстве своем вчераших колхозников, то были просто поражены их бедностью: «Трудно было поверить, что большевистские солдаты так оборваны. Автоматы висели на веревочках, а вместо ремней солдаты были подпоясаны тряпками. Лошади выглядели как скелеты. Вступившие в Гродно в сентябре 1939 г. «красноармейцы не знали, как есть масло. Они мазали его на пирожные с кремом»<sup>2</sup>.

Но уж рабочему-то классу революция должна была принести пользу? Сначала и в самом деле принесла. Получили рабочие долгожданный восьмичасовой рабочий день, потребовали отмены сверхурочных. И не надо сдельной работы, пусть будет твердый оклад. Работал или не работал, иди в кассу получать деньги. И вот уже требуют семичасовой день, а на знаменитой фабрике «Треугольник» — шестичасовой! Чернорабочие потребовали уравнивания в зарплате с квалифицированными рабочими. Зарплату повышали где на 20%, где на 40%, а где и в четыре раза. На заводах решили избирать... инженеров. Решение понятно, ведь инженер в те времена был человеком обеспеченным, получал хороший оклад. С Ижорского завода рабочие выгнали 38 инженеров и мастеров, видимо, особенно им досаждавших при «старом режиме»<sup>3</sup>. Так постепенно начнется развал индустрии, заводы встанут, а рабочие будут получать хлеб по карточкам. В будущем их ждет жесткий, почти военный режим, когда прогул и опоздание станут уголовными преступлениями.

Революция началась с недовольства очередями в хлебных лавках. Хлеб-то был, склады забиты мешками с мукой, но по бесхозяйственности и бестолковости не организовали даже их разгрузку. После революции же хлебную норму сократили, а очереди стали привычным явлением. И стоять в этих очередях еще детям и внукам тех, кто приветствовал революцию. Вплоть до конца Советского Союза стоять.

Плохо стало всем, почти всем. Не выиграли даже победители-большевики. Посмотрите на биографии вождей революции. Чем окончилась жизнь Льва Давидовича Троцкого, помните? А долго ли зажились на свете Зиновьев, Каменев, Радек, Бухарин? Военные, поддерживавшие революцию, мечтали стать новыми Бонапартами. Сбылись их мечты? Михаил Муравьев, победитель Петлюры, застрелен при аресте в 1918-м. Михаил Тухачевский, победитель Колчака, расстрелян как враг народа в 1937-м. И таких судеб много. Счастливые исключения — редкость.

В наше время снова начали романтизировать революционеров, борцов за права трудящихся, красных героев. Вот только историческая реальность соотносится со светлой мечтой, как высокие идеалы анархизма с отрядом махновцев, нагруженным добычей.

<sup>2</sup> Тихомирова В.Я. Советский человек на Кресах в 1939 — 1941 гг.: свидетельства очевидцев и художественные образы. // <http://ganfayter.livejournal.com/208714.html>.

<sup>3</sup> Солженицын А.И. Красное колесо. Повествование в отмеренных сроках. Узел III. Март Семнадцатого. Книга 4. — М.: Время, 2009. С. 476.

Да, были и красные герои, были и бескорыстные борцы за светлую и прекрасную идею. Вечная им память! Но революция открыла дорогу и проходимцам, и просто уголовникам, бандитам, которые спешили поживиться за счет всяких буржуев и «контриков». Всем, кто чрезмерно увлечен революционной романтикой, я рекомендую очерк Ивана Бунина «Красный гимн». Бунин там пересказывает слова одного офицера, который оказался в петлюровской тюрьме вместе с тремя революционными матросами: «...помимо всепобеждающей наглости и каиновых печатей на лицах этих “интернационалистов”, была у всех у них уйма денег, — откуда-то из штанов они то и дело вытягивали целые пачки самых разнообразных кредиток. <...> Едва проснувшись, матросы тотчас же отправили свободного караульного солдата за “самогоном”, за папиросами, за мясными и яблочными пирожками и за “колотухой”, жирной простоквашей из прокипяченного докрасна молока. А напившись, наевшись, накурившись до отвала, икая от плотной сытости, они растянулись на нарах и начали играть в карты на разостланном полушубке из белой овчины, явно содранном с чьих-то офицерских плеч».

Потом один из революционеров запел:

Наберу я товарищей смелых  
И разграблю я сто городов,  
Раздобуду казны, самоцветов —  
И отдам его все за любовь...

Но слушателя-офицера, как и самого Бунина, больше поразила другая песня, точнее — частушка.

Э-эх, жил бы да был бы,  
Пил бы да ел бы,  
Не работал никогда!  
Жрал бы,  
Играл бы,  
Был бы весел навсегда!

«И все это так ярко, так легко и откровенно, с такой полнотой и убежденностью вырвалось у него из груди, что я так и подскочил:

— Вот он, вот, подлинный, настоящий красный гимн! Не марсельеза там какая-то, не интернационал, вовсе нет, а именно она, эта изумительная, ошеломляющая своим ритмом и своей жадой “пить да жрать” частушка! Тут для этого “борца за коммунизм” весь закон и все пророки!»<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Бунин И.А. Красный гимн. // Полное собрание сочинений в 13 томах. Т. 8. — М.: Воскресенье, 2006. С. 279–281.

## Владимир Губайловский

### Письма к учёному соседу

#### *Письмо 18. Стивен Хокинг и свобода воли*

В этой колонке я хочу вернуться к Матрице, то есть к модели реальности, о которой говорил в февральском выпуске<sup>1</sup>. Рассматривать эту модель я буду в связи с вечной философской проблемой — вопросом о свободе воли.

В полностью детерминированном мире, где по некоторому начальному состоянию системы мы можем с произвольной точностью предсказать положение дел, которое сложится в будущем, свободы воли быть не может потому, что в такой системе нет реальных (или даже мыслимых, то есть не противоречащих действующим в модели законам) альтернатив единственному пути, по которому пойдет система.

Тут возникает много вопросов: что такое точное знание начальных условий? что такое предсказание, и на каком основании оно делается? существует ли вообще «полное основание», о котором говорил Лейбниц? В разное время философы очень по-разному отвечали на эти вопросы. Но одно мне кажется на сегодня достаточно ясным: вопрос о свободе воли больше не является чисто философской проблемой, которая разрешается на основе абстрактных рассуждений. Это вопрос очень конкретный, можно сказать, практический, и ответ на него тоже должен быть обоснован практически — экспериментом (пусть и мысленным), который, возможно, не осуществим сегодня, но и не запрещен наукой. То есть ответ должен соответствовать таким, например, ограничениям, как законы сохранения — энергии, импульса, момента количества движения и т.д.

Если Вселенная может быть полностью воплощена в результате реально выполнимого вычислительного эксперимента (а это и есть Матрица), то свободы воли — нет. Существуют только технические трудности: мы не можем все предсказать, потому что недостаточно хорошо считаем. Если сегодня у нас нет машины, которая способна выполнить программу, а завтра она появится, — это ничего не меняет по существу: человек — это детерминированный компьютер, все его действия предсказуемы, никакого выбора, который не был изначально запрограммирован, у человека нет. То есть человек полностью определен внешними условиями, например, законами природы или Матрицей (что в данном случае одно и то же).

В книге «Высший замысел» Стивен Хокинг и его соавтор Леонард Млодинов ввели понятие моделинезависимой реальности. Мы воспринимаем реальность только через модель: сначала мы фиксируем модель и только потом строим реальность, соответствующую этой модели. Причем одна и та же «объективная реальность» может иметь несколько разных моделей, и все они будут «истинными», если соответствуют принятым в модели «законам природы». Спрашивать, что такое «объективность» и «истинность», не имеет смысла, поскольку никакой единственной «объективной реальности» не существует.

Одну из таких моделей в своей февральской колонке я и назвал Матрицей, или глобальным вычислительным солипсизмом (со всем уважением к еписко-

<sup>1</sup> Письма к ученому соседу. Письмо 15. Живем ли мы в Матрице. «Урал», 2017, № 2.

пу Джорджу Беркли и Людвигу Витгенштейну). Эта модель показалась мне неудовлетворительной, то есть не соответствующей некоторым наблюдаемым процессам, — в ней нарушаются законы природы. А вот Хокинг и Млодинов считают иначе. Приведу пространную цитату из их книги:

«Альтернативная реальность... представлена в фантастическом фильме «Матрица», где люди, сами того не осознавая, живут в смоделированной виртуальной реальности, созданной компьютерами с искусственным интеллектом для того, чтобы поддерживать людей умиротворенными и довольными, в то время как компьютеры подпитываются от них биоэлектрической энергией (кто его знает, что это такое!). Возможно, это не так уж далеко от реальности, поскольку многие из нас предпочитают проводить свое время в искусственно созданной реальности на веб-сайтах вроде «Second Life» («Вторая жизнь»). А как мы можем узнать, не являемся ли мы сами всего лишь персонажами в сериале, сочиненном компьютером, подобно герою Джима Кэрри в фильме «Шоу Трумана»? Если бы мы жили в искусственном, воображаемом мире, события не обязательно были бы логически связанными, не обязательно подчинялись бы законам. Инопланетянам, управляющим таким миром, было бы интереснее наблюдать за нашими действиями в такой, например, ситуации, когда полная Луна расколется пополам, или когда всех сидящих на диете охватит неодолимая тяга к тортам с банановым кремом. Но если бы инопланетяне действовали строго по законам, то было бы невозможно определить, что существует другая реальность, скрытая за искусственно созданной. Мы с легкостью могли бы назвать мир, где живут инопланетяне, реальным, а мир, созданный с помощью компьютеров, — ложным. Но если, подобно нам, существа в искусственно созданном мире не могут взглянуть на свою вселенную со стороны, то у них не будет причины для того, чтобы усомниться в собственных картинах реальности. Таков современный вариант представления о том, что все мы являемся персонажами в чьем-то сне. Эти примеры приводят нас к заключению: не существует концепции реальности, не зависящей от картины мира или от теории. Мы же вместо этого примем точку зрения, которую станем называть моделезависимым реализмом, — идею о том, что любая физическая теория или картина мира представляет собой модель (как правило, математической природы) и набор правил, соединяющих элементы этой модели с наблюдениями. Это дает основу для интерпретации современных научных данных»<sup>2</sup>.

В такой модели свободы воли нет. Ее можно назвать вычислительным детерминизмом. Вообще, «детерминированные» модели гораздо популярнее среди философов и ученых, чем модели недетерминированные. Это довольно естественно: детерминированную модель можно кратко описать, перечислив работающие в ней законы. С моделями недетерминированными иметь дело труднее, там неясно, что же, собственно, описывать, поскольку про алогичное поведение системы мы только и можем сказать, что оно законам логики не подчиняется. А это «апофатическое» определение нам мало что дает.

В своей Дираковской лекции в 2002 году Стивен Хокинг остановился в том числе и на свободе воли, и на возможности создания конечной полной теории, которая описывает окружающий нас мир<sup>3</sup>. Лекция называлась «Гёдель и конец физики» (на сайте Хокинга она размещена под несколько другим названием: «Гёдель и конец Универсума»). При чем тут Гёдель, мы еще поговорим).

Хокинг начинает с того, что приводит примеры детерминированных моделей. И первая такая модель — это лапласовский мир. Согласно Пьеру Лапласу, Вселенная представляет собой совокупность движущихся частиц. Все они подчиняются закону всемирного тяготения. Если бы существовал достаточно

<sup>2</sup> Стивен Хокинг и Леонард Млодинов. Высший замысел. — Санкт-Петербург: «Амфора», 2013, С. 48–49. Это перевод английской книги: Stephen Hawking and Leonard Mlodin. The Grand Design, 2010.

<sup>3</sup> Stephen Hawking. Godel and the End of the Universe: <http://www.hawking.org.uk/godel-and-the-end-of-physics.html>. Все цитаты из этой лекции даются по указанному ресурсу в моем переводе с английского.

сильный ум (так называемый Демон Лапласа), способный в некоторый момент времени узнать положение и скорость всех частиц во Вселенной, он мог бы абсолютно точно рассчитать их траектории и положение в любой момент прошлого и будущего. Это полный детерминизм. Проблема этой модели состоит в том, что прошлое не отличается от будущего: время не учитывается в модели явно, и непонятно, почему невозможен возврат в прошлое. А это противоречит наблюдаемой Вселенной: наблюдаемое нами время течет только в одном направлении — из прошлого в будущее.

В 1920-е годы, когда появилась квантовая механика, стало понятно, что проблема не только во времени. Вернер Гейзенберг сформулировал свой знаменитый «Принцип неопределенности». Согласно этому принципу, положение частицы в пространстве и ее скорость в один и тот же момент времени нельзя измерить точно: чем точнее мы измеряем скорость, тем менее точно можем измерить положение, и наоборот. В классическом мире это незаметно, поскольку погрешности измерений слишком велики. А в квантовом мире неопределенность может быть достаточно значительной. Но, как замечает Хокинг, для того, чтобы модель была детерминированной, нам и не надо точно измерять положение и скорость, нам достаточно знать волновую функцию частицы. Если достаточно сильный ум (назовем его Демон Дирака в честь великого английского физика) сможет узнать волновые функции всех частиц, он сможет вычислить «волновую функцию» Вселенной и с точно определенной вероятностью предсказать будущее. Научный детерминизм был спасен, а свобода воли устранена или, если быть более точным, сведена к некоторому вероятностному поведению, предопределенному законами квантовой механики.

В 1920-е годы время уже не было обратимым, но не в квантовой картине мира, а в общей теории относительности. И надо было сделать последний шаг — объединить квантовую картину мира и релятивистскую, то есть ту, которую предлагает общая теория относительности. А вот сделать это оказалось крайне непросто.

Хокинг кратко описывает этапы «великого объединения»: квантовую теорию поля, теорию электрослабого взаимодействия, квантовую хромодинамику, которая описывает сильные взаимодействия — внутри ядер атомов, теорию супергравитации и касается теории струн. То есть современного положения дел. И заканчивает свой обзор М-теорией, про которую никто не знает, почему она «М», и которая в строгом смысле теорией не является, а представляет собой некоторый комплекс теорий, применимых к разным состояниям Вселенной — от микромира до макромира. То, как представляет Хокинг М-теорию, больше всего напоминает географический атлас земного шара. Атлас всегда состоит из системы карт, поскольку сферу на плоскости с помощью одной карты нельзя изобразить без сильных искажений. Например, если мы используем для измерения площадей карту, созданную с помощью стереографической проекции с центром на Северном полюсе, то площади около Южного полюса мы измерим с удовлетворительной точностью, а вот площади у Северного мы получим с ошибкой, стремящейся к бесконечности. Одной картой мы обойтись не сможем. И мы делаем атлас, на котором перекрывающиеся области земного шара на разных картах обязательно совпадают. Так и в М-теории: если две входящие в нее теории описывают одно и то же состояние, они описывают его одинаково, а вот если мы попробуем использовать одну теорию для всех состояний, в некоторых случаях, как и при измерении площадей на карте, ошибка будет стремиться к бесконечности.

М-теория в ее сегодняшнем виде Хокингу решительно не нравится, хотя он и считает ее самой перспективной и не видит ей альтернатив. Она не устраивает Хокинга по многим причинам, но главное: «ни одна из теорий (составляющих М-теорию) не может предсказать будущее Вселенной с произвольной точностью. Для этого понадобится единая формулировка М-теории, которая будет работать во всех ситуациях».

То есть М-теория является недетерминированной моделью.

И Хокинг задается вопросом: а возможна ли вообще теория, которая сможет «предсказать будущее Вселенной с произвольной точностью?»

Здесь у Хокинга и возникает то, что он называет «реминисценцией» теоремы Гёделя о неполноте. Я приведу некоторые его рассуждения по этому поводу только с одной целью: чтобы показать, как можно провалиться настоящий специалист в одной области, если он некритично обратится к другой, в которой он разбирается на уровне не слишком продвинутого дилетанта.

Сначала Хокинг приводит пример автореферентного суждения — парадокс брадобрея. Пример этот, правда, принадлежит не Гёделю, а Расселу, но это ладно.

А дальше Хокинг этот парадокс формулирует: «the barber of Corfu shaves every man who does not shave himself. Who shaves the barber? If he shaves himself, then he doesn't, and if he doesn't, then he does». Я привожу текст по-английски, поскольку здесь важна формулировка — именно в формулировке Хокинга содержится ошибка. Вот дословный перевод Хокинга: «брадобрей с Корфу бреет каждого мужчину, который не бреется сам. Кто бреет брадобрея? Если он бреется сам, то он этого не делает, если не бреется, то делает». Но в такой формулировке никакого парадокса просто нет. Из того, что «брадобрей бреет каждого, кто не бреется сам» не следует, что он не бреет (например, по пятницам) тех, кто и сам может побриться. Ну а значит, и себя тоже может побрить. У Рассела формулировка другая: «Пусть в некой деревне живет брадобрей, который бреет всех жителей деревни, которые не бреются сами, и только их. Бреет ли брадобрей сам себя?» Вот про «и только их» («and those only») Хокинг забыл. Но еще Рассел отметил, что вообще-то и в точной формулировке тоже нет никакого парадокса — такого брадобрея просто не существует.

С теоремой Гёделя, мягко говоря, несколько сложнее, чем парадокс брадобрея, дело обстоит не лучше. Я не буду здесь разбирать приведенное Хокингом «доказательство» теоремы Гёделя, скажу только, что у Хокинга оно выглядит в точности как парадокс лжеца: «Я лгу», который знали еще греки. И к гёделевской теории рассуждения Хокинга отношения не имеют.

Интереснее другое: зачем Хокинга потянуло в эти гёделевские дебри, где запросто можно если не сломать себе шею, то наговорить глупостей (что и случилось).

Хокинг обратил внимание на то, что, когда мы пытаемся построить модель или создать теорию не какой-то части Универсума, а всего Универсума сразу, мы оказываемся в парадоксальной ситуации, поскольку и мы сами, и наши модели Универсуму принадлежат. А это неизбежно приводит к парадоксу типа парадокса лжеца — мы не можем разделить язык и метаязык, формальное и содержательное. И Хокингу показалось, что автореферентные утверждения, подобные тем, что истинны, но не выводимы у Гёделя, это и есть те детерминированные конечные модели, которые мы так хотим получить. И получить мы их не сможем из-за неизбежных парадоксов.

И Хокинг здесь совершенно прав! Только с этими догадками ему следовало обращаться не к Гёделю, а к Гегелю, который в своей диалектике всю эту теоретическую коллизию подробнейшим образом разобрал лет этак двести назад.

Но Хокинг не был бы выдающимся ученым, если бы на этой сомнительной ноте закончил. Он привел и другой — уже физический — аргумент того, что конечная и окончательная детерминированная теория невозможна.

Он говорит: когда мы думаем, например, о демоне Лапласа (или о демоне Дирака, добавлю от себя), мы привыкли представлять себе, что все это хранилище информации о положении и скорости всех частиц Универсума или обо всех волновых функциях, все это имеет нулевую массу. А между тем это не так. Любая информация кодируется положением частиц и является, по сути, некоторым количеством энергии.

Здесь я напомню о пределе Ландауэра, о котором шла речь в февральской колонке: при стирании одного бита информации выделяется вполне конечная энергия:  $2,7 \cdot 10^{-21}$  джоуля<sup>4</sup>. Это очень мало, но уже в современных компьюте-

<sup>4</sup> R. Landauer. Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process. IBM Journal of Research and Development (Volume: 5, Issue: 3, July 1961).



рах возникающее при стирании информации тепло приходится учитывать пока только для того, чтобы правильно охлаждать процессор. Но ведь Хокинг говорит обо всех частицах Вселенной, а это несравнимо большие объемы. Информация имеет массу, поскольку энергия имеет массу:  $E = mc^2$ .

Хокинг приводит такой пример: «Это похоже на слишком большое собрание книг в библиотеке. Пол провалится, и возникнет черная дыра, которая проглотит информацию». То есть, собрав много-много информации (даже не обо всей Вселенной, а хотя бы о ее части астрономических размеров), мы ее неизбежно потеряем, поскольку доступа к информации за горизонтом событий черной дыры у нас нет.

Получается непреодолимый барьер: либо информация провалится в черную дыру, либо ее надо распределить в огромном объеме пространства — галактических или даже метагалактических масштабов. Тогда в черную дыру она не провалится, но «компьютер» такого размера нам не поможет, поскольку информацию надо не только собрать, но и получить к ней доступ, а если ячейки памяти разнесены на миллионы световых лет, какой нам от них прок, ведь скорость света, а значит, и обмена информацией всего лишь 300 тысяч километров в секунду? К тому же вполне возможно, что таких размеров и такой массы астрономический объект может повлиять уже на конфигурацию Универсума, и тогда информация о Вселенной напрямую изменит саму Вселенную. И мы снова приходим к тому, что у нас нет и никогда не будет ни приличной Матрицы, ни окончательной детерминированной теории.

Ситуация складывается довольно любопытная: с точки зрения, изложенной Хокингом в его Дираковской лекции, не наличие свободы воли надо доказывать, а хоть какой-то детерминизм спасать. Да есть ли они вообще, законы природы? Или то, что мы называем «законами», — просто случайная игра хаоса, и, пока мы спим и видим сны, мы убеждены, что познали Универсум, но «бурь уснувших не буди, под ними хаос шевелится».

Хокинг говорит: «При стандартном позитивистском подходе к философии науки физические теории живут в платоновском небе идеальных математических моделей. То есть модель может быть произвольно детализирована и может содержать произвольное количество информации, не затрагивая вселенные, которые она описывает. Но мы не ангелы, которые видят вселенную снаружи».

То есть место, где могли бы жить «идеальные модели», — это платоновский мир идей, или, как говорил древнегреческий философ Прокл, «интеллигибельное пространство».

Конечно, мы не ангелы, но что-то «ангельское» есть в математике. Юрий Манин пишет: «...имеется грандиозная картина великого Замка Математики, возвышающегося где-то в платоновском мире идей, каковой замок мы скромно и преданно исследуем (а не конструируем). Величайшим математикам удается ухватить какие-то контуры Великого замысла, но даже тем, кому открылся всего лишь узор плитки на кухне, это открытие может принести счастье и блаженство»<sup>5</sup>.

Манин не шутит.

Космолог Александр Виленкин в своей книге «Мир многих миров»<sup>6</sup> рассматривает так называемое «творение Вселенной из ничего». С тем, что любой объект Вселенной «нельзя сотворить из ничего», согласны все физики. Но за последние тридцать лет не менее общепринятой стала и та точка зрения, что вся Вселенная сотворена в точности из ничего. Основой такого рассуждения является постулат: вся энергия Вселенной равна нулю, то есть любая «положительная» энергия полностью компенсируется «отрицательной». Вселенная (или, как это происходит в модели мультиверса, бесконечное количество вселенных) рождается из ничего в процессе квантовых флуктуаций этого «ничего» в результате «квантового туннелирования» из низкоэнергетического состояния

<sup>5</sup> Юрий Манин. Математика как метафора. — М.: МЦНМО, 2008. С. 16

<sup>6</sup> Александр Виленкин. Мир многих миров. Физики в поиске иных вселенных. — М.: АСТ: Астрель, Corpus, 2010.

в высокоэнергетическое. И Хокинг, и Млодинов в «Высшем замысле» с этим полностью согласны.

Но есть существенный нюанс, о котором пишет Виленкин: «Картина квантового туннелирования из ничего наводит на другой интригующий вопрос. Процесс туннелирования управляется теми же фундаментальными законами, которые описывают последующую эволюцию Вселенной. Следовательно, законы должны быть «на месте» еще до того, как возникнет сама Вселенная. Означает ли это, что законы не просто описания реальности, а сами по себе имеют независимое существование? В отсутствие пространства, времени и материи на каких скрижалях могут быть они записаны? Законы выражаются в форме математических уравнений. Если носитель математики — это ум, означает ли это, что ум должен предшествовать Вселенной?»<sup>7</sup> Виленкин тоже не шутит.

Остается сложить два и два и сказать: конечно, мы даже знаем, где находится этот «ум, предшествующий Вселенной» — в интеллигибельном пространстве Проклята, где же еще? Правда, физики с такими выводами не спешат. И правильно делают. Им-то (в отличие от математиков) придется отвечать за базар — предъявлять экспериментальные данные. А как их предъявишь? Как это «ничего» исследовать, если нет ни времени, ни пространства, ни материи? Но, судя по всему, у нас нет другого места, кроме платоновского пространства для хранения законов природы.

В 1960 году Нобелевский лауреат (1963) Юджин Вигнер написал статью «Непостижимая эффективность математики в естественных науках». В заключении к статье он говорит: «Чудесная загадка соответствия математического языка законам физики является удивительным даром, который мы не в состоянии понять и которого мы, возможно, недостойны. Мы должны испытывать чувство благодарности за этот дар»<sup>8</sup>.

Действительно, эффективность математики в физике «непостижимая». Математики создают произвольные абстрактные структуры, например, гильбертовы пространства, а потом вдруг оказывается, что эти структуры идеально подходят для квантовой механики, о которой никто из математиков вообще не помышлял. Более того, без нужного математического аппарата квантовую механику нельзя не только понять, ее нельзя было открыть, потому что не было бы подходящей модели.

Вигнер говорит о «естественных науках», но аргументы приводит почти исключительно из физики.

Владимир Арнольд привел слова Израйла Гельфанда, который был не только выдающимся математиком, но профессиональным биологом: «...существует еще один феномен, сравнимый по непостижимости с отмеченной Вигнером непостижимой эффективностью математики в физике, — это столь же непостижимая неэффективность математики в биологии»<sup>9</sup>.

Со столь же «непостижимой неэффективностью математики в биологии» столкнулся и другой российский математик — филдсовский лауреат Владимир Воеводский: «...я выбрал... проблему восстановления истории популяций по их современной генетической композиции. Я провозился с этой задачей в общей сложности около двух лет и в конце концов, уже в 2009 году, понял, что то, что я придумывал, бесполезно. В моей жизни, пока, это была, пожалуй, самая большая научная неудача. Очень много работы было вложено в проект, который полностью провалился»<sup>10</sup>.

Но в биологии математика все-таки нашла применение — это анализ длинных строк (а ДНК — это именно строки) и оптимизация алгоритмов работы со

<sup>7</sup> Александр Виленкин. С. 269.

<sup>8</sup> Юджин Вигнер. Непостижимая эффективность математики в естественных науках. // Успехи физических наук. 1968 год. Март. Т. 94. Вып. 3. С. 546.

<sup>9</sup> Владимир Арнольд. О преподавании математики. // Успехи математических наук. 1998. Январь-февраль. Т. 53. Вып. 1 (319).

<sup>10</sup> Владимир Воеводский. Интервью. <http://baaltii1.livejournal.com/198675.html>.

строками. Это, конечно, полезно, но это совершенно не то, что в физике: там-то математика выступает не в роли услуги, там-то она дает модели, которые позволяют осмыслять действительность. А вот в биологии — никак.

В гуманитарных науках, например в филологии, роль математики еще скромнее. Попытки группы Андрея Колмогорова в 1960-е исследовать стихотворный ритм по большому счету закончились ничем. Теория информации в приложениях к поэзии тоже показала свою «непостижимую неэффективность», и работу группы Колмогоров свернул.

Последние по времени работы, например, группы Франко Моретти<sup>11</sup> в Стэнфорде, по применению методов анализа больших данных к филологии ничего толкового пока тоже не дали. Пока удалось только более наглядно представить материал, а весь его анализ и интерпретация, все, что действительно интересно в работах Моретти, — это результат размышлений нормального филолога.

В филологии у меня есть и свой опыт<sup>12</sup>, и я могу только подтвердить «непостижимую неэффективность математики в филологии» — здесь математика может еще меньше, чем в биологии, и отдельные попытки пока никаких серьезных результатов не дали. Вся поляна просматривается до горизонта, и откуда «явится новый Глюк», да и явится ли он вообще, — совершенно неясно.

Самое большое филологическое достижение математики — это социальные сети, которые позволяют филологам почти мгновенно образовывать летучие группы обсуждений и иногда удается решить совместными усилиями очень нетривиальные вопросы (мне в таких дискуссиях участвовать доводилось). Имеет ли это отношение к математическим методам исследования, подобным тем, что использует физика? На мой взгляд, не имеет никакого.

А то, что математика никак не приложима к процессам творчества — от самого последнего графомана до великих писателей, — настолько очевидно, что никаких доказательств и не требует.

Я рискну высказать следующую гипотезу. Существует пирамида сложности, где математика лежит в основе мироздания как хранилище главных законов природы и познания, и это уже не математический платонизм, а прямо физический. Математический мир предельно детерминирован. А физический мир в основных своих чертах воспроизводит математический, и потому математика здесь эффективна, но физический мир уже не является полностью дедуктивным и детерминированным, потому что он более сложен. Биологический мир еще сложнее, и дальше — филологический, социальный и т.д. Чем сложнее «мир», тем выше неопределенность, тем ниже детерминированность, и тем существеннее влияет на процессы бытия и познания свобода воли. На самом верху этой пирамиды находится «трудная проблема сознания» и размышление сознания о сознании. А само сознание является единственным способом познания детерминированного математического мира, а возможно, и до некоторой степени конструирования этого мира. Что-то похожее на эту гипотезу высказывали Тейяр де Шарден в «Феномене человека» и Валентин Турчин в «Феномене науки»<sup>13</sup>.

Нет, мы не живем в Матрице, то есть в модели вычислительного детерминизма. Нет, мы не живем в мире Лапласа или даже Дирака, то есть в той или иной модели физического детерминизма. Человек в той картине мира, которую мы наблюдаем, в той модели (или более точно — в тех моделях), которые я здесь упоминал и описывал, — свободен. И эта свобода является принципиальной для нашего Бытия.

Как человек своей свободой распорядится, это уже вопрос другой.

<sup>11</sup> См.: Франко Моретти. Дальнее чтение. — М.: Издательство Института Гайдара, 2016.

<sup>12</sup> См., например, применение деонтической логики к анализу «Братьев Карамазовых»: Владимир Губайловский. Геометрия Достоевского // Новый мир. 2006. № 5.

<sup>13</sup> Валентин Турчин. Феномен науки: Кибернетический подход к эволюции. // <https://oleg.derevenets.com/Files/Turchin/Turchin.pdf>

# КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

## КНИЖНАЯ ПОЛКА

### ОРЕЛ ИЛИ РЕШКА?

Мария Галина. Не оглядываясь. — М.: АСТ, 2017.

В сборник Марии Галиной вошли три прозаических цикла с простыми названиями — «О людях», «Не совсем о людях» и «Странные истории». Простыми только с виду: в первом блоке вроде бы царит реализм, во втором правит бал фантастика, в третьем обретают необычное продолжение сказки, мифы и легенды народов мира. На самом же деле герои из реального мира погружены в мир фантазий, в чувствах фантастических персонажей, напротив, слишком много живого, человеческого, сегодняшнего, да и странные истории на поверку оказываются не такими уж странными.

Но обо всем по порядку. Ядром каждого из трех рассказов цикла «О людях» служит встреча, оставляющая заметный отпечаток в биографии главных героев. Провинциалка Ада из новеллы «Сажальный камень» едет в столицу на первое свидание с Андреем, с которым познакомилась в интернете. Психологический портрет Ады Мария Галина создает не с помощью действия, а путем описания мыслей и переживаний персонажа: героиня завидует своей подруге Регине (кстати, типичная черта женской прозы): у той «все получалось само собой, как бы вытекало одно из другого: любящие родители — связи — институт — муж-сокурсник — квартира — ребенок — работа — связи — карьера». Готовясь к встрече, Ада думает лишь о плохом, тревожась, что ее виртуальный ухажер на деле может оказаться маньяком. Жизнь вокруг она видит исключительно в серых тонах: «небо было серым, и вокзал был серым, и серые тетки в серых пуховиках и с клетчатыми клеенчатыми сумками обгоняли и толкали ее...» Образ получается трагическим: счастья в печальной юдоли персонажа нет и быть не может. И виновна в этом сама Ада. В каждой новелле книги Мария Галина касается мотива одиночества и каждый раз предлагает персонажам разные пути выхода из тяжелого душевного состояния. Аде автор подбросил два варианта расставания с серой жизнью — героиня же предпочла шагнуть назад, в столь любимую писательницей необъятную вселенную фантастики. Андрей, выбравший из тысяч девушек на сайте знакомств анкету Ады из-за сажального камня — артефакта из фантастического мира «Заповедника гоблинов», — спросит ее: «В других мирах проще, правда?» Героиня, получившая шанс изменить собственный мир, выберет не Андрея, а книжку.

Перед схожим выбором — продолжить жить серой жизнью или попытаться все исправить — автор ставит и персонажа рассказа «Привет, старик!». Сергей Степанович тоже одинок: вся его праздничная программа на 31 декабря — выкинуть мусор, подмести полы, вымыть скопившуюся посуду и за труды наградить себя бутылкой пива из холодильника. Школьные уроки химии нам объяснили: чтобы ускорить реакцию, необходим катализатор. В жизни и в литературе правила родственны. Наверное, у многих среди друзей и знакомых имеются тя-

желые на подъем люди — пока их не растормошишь, ничего предпринимать не будут. Катализатором для тяжелого на подъем героя Марии Галиной становится Дед Мороз — новогоднего волшебника вполне можно назвать фантастическим персонажем. Незваный дедушка разложит перед Сергеем Степановичем всю его невзращную судьбу: в детстве хотел стать пиратом, затем мечтал о телескопе, а в итоге провел отпущенные годы «в тоске и серой скуке». Что делать — решай! Где там автор с чудо-монеткой? Орел или решка? Аде выпала решка, Сергею Степановичу после сильной кульминации — все-таки орел с легко угадываемой моралью новеллы: никогда не поздно изменить свою жизнь.

Малышки из рассказа «Красивые молодые люди» меняют свою жизнь посредством необузданных фантазий. Ситуация узнаваема: кому из нас в юном возрасте не хотелось прихвастнуть, чтобы в глазах приятелей или случайных знакомых выглядеть лучше, чем ты есть на самом деле?! Обычные семьи, примитивные развлечения, зато включишь фантазию — и твой папа оборачивается супергероем, а ты сам то покоряешь вершины, то поражаешь доверчивых слушателей другими крутыми шутками. Вспомним «Денискины рассказы» Виктора Драгунского — концовка новеллы Марии Галиной уходит корнями к ним: тайное становится явным; сколько ни кичись собственным превосходством, собеседник рано или поздно увидит реальную картину.

Во втором — фантастическом — цикле «Не совсем о людях» реальных картин не меньше, хотя в качестве декораций используются то лунные модули, то далекие планеты, то компьютерные программы. Рассказы этого цикла — метафоры повседневности. Образы читаются на двух уровнях — художественном и философском. Возьмем центральных персонажей новеллы «Поводырь» — ныряльщика из Глубокого космоса и его аргуса. Аргус — поводчирь во вселенной, иноземный биологический организм, обладающий тонкими чувствами и намертво привязанный к «своему» человеку. Вечный спутник ныряльщика, внешне чем-то похожий на большую собаку. Но послушаем монологи героя и поймем, что аргус — не просто подобие собаки: «Каждый носит в себе своего аргуса. Ребенка, каким он был когда-то. Старика, каким он когда-нибудь будет. Какая-то обособленная частичка, внутренний голос... Вы никогда не разговаривали сами с собой? Этот другой ведь был не совсем вы, нет? И в то же время все-таки вы». Таким образом, проблемы, поднимаемые в рассказах цикла «О людях», перекликаются с нравственными вопросами новелл второго цикла книги. В героях крепко засело то, что они не способны или боятся отпустить: привычки, привязанности, давно сложившиеся мелочи жизни. Из-за них человек страдает и тяготится одиночеством, однако не решается радикально обрывать тянущие на дно концы, не решается отпустить своего внутреннего аргуса на свободу. В людях, напоминает Мария Галина, слишком много условностей, выстроенных нами наслоений, зачастую мешающих «просто жить». Читать. Слушать музыку. Гулять по лесу. Собирать грибы. Любить женщину». Вполне реальный капкан, в который в итоге попадает ныряльщик, выглядит таким же двусмысленным, как и аргус, образом-символом.

Рассказ «Не оглядываясь», написанный в форме диалога-исповеди, тоже в конечном счете о нас сегодняшних. «То, куда мы катимся сейчас, мало кого радует, но то, что творилось тогда... это не поддается осмыслению. Иногда просто не верится, что люди могут быть способны на такое. Но они способны». Где-то на бескрайних просторах космоса герои обнаружили идеальных людей: они не едят мяса, у них нет понятия «убийство», нет агрессии и конфликтов. Конечно же, в покое оставить их нельзя — надо обязательно влезть со своим уставом в чужой монастырь, установить свои порядки. Кое-что напоминает, не так ли? Самая безобидная, далекая от политики параллель — изучение диких племен, не тронутых цивилизацией. Изучение почти всегда становится равным разрушению традиционной культуры.

Новелла «Андрюиды Круглого стола» по своим выводам ближе к первому циклу книги. И это несмотря на то, что основное ее содержание связано с миром благородных английских рыцарей во главе с мудрым королем Артуром. Цен-

тральный персонаж — чуть ли не двойник Ады из «Сажального камня», только в мужском обличье. Ада прячется от жизни в мире «Заповедника гоблинов» — сисадмин Големба, программируя искусственный мир рыцарей Круглого стола, убегает от детства, в котором «были лишь страх, и позор, и отчаяние, и насмешки сверстников, и бессильная ненависть, и одиночество», туда, где можно почувствовать себя королем. В рассказах Марии Галиной под фантастическим соусом преподносятся актуальнейшие проблемы, за вымышленными историями стоит жизнь без прикрас. Сколько людей между орлом и решкой, между действием и статикой выбирают второе, находя временное, иллюзорное утешение в книгах, в компьютерных играх, в разговорах с собаками и кошками, которые выслушают, а главное — не скажут в ответ дурного слова? Как же тоскливо становится...

Не будем предаваться унынию и перейдем к третьему циклу книги, тем более начинается он с поднимающей настроение сказки, перемешавшей истории Кота в сапогах, Красной шапочки, Спящей красавицы и других знакомых с детства персонажей. «Странные истории» — вариации автора на известные сюжеты. «История второго брата» — привет Шарлю Перро, «Ганка и ее эльф» опирается на славянские и скандинавские мифы, героиня новеллы «В поисках Анастасии» напомнила о мисс Марпл Агаты Кристи, а также о галинском романе «Автотоны», текст хоррора «Дагор» предваряет посвящение Говарду Лавкрафту и Роберту Говарду, что говорит само за себя.

Некоторые читатели в отзывах на сборник «Не оглядываясь» отметили, что получился он неровным. Кто-то из ценителей фантастического жанра не понял посыла самого первого рассказа и полез искать «Заповедник гоблинов» Клиффорда Саймака, надеясь на подсказку. Кто-то из поклонников Лавкрафта, увидев его имя в аннотации, оказался немного расстроен из-за того, что в его стиле написан лишь последний рассказ. Тем не менее надо признать: каждый среди десяти новелл книги нашел что-то для себя. В личном рейтинге одного читателя первое место займет «Привет, старик!», а последнее — «Сажальный камень», в табели о рангах другого, наоборот, «Сажальный камень» очутится в числе лидеров, зато «Дагор» совсем не «зацепит». О чем это свидетельствует? Да о том, что Мария Галина — разносторонний мастер, способный найти подход и к любителям сказок, и к ценителям фантастики, и к поклонникам Лавкрафта, и к тем гениям и чудикам, которые в любом тексте находят скрытые смыслы, и к тем, кому подброшенная в небо монетка всегда поворачивается гордым орлом, и к тем, кому вечно выпадает несчастливая решка.

Станислав СЕКРЕТОВ

## ИЗГНАНИЕ БЕСОВ

Андрей Степанов. Бес искусства: Невероятная история одного арт-проекта. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.

Из аннотации к книге я узнал, что Андрей Степанов — доктор филологических наук, профессор кафедры истории русской литературы филологического факультета СПбГУ, переводчик, критик, прозаик... После такого ожидаешь, что автор, по крайней мере, умест писать (не надо смеяться, сейчас это под силу далеко не всем, в том числе публикуемым авторам). И действительно, по мере прочтения плевать не хотелось ни разу. Но... Электронную версию этой книги я приобрел в интернете. А там ведь как: выложен ознакомительный кусочек, а чтобы прочесть остальное — будь любезен, накашлай зелени. Но ведь как поступают, например, акулы киноиндустрии, когда делают тизер к какому-нибудь мегаблокбастеру. Они в этот самый тизер пихают самые яркие, цепляющие моменты фильма — так, чтобы потенциальный зритель, забыв про всё на свете, достал из кармана последние деньги и помчался в кинотеатр. Понятное дело, что с книгой так сделать сложно: для общего просмотра берётся только начало,

остальное — платно. Но будет ли продолжать чтение человек, первые сто страниц читающий нон-стопом вот такое, с начальных строк: «Актуальный художник Беда Отмух (по паспорту Борис Мухин) стоял на выставке перед картиной Ван Гога «Арлезианка» и мучительно размышлял:

— Ну что бы с ней сделать такое, а? Может, помолиться? Встать на колени прямо тут — и помолиться. «Винсент, Господи, Винсент!» Нет, было уже. А что, если не помолиться, а помочиться? Ну, будто бы от восторга пузырь не выдержал. «Винсент, не могу, Винсент!» Тоже было».

Пересказывать сюжет я, пожалуй, не стану. Во-первых, потому, что дело это всегда неблагодарное. Во-вторых, потому, что спойлерить — некрасиво. А в-третьих — перед нами тот самый случай, когда фабула в произведении не то что вторична — третична даже. Помимо того, что откровенно напоминает бред: переживающего глубокий творческий кризис бывшего художника, а в недалёком будущем перфомансиста (простите мне такое слово) везут на некое исцеление к какому-то старцу (в прошлом тоже художнику-нонконформисту). С целью, конечно же, изгнать из недужащего беса. Да-да, того самого. Исусства. Однако если не следить за «главной» сюжетной линией, то фон — назовём его так — вызывает искреннее восхищение. Неважно, что действие разворачивается на фоне пересказанной без изменений, почти в копейку, истории выставки «Русское бедное», проведённой Маратом Гельманом в 2008 году в Перми (автор даже не особенно заморачивался с местом её проведения — пустующий Речной вокзал был заменён на Океанариум, расположенный на берегу реки). Важно, что мир так называемой творческой элиты передан поразительно точно. Настолько точно, что порой хочется аплодировать стоя.

«— Да ну тебя! — отмахнулась от него Малаша. — Скучно! Вот слушайте: есть у меня один знаковый художник-анималист. Можно позвать. Только он только обосравшихся животных рисует. «Обосравшийся рак», «Обосравшийся крокодил», понимаете?»

— Это Господин.

— Какой ещё господин?

— Да мой Господин. Он, видишь ли, Галюша, трудом своим пожертвовал. Отказался от труда. Такая у него художественная концепция. Теперь он на мой труд смотрит, а я его за это кормлю помаленьку, чем бог пошлёт».

«Уже в начале июля город был заклеен афишами:

10 августа

В школе Изычного Арта

знаменитый британский учёный

БОРИС ПРАЙС

прочтёт лекцию

«МУЗЕИФИКАЦИЯ ПИССУАРА И ПИССУАРИЗАЦИЯ МУЗЕЯ».

Давайте согласимся: тему Андрей Степанов затрагивает актуальнейшую. Сейчас, в эпоху репрессий, применённых к отдельным представителям современного искусства — театрального в первую очередь, — нелिшне будет сказать об этом самом искусстве ещё раз. Тут, правда, меня могу одёрнуть: очень уж сильно автор переживает с... как бы это сказать... фекальной темой: «Однажды, сидя в деревенском нужнике, в окружении гудящего облака мух, и глядя на сколоченную из неструганных досок, знакомую до мельчайших деталей дверь, он задумался, насколько то искусство, которым он занимается и которое громко величают реализмом, далеко от подлинной реальности». Или:

«Вершиной его карьеры стала выставка 2005 года, идея которой, как утверждали злобные зоилы, была украдена у великого Пьеро Мандзони. Называлась она так: «Полное собрание выделений художника за 2004 год». Базовые выделения были аккуратно разлиты и разложены в красивые разноцветные колбы и аптечные склянки, запаяны и расставлены в живописном беспорядке на полу галереи «Вражина».

Но винить автора, пожалуй, не стоит. Да, перфомансы выведенных им в произведении художников иногда шокируют. Но на фоне прибавлений к мостовой

мошонки Творца или очередного пёсика, который, на свою беду, не успел убежать от не в меру любвеобильного актёра, изображённые художники занимают вещами совершенно невинными. Ну а во-вторых — и это становится совершенно ясно по прочтении — обойтись совсем без фекальных тем при описании современного концептуального арт-хаусного искусства невозможно.

Каков же вердикт? Читайте. Да, это не шедевр никаким боком, но как «вагонная литература» — самое то, особенно для понимающих и разбирающихся в предмете. А для тех, кто о высоком искусстве ничего не слышал, в конце книги под цитатами из произведения приведены иллюстрации бессмертных творений с подробными пояснениями. По крайней мере, в той электронной версии, которую я честно приобрёл.

*Александр ЗЕРНОВ*

## ПОЛЕ БИТВЫ

**Константин Комаров. Невесёлая личность: Книга стихов. — Екатеринбург; Москва: Кабинетный ученый, 2016.**

В новой книге стихотворений Константина Комарова «Невесёлая личность» описывается не только внутренний мир самого поэта, но и состояние поколения, к которому он принадлежит. Думаю, именно это позволило Роману Сенчину написать статью о современной русской поэзии на примере лишь одной этой книги.

«Невесёлая личность» — четвёртая стихотворная книга Константина Комарова. В неё вошло около ста стихотворений, по большей части написанных в 2014–2016 гг. Поэтический голос поэта узнаваем, но звучит тише, чем прежде:

Боли, боли, бывшее.  
Стихай, стихай, стишок...

В этом сборнике прослеживается одна ключевая тема — болезнь. В стихотворениях часто напрямую говорится о боли. Не менее ярко свидетельствует о болезненном состоянии лирического героя и его полусонное пребывание в этом мире, и его постоянное нахождение в постели — чуть ли ни на смертном одре:

Я в глухую ушёл несознанку:  
не по праву мне этот мотив,  
чтоб, напавив себя наизнанку,  
в законный шагать коллектив.

Гроб кровати мне слишком удобен...

Лирического героя «лихорадит», ему «далеко недалеко до слома», речь его обособлена «больными запятыми», за его окнами «царит агония», «снег хрустит туберкулезно»... Этот ряд можно продолжать очень долго. Наконец, у него «из всех иных панических атак / поэзия — последняя атака». Да и вообще:

По факту своего рожденья  
в сем самом смертном из миров —  
мы получаем поврежденье,  
и каждый сразу нездоров.

Есть и ключевой образ в сборнике Комарова — зеркало. Этот мистический предмет, часто встречающийся в русской поэзии, как правило, отсылает к честному разговору с самим собой, к желанию увидеть себя истинного, узнать свой



жребий. И смотреть на своё отражение русскому поэту, как правило, невыносимо. Комаров не исключение:

Зеркал поверхность испитая  
моё топорщит отражение  
и, не назначив испытанья,  
тотчас же бьёт на поражение.

Итак, лирический герой болен. И автор прекрасно знает об этом. И диагноз ставит сам, вынося его в заглавие книги: «Невесёлая личность», или «Melancholy man», как сообщает отчего-то двуязычный титульный лист. «Неврастения, скука, сплин», — писал Александр Блок в начале XX столетия. Начало XXI века ознаменовано тем же — уныние, тоска. И именно через эту болезнь Комаров выходит на тему поколенческую. Не мне делать такие обобщения, но вряд ли кто-то будет спорить: поколение сегодняшних тридцатилетних не смотрит ни в какое светлое завтра и не чувствует ни уверенности, ни воодушевления.

Отчаяние входит в привычку. Заболевший ищет вовсе не исцеление, а всего лишь амнезию: можно выпить, можно послушать любимую музыку, не всё ли равно, как притупить боль...

Но кто не хочет противопоставить смерти жизнь, кто не хочет спастись по-настоящему?

Не смотри на себя через смерть:  
мир не хочет тебя уничтожить, —  
но попробуй сквозь жизнь посмотреть:  
только так видеть видящий может.

Выметай невесомой метлой  
всё, за что так юродивых ценят,  
продвигаясь в московском метро  
к юго-западной призрачной цели.

И дождя не случится в четверг,  
если с кем-то съедаешь пуд соли:  
человека любить человек  
вопреки безразличью способен.

Пусть твои просветлеют глаза  
от застывшего в них омерзенья,  
и тогда — вдруг случится слеза,  
что изменит позорное зреньё

навсегда.

Это замечательное стихотворение помещено ближе к концу книги. Вообще все стихотворения в сборнике даны автором вместе, но все-таки явно прослеживается, что в книге есть две части, расположенные по порядку. Первая значительно больше второй — в ней описан мир, над которым «не горит... светлая звезда». За первой частью следует вторая — глоток воздуха. Там тот же самый лирический герой предстает преображённым любовью.

Но ведь даже любовь к женщине не есть прививка от отчаяния. Тем более когда говоришь ей не «я остаюсь с тобой», но «я остаюсь с тобой в постели» — есть разница.

А вот что ещё говорится о себе:

Сердца грязна изба,  
всё в ней уже б/у.

Тяжело жить с грязным сердцем. И наступает такой момент, когда недостаточно только обозначать это, но возникает потребность просить прощения. У кого? У всех. Как Сонечка предлагала Раскольникову — кланяться на все четыре стороны:

А в кости —  
одно пожарище:  
ты прости  
меня, пожалуйста.

Это в начале сборника, а вот уже в конце:

И молча говорить прости  
кому-то никому...

Никому? Справедливости ради надо сказать, что у Комарова есть и другие настроения и строки, которые я назвала бы кошунственными, а Наталья Усанова в своей рецензии на эту книгу говорит о том, что вошедшие в нее «бытийные тексты... не слишком убедительные из-за чересчур своего отношения к Богу». А ведь чтобы бытийный разговор состоялся, надо говорить (или умолять?), смотря снизу вверх и никак иначе. Приходит ли автор к пониманию этого? Вот что читаем в конце книги:

Не зная Бога, я Его  
глазами дохнувшей собаки  
сегодня вижу, наконец,  
и пересохшими губами  
я говорю: прости, Отец,  
идя в убийственную баню.

Самое очевидное, к чему отсылают эти строки, — притча о блудном сыне. Но не только к этому евангельскому сюжету, ещё к разговору Христа с Хананейкой, которая сказала про себя Господу: *но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.*

Обращаясь к Богу как к Отцу и смиряясь перед Ним, лирический герой Комарова начинает преодолевать неверие и отчаяние, которые явно прослеживались как в ранних стихах, так и в настроении первой части нового сборника. Единственное, что остается для меня загадкой, это «убийственная баня». Что за образ? Что имеется в виду? С одной стороны, отсылка к апостольскому посланию: *Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом...* Но у Комарова-то не «баня обновления», но «убийственная баня»... Попытка поверить и попросить прощения появляется, но есть ли истинное покаяние — то, что с греческого переводится как «перемена ума», когда захочется все-таки стремиться не к «привычному аду», а к раю, когда получится заплакать и очистительными слезами изменить своё зрение?..

Думаю, поэзия Константина Комарова более всего интересна даже не тем, что вскрывает проблемы поколения, а тем, что в ней прямо по Достоевскому: дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердце лирического героя. Борьба эта очевидна. И мой долг как неравнодушного читателя «Невесёлой личности» сказать ее автору: если он увидел хоть небольшой проблеск света, то к этому свету надо идти и идти, чего бы это ни стоило.

Наталья МАМЛИНА

## SLAPOVSKY-LEGO

Алексей Слаповский. Неизвестность. — М.: АСТ, 2017.

Река? — Волга! Фрукт? — Яблоко! Поэт? — Пушкин!

Переведем любимую забаву третьеклассников в плоскость отечественной истории. Ленин? — Революция! Сталин? — Репрессии! Хрущев? — Оттепель! Брежнев? — Застой!

А теперь вопрос на миллион: 2017-й? Ну? Правильно: 1917-й.

Что год столетия Октябрьской революции будет богат масштабными историческими полотнами — это к бабке не ходи. До мозга костей камерный Слаповский и тот отложил лобзик, чтобы ваять монументальную прозу: из чекистов, из троцкистов, из промфинпланов и аэропланов... И юный Октябрь впереди. Итогом стали полтыщи страниц с претенциозным до отрывки подзаголовком «Роман века». На моей памяти это второй случай: первый текст назывался «Бурный поток» и печатался на 16-й полосе «Литературки», помните?

Злоязыкий Роман Арбитман отметил, что Слаповский складывает «мозаичную картинку нашего бытия из готовых пластмассовых кусочков старенького литературного конструктора, который уже тысячекратно использовался до него». Г-н сочинитель и впрямь отродясь ничего не писал, кроме компиляций. Не забывая, впрочем, мило кокетствовать перед журналистами: «При желании можно то Гоголем пройти, то Достоевским прикинуться». При желании, значит. Желания такого рода навешали Алексея Ивановича всяк божий день. В «Первом втором пришествии» он шестидюймовыми костылями приколотил «Евангелие от Митьков» к «Любимову». В «Участке» персонажи «Деревенского детектива» разыгрывали интригу «Шведской спички». В «Висельнике» зачем-то пересказал «Кроткую» мертворожденным личутинским языком. И так далее.

Роман века № 2 изготовлен по той же технологии, из культурных клише. То флейта слышится, то будто фортепьяно: Бунин, Платонов, Довлатов. Плюс полный комплект ментальных штампов. Сталин? — Репрессии. Немцы? — Ordnung. Ельцин? — Бардак. А что вы хотели? Конструктор Lego не рассчитан на езду в неизвестное, вопреки названию романа.

Можете вы представить себе семью, где у пяти поколений подряд одна, но пламенная страсть — мемуаристика? Трудно, да. А у Слаповского получилось: есть такое слово — «надо». Что ж, понимаю его резоны. Data fiction, в отличие от классического романа, мало к чему обязывает. Да и переводчику в случае чего легче придется. Поэтому в семье Смирновых дневники пишут все, от полуграмотного крестьянина (?) до дебильного аутиста (!), — сперва на бумаге, потом на магнитной пленке, потом на цифровых носителях. Исполнен долг, завещанный от Бога им, грешным. Правда, смирново-слаповские летописи чаще всего напоминают газетные передовицы. 1940-й: *«Когда чеканят шаг тысячи ног, тогда понимаешь, как сильна наша Родина, как трудно нас победить»*. 1993-й: *«Очереди, километрами втекающие в винно-водочные магазины, сгущающаяся перед дверьми, вихрясь и бурля, как перед жерлами воронок, — метафора советской бытовой будничности»*. Да-да. А фрукт — всене непременно яблоко.

Отвлечемся ненадолго. Одного из Смирновых поразили слова собеседницы: «Все там будем». «Фраза не из заурядных», — решил мужик. Абсолютно точно.

В бурном потоке публицистических трюизмов «Неизвестности» любая до дыр истрепанная банальность выглядит афоризмом Ларошфуко.

Стоит Слаповскому хоть на миг выпустить из рук газету, — детали конструктора рассыпаются, ситуация выходит из-под контроля, и на смену историческому роману является театр абсурда. Да такой, что Беккет с Мрожеком выглядят двоечниками.

1955-й. Антон Смирнов уклоняется от призыва в армию, «*симулируя религиозность*». Да-а? Видимо, в СССР досрочно отменили статью 3 Закона о всеобщей воинской обязанности 1939 года: «Все мужчины — граждане СССР, без различия расы, национальности, вероисповедания, образовательного ценза, социального происхождения и положения, обязаны отбывать военную службу».

1960-й. Тот же Антон Смирнов в считанные месяцы налаживает поточное производство фальшивых купюр. Ну-ну. Вообще-то Чеслав Боярский два с половиной года экспериментировал с одной лишь бумагой. А у мэтра Виктора Баранова полный цикл подготовительных работ занял 12 лет. Алексей Иванович, вы б хоть Википедию почитали, что ли, — для общего развития...

1988-й. «*То было время великого безденежья*», — говорится в романе. С чего бы? Кризис неплатежей и дефицит наличности обрушились на страну в 1992-м. Я сам тому свидетель и участник: чтобы снять зарплату со сберкнижки, приходилось занимать очередь в четыре утра. Но 1988-й? — все в срок: и аванс, и расчет. Откуда безденежье?

1993-й. Очередь за водкой: «*У дверей образовалось людское облако, кипящее, кипящее, кричащее, рвущееся вперед*». Помилуйте, к чему эти ходыньские страсти? Ведь нет уже ни Горбачева, ни Углова, и все водки в гости к нам гектолитрами — и «Rasputin» из Германии, и «Black Death» из Британии, и «Absolut» из Швеции. Алексей Иванович, что-то с памятью вашей стало? Попробуйте но-опет. Говорят, помогает.

И на десерт — 1941-й. Владимир Смирнов, сын репрессированных родителей, женатый на поволжской немке, — сержант НКВД. Без комментариев.

Да хрен с ней, с матчастью, — нынче это условие факультативное. Давайте про изыскную словесность.

Роман, по слову Бахтина, — не то, что происходит вокруг героя, а то, что происходит с героем. В «Неизвестности» все с точностью до наоборот: вокруг Смирновых — подразверстка, коллективизация, индустриализация и далее по списку. А у Смирновых динамичен один лишь прародитель Николай: из крестьян в пролетарии, из малограмотных в рабфаковцы. Сын его Владимир беспробудно одержим Павкой Корчагиным, — и даже трагическая финская не отрезвит парня. А внуку Виктору уготовано суровое божье пьянство non stop — что в 1993-м, что в 2010-м. Та еще книга перемен.

В предисловии к «Неизвестности» Слаповский высказал ну о-чень оригинальную мысль: «*Мы путаемся в настоящем, не понимаем его, потому что до сих пор не поняли прошлого*». И продолжил: «*С такими мыслями я брался за эту книгу. Хотелось понять... Кажется, понял. Что именно понял?* — ответ в книге». Теоретически авторский посыл ясен: Россия надорвалась в социалистическом проекте, история Смирновых есть история вырождения нации — прямиком к аутисту Глебу. И юный дебил впереди, ага. Опять-таки литературный Lego: Головлевы, Будденброки и разные прочие д'Эрбвилли. Проблема в том, что Смирновым, в отличие от Будденброков, некуда деградировать — разница между пращуром и потомками практически не ощутима, всяк не выше плinty-са. Выбивается из общего ряда лишь криминальный талант Антон, но вместо характера здесь скороговорки судебного протокола: уклонялся-спекулировал-подделывал (я же говорю: с data fiction все много проще). Впрочем, не он один пострадал. Сравните плакатного комсомолста Володу Смирнова с нагибинским Оськой Роскиным или бондаревским Ильей Рамзиным...

Между прочим, со Слаповским вечно так: в его эстетической парадигме рулит агрессивная редукция. Все, что попадает в поле зрения А.С., подлежит низведению и курощанию. Любый сюжет дробится на микросюжеты, любая тема

съезжает к анекдоту, любой герой становится инфузорией. Авторское кредо ищите в «Качестве жизни»: «*Чем жиже продукт, тем легче проглатывается*». А практическое его воплощение — в любом тексте, вплоть до прошлогоднего «Гения», где российско-украинский кризис превратился в ситком с потрапушками, вплоть до «Неизвестности», где... да стоит ли повторяться?

И о чем в итоге «роман века»? А главное — зачем это чучело прозы, набитое обрывками чужих текстов, газет и учебника истории?

Любопытно, что такой вопрос возникает после всякой книжки А.С. Лев Данилкин, прочитав «Качество жизни», озадаченно вопрошал: «Зачем мне все это рассказали?» После «Неизвестности» лютая оторопь с головой накрыла практически всех рецензентов. Владислав Толстов: «Зачем это все я сейчас прочитал? Какой во всей этой истории смысл?» Сергей Морозов: «Для чего все это написано?»

Коллеги, да бросьте вы метафизические терзания. Будто не знаете, для чего романы пишут. Для гонораров и роялти. Для «Нацбеста» и «Большой книги» — «Неизвестность» засветилась в обеих паралимпиадах. Для экранизации — благо Алексей Иванович знатный многостаночник. Все это избитые истины вроде упомянутых: река — Волга, фрукт — яблоко, писатель...

Хм. Вот здесь, простите, заминка. Одно скажу: уж точно не Слаповский.

**Александр КУЗЬМЕНКОВ**

### ИГРА ПРЕСТОЛОВ

Роберто Савьяно. *Ноль Ноль Ноль*. — М.: АСТ, Corpus. 2017.

Итальянского журналиста Роберто Савьяно можно причислить к тем, кто совершил подвиг. Не потому, что он стал тем, кто рассказал правду, а потому, что из-за этой правды он подверг свою жизнь опасности. Слава к нему пришла после публикации книги «Гоморра» (2006), в которой он поведал о преступном мире Неаполя и его окрестностей. С тех пор каждый его день проходит в окружении охраны. Книга «Ноль Ноль Ноль» (2013) задает еще более высокую планку — масштаб охватывает всю планету. Журналиста интересует все связанное с кокаиновым бизнесом — получение, транспортировка, сбыт и, разумеется, задействованные во всем этом люди.

Одна из отечественных рецензий на книгу Савьяно называлась «Архипелаг Кокаин», очевидный намек на Солженицына. Кокаиновый бизнес действительно рассыпан по миру как архипелаг. Длинные цепочки ведут от производителей наркотика, преимущественно в Колумбии, к конечным потребителям в США, Европе и России. Савьяно последовательно рассказывает о них. Он пишет о наркокартелях Колумбии, Мексики, Италии и преступных авторитетах России. Несколько сумбурно и слишком стремительно он описывает биографии людей вроде Пабло Эскобара или Япончика, о которых слышали даже те, кто никогда не становился клиентом наркоторговцев. Иногда он переключает внимание читателя и дает высказаться рядовым солдатам банд, обслуживающих интересы картелей, или уличным «толкачам». Пишет он также и о тех, кто помогал полиции бороться с преступниками: агентах и журналистах.

Половина книги Роберто Савьяно — это рассказ о наркокартелях разных стран. Здесь, как уже говорилось, Мексика, Колумбия, Италия, Украина и Россия. Рассказы однотипны, как сама жизнь. В каждой стране, в каждом регионе, в каждом городе появляется человек, который понимает, что на наркотиках можно делать баснословные деньги. Он собирает банду, организует производство (Колумбия), доставку в США (Мексика) или распределение наркотиков по Европе (Италия). Так образуются устойчивые преступные организации, за которыми ведут охоту силы правопорядка. Организации эти не на виду, лидеры превосходные конспираторы и умеют замечать следы. Но о том, что такие организации существуют, знают все. Причина тому — чрезвычайная жестокость, которая выливается на улицы. Наркокартели без конца воюют друг с другом, жестоко убивая всех, кто становится на пути. Можно поехать по шоссе где-нибудь в Мексике и увидеть свисающий с навесного моста труп. Местным жителям без слов ясно, что это месть наркомафии. Подобную сцену, кстати, можно наблюдать в известном мексиканском фильме «Эли», режиссер которого, Аманес Эскаланте, был признан лучшим на Каннском фестивале в 2013 году. В общем, криминальные разборки из-за наркотиков в Латинской Америке стали частью привычного и уродливого бытового пейзажа. Понятно, что, когда лидер клана уходит или его убивают, возобновляется борьба за вакантное место. Поэтому история наркомафии — это история нескончаемой жестокости в схватке за трон. Этакая игра престолов, только не в вымышленном, а в самом что ни на есть реальном мире. Савьяно описывает одного наркобарона, который получил

прозвище «Убийца друзей». Он до того боялся измены, что не доверял никому и уничтожал даже самых приближенных. При этом многих неугодных мафия не просто убивает, а перед смертью еще и изощренно пытает. По интернету уже давно гуляет видео казней, совершенных группировкой «Сетас» с помощью бензопилы.

Впрочем, было бы упрощением рисовать только наркомафию откровенно черной краской. Эту краску она, безусловно, заслуживает, но не меньшая вина лежит на тех, кто стал (особенно добровольно) им помогать. В общем-то это одна из главных мыслей книги: сила наркокартелей не только в оружии и страхе, но и в том, что из-за них доверять нельзя вообще никому. Политики, полиция, армия — везде, даже в самых с виду благонадежных местах, можно найти тех, кто зарабатывает кокаиновые доллары. А значит, здесь тебя легко могут убить, если ты обратишься за помощью. Кокаин слишком соблазнительный товар. Савьяно сравнивает два бизнеса: бизнес компании Apple, акции которой в 2012 году выросли на рекордные 67%, потрясавшую мировую технологическую индустрию, и бизнес кокаиновый. Тысяча евро, вложенная в кокаин, пишет Савьяно, приносит сто восемьдесят две тысячи евро. Разница в несколько порядков. Именно поэтому наркоэкономика в Мексике замещает обычную. За шесть лет в Мексике убили тридцать одного мэра, из которых тринадцать в одном только 2010 году. Все они, по-видимому, были не согласны с намерением наркобаронов наращивать поставки кокаина в США.

Криминальный мир Латинской Америки, несмотря на длительное сохранение традиционных признаков, оказывается способным меняться и отвечать духу времени. Вот как Савьяно пишет про страшное боевое подразделение в Мексике «Сетас»: «У «Сетас» есть черта, отличающая их от других картелей: у них нет своей территории, физического положения, места происхождения. Они — армия постмодерна, которая должна в первую очередь создавать впечатление, будто они расставляют аванпосты повсюду». «Сетас» убивает начальника полиции Нуэво-Ларедо спустя шесть часов после вступления того в должность. Им не понравились его слова о том, что он-де будет работать на благо граждан. Мир наркотиков настолько обыден здесь, что у наркоторговцев есть даже свой святой покровитель Хесус Мальверде, местный Робин Гуд, почитаемый как чудотворец. Разговор мафии с официальной властью короткий. Он выражается формулой «Plata o plomo» — «серебро или свинец». Иными словами, добропорядочным полицейским приходится выбирать между тем, чтобы брать взятки или получать пулю в лоб. В Колумбии между тем могущество людей вроде Пабло Эскобара таково, что они берутся погашать государственный долг страны. В месяц Эскобар тратит на одни только резинки для перетягивания пачек купюр две с половиной тысячи долларов. Выше него в Колумбии просто нет власти. Он занимается даже тем, что строит дома для бедных, то есть выполняет прямые функции бездействующего государства.

В сложившихся уродливых реалиях наркоторговли Савьяно отчасти винит американцев, которые так восторженно приветствовали мировой капитализм, что не заметили вовремя его теневой стороны. Доходит до того, по мнению автора, что кокаиновые деньги становятся гарантом устойчивости мировой финансовой системы. И причина появления мафии проста — это вакуум власти. Мафия есть только там, где слаба власть. Сегодня бороться с ней очень сложно, она проникла всюду, ибо кокаиновые деньги были так или иначе легализованы и разошлись в виде необходимых для бизнеса инвестиций.

Россия во вселенной «Ноля» занимает не очень важное место. Слишком поздно (и наверное, это к счастью) российский рынок стал представлять интерес для международной мафии. И все же в 1990-х потребление наркотиков среди молодежи росло катастрофическими темпами. Русские мафиози быстро захватили рынок внутри страны и проникли в другие государства. Сегодня их боятся не меньше, чем итальянцев и мексиканцев. Когда Могилевича, возможно, главного криминального авторитета на постсоветском пространстве, арестовывают в 2008 году всего-то за неуплату налогов с парфюмерных магазинов, Савьяно

называет это типичным русским абсурдом и гротеском и вспоминает покупку мертвых душ у Гоголя.

Кокаин проникает всюду. Как его только ни доставляют. В шампуне, в пене для бритья, в растворе для контактных линз, в грудных и ягодичных имплантах моделей, даже в статуях Девы Марии и фигурках Христа. Роберто Савьяно жестко осуждает мир наркоторговли, но не забывает намекнуть, что предложение возникает в ответ на спрос. Может быть, если бы американцы и европейцы не были так порочны, то и кокаиновый бизнес бы схлопнулся? В начале книги есть небольшая главка-фантазия на тему того, кто же употребляет кокаин. Ответ: все! От сенатора до школьной учительницы. Есть даже официальная статистика, согласно которой в Европе миллионы людей хотя бы раз пробовали кокаин. Поэтому журналист даже не знает, как бороться с таким миром. Арестов не хватает, политика борьбы постоянно бьет мимо цели. Он осторожно предлагает легализацию кокаина и жесткое наблюдение над его потребителями. Это ни в коем случае не пропаганда употребления, скорее — крик отчаяния. Победить монстра можно, только обрезав ему прибыли, — вот к чему клонит Савьяно. Он сам называет свое предложение «страшным и жутким решением». А пока на границе США и Мексики ловят очередного туриста с полукилограммом кокаиновых шариков в животе, наркоторговцы снаряжают очередную примитивную подводную лодку к берегам Африки, а она нагружена уже не полукилограммом, а десятью тоннами. Для России путь легализации, безусловно, сомнителен. Едва ли разумно что-то разрешать, когда речь идет фактически о наркотическом геноциде русского народа бесконечно появляющимися новыми синтетическими наркотиками. Но Роберто Савьяно не похож на человека, который знает точный ответ. Из-за своей книги он вынужден жить в постоянном страхе за свою жизнь и благодарит Салмана Рушди, тоже вынужденного жить под охраной, за его пример, так ему необходимый.

**Сергей СИРОТИН**



## Смерть улыбнётся

Душа становится заметней. Нет, она не материализуется, не лезет в глаза, не расшивает губы, не тянет из них разрезанную дратву и позволяет тебе говорить что угодно или кричать по ночам в деревенскую, свободную от людей тишину и пустоту. Пустота в такие предзимние ночи ощущается как содержание, наполнение, как голая и чистая, озябшая на минус двадцати шести семантика. Семантика — чего? Семантика тишины? Семантика не-света? Семантика темноты? Семантика тени и теней, шастающих в саду промеж деревьев и кустов: аж ветки качаются... Ужас... Семантика ужаса — это и есть подлинное содержание вечности, бесконечности и вообще бытия.

Душа становится заметней в мгновения, минуты, часы, дни и ночи ужаса. Ужаса предзимнего. Душа предзимняя моя...

Я люблю зиму, женщин и стихи. А также людей, когда их немного и они ещё не сбились в толпу. Ещё я люблю кошек и собак. Но больше всех я люблю птиц и волков (Юрий — царь волков, по древнерусской мифологии). Предзимье: птицы голодают — кормлю; каждый день (дважды в день); холод: душа виднее, особенно когда выдыхаешь — вверх, прямо в звёзды, которые живут теперь поближе к земле, и тебе, и душе твоей; печь топлю дважды — утром и на ночь. Дрова таскаю, обнимаюсь с ними: чем тяжелее кладка поленьев — тем крепче объятье. Под валенком снег поёт: ност, свистит, вскрикивает, подвывает, всхлипывает, визжит — и никогда не молчит: плохо ему, что ли, одиноко?... Сажу у зимнего костра: снежинки летят навстречу огню — на свету снегопад кажется гуще и живее. Осмысленнее. Снегопад — как мышление твоё во сне: ищет или огонь, или тьму; над огнём он что-то шепчет, пошипливает; в темноте он шуршит, как жизнь (за смертью), как кровь (перед остановкой тока её). Холод — это ужас. Ужас, из которого происходят и красота, и зрение, и слух, и душевное чутьё, и смыслы духа неотступного. И тени, и покойный мой кот Гриша, переходящий сугроб, как по воздуху, — вижу его — и падаю, сажусь на задницу в снег, заваливая себя дровами и слёзы утирая: жив! жив мой котище, мой дружище... Ужас — это максимальное проявление этико-эстетического и онтологического одиночества. Ужас — это тёмный свет и светлая тьма иного и иных, — всего и всех, кого ты любишь и живёшь, и думаешь, и страдаешь, пока живёшь сам. Хотя... ты и сам уже иной: ты, придурок, говоришь уже ОТТУДА — СЮДА, а сии сытые умные люди этого не замечают. Ты умер давно: когда пришли к тебе и в тебя первое стихотворение, и музыка его, и гармония — единство живого, мёртвого и вечного, единство физического, метафизического, интерфизического и ещё чего-то самого главного — чудесного, божественного, гибельно прекрасного и такого огромного и сильного, что лёд на озере трещит — прогибается под смутной тяжестью Млечного Пути, звёзд и ответного взгляда оттуда, с верхотуры, — тебе, взгляду хлипкому твоему.

С волками дружу. Душой. Всё началось в детстве: бредём мы с дедушкой на покос (мне 7–8 лет), и вдруг он останавливается, даёт мне знак молчать и не шуметь; сходит с тропы к яме — заброшенному золотоносному шурфу (коих на Урале — сотни тысяч повсюду — в лесах, в полях и в огородах), заросшему моими любимыми растениями («сорняком»): репейником, татаркой, чертополо-

хом, крапивой и прочей прекрасной хренью, — дед останавливается на краю воронки и жестом подзывает меня — смотри: волк. Серый. Большой. Умирает. Зеленоглазый. Желтоглазый. Волк лежит. Он смотрит на нас — и плачет. Плачущий волк. Мы тихо отходим, возвращаемся на тропу. Я заплакал, а дед толкает меня легонько под лопаточку — смотри! — перед нами метрах в двадцати стоит на тропе ещё один. Волк. Молодой... Он нехотя поворачивается и уходит, сходит с тропы на противоположную от ямы сторону — и исчезает. Как прекрасная смерть. Серая, прекрасная, плачущая смерть: этот, молодой, как мне увиделось, тоже плакал... Спокойная, добрая волчья смерть...

Волк пахнет волей; пылью небесной; жизнью лесной, тайной и потайной, смертью, плачущей и мгновенной; любовью сильной и страшной, как самая главная во Вселенной Любовь... Смерть улыбается, как волк. Не как собака, а как волк: улыбка улыбкой, а глаза строгие. Строгие и почему-то добрые...

Душа моя озябла. Слава привёз меня в Каменку. Вернее, мы доехали до поворота на деревню на западном её краю, где поле и лес, лес, лес. Конец ноября. Минус двадцать с хвостиком. Или с хвостом? Серым, лёгким и пушистым волчьим поленом («полено» на сленге собачников значит «хвост»). Я десантировался с двумя огромными пакетами (еда, в Каменке нет магазина) и портфелем (рукописи, книги). Сказал Славе не глушить двигатель, а сразу разворачиваться и дуть обратно: как бы не замер его автомобиль с нежным именем «Фиеста». Мы уже влипали в такой глушняк посередь леса. Чуть не замёрзли. Бог с деревенскими мужиками (и — мобильник!) помог нам тогда. Вытащил. Утащил. Отогрел. Накормил... Слава библикул и рванул на трассе обратно.

Душа моя содрогнулась: на деревенской околичной дороге переméты — огромные, жирные, длинные (плывущие с запада на восток), белые и сильные Моби Дики — хрен обойдёшь, только перебрехать, перелазить, перебираться. Да с сумками-то. Ох!.. Душа моя посмотрела на небо — ЗВЁЗДЫ! Млечный Путь — главный белый (very huge) Кит, заиндевеливший и движущийся на Север. Душа подумала: да, ребята (это — звёздам), вам там хорошо. А мне километр херачить по моби дикам (а в башке — Led Zeppelin: Moby Dick) с этим сумьём в бесперчаточных ручонках... Ох!..

Душа моя хотела, чтобы я стал звездой — и перелетел бы к такой-то матери этот морозный купол ужаса — до самого домика моего.

И пошёл я сквозь снежные моби дики, переméты, снежные хвосты: о, снег — животное! Вездесущее, необъятное, зримое и неслышимое. Вязкое. Тонкое. Шевелящееся. Забирающее в башмаки. Покрывающее ноги твои новогодней морской солью по самое не могу. Животный снег. Иная вода. Мёртвая и живая одновременно. С бесстрастным лицом всего, что замерзает: воды, льда, человека, птицы и меня.

Я прошёл метров сто — задохнулся: ноша нелёгкая и пальцы режет ручками полиэтиленовых мешков (думаю, ну точно поморожу пальчики-то). Остановился у изгиба переметённой дорожки — ни следа. И темно — за полночь уже. И звёзды лезут в глаза, в горло, в душу. Закуриваю (думаю, привал: каждые 100-150 метров — идти невозможно почти, — прёшь и прорываешься). Стою лицом к северу, курю — и вдруг чувствую: кто-то смотрит мне в спину, от трассы, с юга. Долго так смотрит, пристально и заинтересованно — аж перестало меня всего. Оборачиваюсь — и вижу: метрах в пятидесяти — шестидесяти стоят две собаки. Присмотрелся — нет, не собаки. Крупные шибко. И стоят тесно рядом. Кто? Все собачки в деревне меня знают — уже подбежали бы, а я им сосисок бы дал — и пошли бы мы до дома моего вместе, стайкой человеко-собачьей. И — неожиданно понимаю: волки. Два. Покрупнее — волчица, поменьше который — взрослый волчонок, но уже зверь. Зверюга... Таааааа, думаю. Попал. Надо идти. Иду, изредка оборачиваюсь: идут за мной следом метрах в пятидесяти. Почему-то не страшно. Но ужас бытийный, гибельно-восторготворный стал восходить во мне, как голод, как похоть, — от низа живота к сердцу. Ох, весело! Весело: знаю я, как эти ребята охотятся. Задние подгоняют, потом появляются ещё два волка — встречные — в лоб. Но



Душа хотела б быть звездой,  
Но не тогда, как с неба полночи  
Сии светила, как живые очи,  
Глядят на сонный мир земной, —

Но днем, когда, сокрытые как дымом  
Палящих солнечных лучей,  
Они, как божества, горят светлей  
В эфире чистом и незримом.

Ф. И. Тютчев

Дед мой, окончивший гимназию (ещё царскую), всю жизнь крестьянствовал (вся семья его была уничтожена Сталиным и Великой войной), но Тютчева любил. И мне читал вслух — то Тютчева, Фета и Лермонтова, то Библию — всю. Дед был озорник: всегда переначивал стихи (например, вместо «И нам сочувствие даётся...» он произносил «Но нам сочувствие даётся...», — дразнил меня, мальчика, вызывал на спор, на текстологическую дискуссию. И в «Душа хотела...» он читал по-своему первую строку: «Душа хотела стать звездой...», иногда говорил вместо «стать», — «быть», без частицы «б».

Я знаю это стихотворение 54 года. А душа моя знает его всегда. Она различает в этом тексте два метасмысловых блока: два зрения — телесное и духовное; первое — в начальной строфе, второе — в заключительной; телесное зрение видит тоску по духовной воле и свободе, духовное — жаждет ясновидения, провидения, пророчества, озарения. Взрыв зрения и повсеместное распространение взгляда — вот что значит «быть звездой». Но душа жива и добра, поэтому она, жалея плоть, оболочку свою, помогает ей быть и звездой, и не-звездой одновременно, но — живой. Живой звездой в эфире чистом и незримом.

Душа моя болит. Всегда. Почему? Наверно, потому, что она есть. Болит — значит, живёт. Она ищет звёзды ночью и днём. Слава Богу, в Каменке звёзды есть. Есть потому, что здесь, в деревне, есть небо. В городе неба нет. А здесь оно везде, окрест и внутри тебя. Небо — окромя плоти — основная оболочка души. Душа — звезда. Сама по себе. По определению. Звезда как таковая.

Много лет назад в Свердловском (ныне Екатеринбургском) зоопарке жил волк. Огромный, сивый, большоголовый лобан. Я так и звал его: Лобан. Я ходил к нему чуть ли не через день. Не мог жить без его взгляда, без его души, взыскующей воли. Ходил один или с приятелем, прихватив бутылку портвейна. Смотрел в жёлто-зелёные глаза Лобана, пил из горлышка паршивое вино и плакал. Если рядом были чужие — я плакал в себя. Если один — плакал прямо в мир, в небо, в волчьи прекрасные глаза: душа моя плакала в душу его — и смерть улыбалась... Лобан умер — и я перестал ходить в этот вонючий уголок планеты Земля, в эту звериную зону (не хватает вышки с пулемётом). Душа волка, седого, огромного Лобана сейчас живёт где-то рядом со мной. Иногда она, обычно бессонной ночью, говорит беззвучно с моей. Душа волка любит мою душу и ждёт, когда я умру. Когда я умру, две души — волчья и моя — станут звёздами. Будут шастать по небу вдвоём, обходя стороной созвездия Ориона, Его Пояс, Гончих Псов. Они будут дразнить Медведиц (обеих, и старую, и молодую). А ещё они будут любоваться Орлицей Кассиопеи. И смерть увидит их — и улыбнётся.

Юрий КАЗАРИН

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупредить о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Подписаться на журнал «Урал» можно  
во всех почтовых отделениях России.  
Телефон для справок: 371-00-27

Общероссийский индекс журнала «Урал» **73412**.

Льготный индекс для подписчиков  
Екатеринбурга и Свердловской области **46358**.

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также  
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»  
по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130,  
телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

**Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области  
«Редакция журнала «Урал»**

**Главный редактор** — Олег Богаев

**Редакция:**

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам  
Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития  
Константин Богомолов — ответственный секретарь  
Андрей Ильенков — зав. отделом прозы  
Юрий Казарин — зав. отделом поэзии  
Валерий Исаков — литературный сотрудник  
Александр Зернов — литературный сотрудник  
Татьяна Сергеенко — корректор  
Юлия Кокошко — корректор  
Александра Голомолзина — бухгалтер

**Редакционная коллегия:**

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

**Редакционный совет:**

Д. Бавильский, Л. Быков, А. Иличевский, Е. Касимов, М. Липовецкий,  
В. Лукьянин, М. Никулина, А. Расторгуев

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24  
Адрес электронной почты: [editor.ural@mail.ru](mailto:editor.ural@mail.ru)

**Телефоны:**

376-57-49 — главный редактор  
376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы,  
отдел публицистики  
376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь,  
отдел критики  
376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии

ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2

Подписано в печать 17.10.2017

Формат 70х108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6

Тираж 1500 экз.

Заказ № 6029

**Журнал «Урал» в Сети:**

<http://uraljournal.ru/>  
[http://vk.com/zhurnal\\_ural](http://vk.com/zhurnal_ural)  
<https://www.facebook.com/uraljournal>

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:  
<http://magazines.russ.ru/ural/>

## **АНТОЛОГИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ШЕДЕВРА**

**Владимир Нарбут**

\*\*\*

Высоким тенором вы пели  
О чём-то грустном и далёком...  
И белый мальчик в колыбели  
Глядел на мать пугливым оком.

А звонкий голос веял степью —  
Но с древней скифскою могилой!..  
И к неземному благолепию  
Душа томительно сходила...

И глаз огромной чёрной вишней  
С багряно-поздней позолотой.  
Смотрел недвижно, будто Кто-то  
Уже шептал о жизни лишней...

<1909>

ISSN 0130-5409 Урал, 2017, 11, 240 Индекс 73412

Журнал «Урал» вы можете  
приобрести в редакции,  
в интернет-магазине "Лабиринт",  
в екатеринбургских магазинах:  
«Дом книги» (ул. Антона Валека, 12),  
«Йозеф Кнехт» (ул. 8 Марта, 7),  
а также  
в Музее изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5),  
в Музее «Литературная жизнь Урала XX века»  
(ул. Пролетарская, 10).

В Нижнем Тагиле журнал продаётся в магазине «Тагилкнига»  
(ул. Первомайская, 32; ул. Дзержинского, 47).

Подписывайтесь на журнал с любого месяца во всех почтовых  
отделениях России. Общероссийский индекс **73412**

Льготный индекс для подписчиков Екатеринбурга  
и Свердловской области **46358**

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также  
в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город»  
по адресу: Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 130,  
телефоны: 26-26-543, 26-27-898

**Информационные спонсоры журнала "Урал":**



Roomple.ru



КУЛЬТУР  
МУЛЬТУР  
www.kulturnymulturny.ru



Медиа-холдинг  
ИРИПЬСКИЙ РАБОЧНИК

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
им. В. Т. Болтинского

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

ЕТВ



